

АРТИКЛЫ

Израильский литературный журнал

АРТІКЛЪ



№ 5

Общественный фонд культурных связей
“Израиль - Россия”

Тель-Авив
2017

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Марк Зайчик. Случай у ресторана «Хабанеро».....	3
Браха Губерман. Вид Сверху.....	38
Ирина Маулер. Супервумен.....	42
Светлана Бломберг. Вчерашнее завтра.....	46
Инна Иохвидович. Об Але и Мае.....	60
Эстер Пастернак. Неизвестная внутренняя Африка.....	64
Таня Гринфельд. Превращение.....	68
Галина Получанкина. Часы.....	72
Виктория Коритнянская. Несчастье на Успенской.....	76
Марина Стратиевская. Утро.....	81
Инна Шейхатович. Хоровая элегия.....	86
Максим Жуков. П-М-К.....	95
Исаак Розовский. Короткое лето Сэмюэля Финка, эсквайра....	104
Давид Шехтер. Принц и нищий.....	137

ПОЭЗИЯ

Александра Юнко. Проводы	156
Зиновий Вайман. Диптих.....	159
Валерий Скобло. Грустное поздравление.....	162
Михаил Юдовский. Отчаянный тебялюбвец.....	164
Денис Соболев. Анабасис.....	168
Евгений Витковский. Из книги “Град безначальный”.....	175
Ирина Рыпка. Я ли тебе не ялик.....	183
Анастасия Виноградова. Скрипачка.....	183
Илья Корман. Стихи из старой тетради.....	185
Виктория Лепко. Стихи.....	188

НОН-ФИКШН

Меирман Алибекулы. К 100-летию “Алаш Орды”.....	195
Анна Файн. Остров мифического пива.....	200
Михаил Сипер. Ботиночки из прошлого.....	231
Елена Островская. О рутинизации смерти.....	235
Эдуард Бормашенко. Ничего не поделаешь.....	241
Яков Нелькин. Беззлобно творящий разум.....	245
ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ	
Роман Кацман. На что отозвалась реальность.....	250
Александр Карабчиевский. Экономические хвори русской литературы.....	255
Андрей Зоилов. “Артикль” для определения литературы.....	264
Михаил Юдсон. Унесенная.....	274
СТИХИ И СТРУНЫ О песнях Любви Захарченко.....	280

На первой странице – Магжан Жумабаев (см. стр. 195).

ПРОЗА

Марк Зайчик

СЛУЧАЙ У РЕСТОРАНА «ХАБАНЕРО»

Ненормальная всегда сердитая баба из 7-й квартиры встрети-лась с ним взглядом, когда он спускался вниз со своего пятого этажа. Она поправила свои круглые очки без оправы тонким указательным пальцем и, сердито фыркнув, захлопнула входную не дрогнувшую дверь. Эта дверь выдерживала и не такое.

Каждый день эта баба, ласково курлыча, кормила окрестных кошек, ближе к ночи, выходя к ним на улицу с пластиковой тяжелой сумкой, наполненной сухим кормом и Бог знает, чем еще, никогда Креш не мог понять что это. И мяукающее, шипящее темное стадо кошек с поднятыми хвостами, повторяя ее легкие шаги, устремлялось в глубину автостоянки, которая к счастью была заасфальтирована и хорошо отмывалась из шланга домкома от последствий переедания.

Креш двумя движениями все еще гибких рук отстегнул от столба свой самокат с мотором и неудобным сидением, небольшое совершенное изделие, и бесшумно и хищно покатил по асфальту к главной городской магистрали, названной именем поэта, рожденного в Малаге и умершего в Валенсии. Он освещал себе путь резким и узким желто-зеленым лучом из фары на прямом руле, изготовленном из модного алюминиевого сплава. Карбоновый руль может и легче, но дороже и для самоката в такую цену не подходит. Луч этот был иссечен крупными каплями дождя, вдруг рухнувшего два дня назад на побережье Средиземного моря. Креш ехал на работу в ресторан, где каждый вечер готовил дивные супы по собственным рецептам. Популярный ресторан этот держал армейский друг Креша, оттянувший с ним почти всю лямку

действительной службы: 24 месяца из 36 положенных. Креша списали оттуда с необъяснимой армейской формулировкой «за психологическую несовместимость с действительностью», а друг и напарник все вынес, терпеливый не брезгливый мужик с жестким сердцем, с прозрачными глазами. Он отслужил четыре года сверх положенного срока, получил два знака доблести, два ранения, одно очень тяжелое во время мрачной заварухи на чужой территории, изуродованную левую руку, нервный тик левой стороны лица и приличную пожизненную пенсию по инвалидности.

Он долго думал, чем заняться на гражданке. Он был из зажиточного дома. Зажиточного, но не более того. Потом он не вдруг открыл на 5, не прочных столов ресторанчик, который неожиданно в этом бесконечном царстве тель-авивского питания имел успех. Он прикупил соседнее помещение, сделал ремонт и в заведении на 43 стола дело пошло под гром фанфар и колоколов. Он и сам любил хорошо пожрать, был доброжелателен, не озлобился после ран и службы, не остекленел, как это произошло с некоторыми. Накормить других людей ему было в кайф, он вообще был кайфовый человек. Его звали Коган. Таль Коган, для справки. Уже таких фамилий мало в Израиле сегодня, все хотят быть просто Коенами, меняют буквы и имена. С известной стыдливостью, с оглядкой, но меняют, время почему-то требует от людей других звучаний имен собственных, эпоха такая – эпоха смены имен.

У Креша имя было совсем другое. Просто в школе он однажды в классе 5 что ли, заступился за новенького «русского», смешного сероглазого мальчика в теплой рубашке с длинными рукавами. Того дразнили и обижали, он надувался, обижался так, что краснели уши и щеки, на переменах стыкался во дворе, но шансов у него не было – все были против, ржали и ставили ему подножки и спрашивали про валенки. Так и говорили «валенки Ивана», хотя звали паренька совсем иначе, его звали еще более странно Глебом. И вот Арье, так звали Креша, подрался с двумя одноклассниками, которые изгалялись над этим самым Глебом больше всего. Ему это не нравилось, когда все против одного. Он занимался дзю-до и старался не причинить им вреда. Одна девочка, которая ему нравилась, надула свежие полные губы, которые сводили Креша с ума, и отвернулась от него, кажется, осудила. Но сейчас ему было все равно, иногда, думая о правоте, он терял

ощущение реальности происходящего. Мальчиков этих, удивленных от вмешательства «своего», он победил, предупредив, чтобы больше этого Глеба не трогали. Взял с них слово, которое они произнесли нехотя. Глеб, полуотвернувшись, благодарно пожал ему руку. На другой день Глеб на перемене опять подошел к нему и сказал, что теперь Арье «Кореш». Так Арье стал Крешем, кажется, навсегда. Креш говорили в школе, Кореш сказать было невозможно и непривычно.

Та девочка, которая ему нравилась, перешла в другую школу, родители переехали в другой район или разошлись, что ли. Неизвестно. Глеб потом Крешу говорил, что встретил ее случайно в кино, назвал «сладкой сучкой», не объясняя. Он был развит не по годам этот Глеб, учил испанский дома с учителем, знал про сурового мистика Вагнера, почитал Пазолини, поклонялся Ницше. И вообще. Мать его была психиатром, женщина с жуткими глазами, Креш однажды увидел ее и испугался, маленький был, несмышленый, но с интуицией.

Креш слышал, что сейчас Глеб зарабатывал на хлеб насущный, считая чужие деньги в Рабочем банке. Здесь неподалеку, но никак было до него Крешу не добраться. Да и не очень-то и хотелось.

В черной, как бы лаковой луже у пешеходной дорожки отражался качавшийся фонарь, висевший возле светофора над дорогой. Машины двигались нервозно из-за мокрого асфальта дороги. Из окна, проехавшей совсем рядом с Крешем «тойоты» вылетел окурок и упал за его спиной оземь. Народ ехал гулять, выпивать и ужинать, время активного отдыха и насыщения. Тугая девка в широкой короткой юбке прошла мимо Креша, ожидавшего зеленый свет, с презрительным и надменным видом. Плоское желтое в свете вечера лицо ее без морщин и краски демонстрировало независимость и превосходство. Креш знал, чего стоило все это выражение женского лица, и не повернул головы вслед ее подвижным ягодицам и нежной спине. Он знал про женщин кое-что секретное, им самим неизвестное. Бежево-розовая полная нога девки стоила внимания и более того. Но проехали, Креш ее уже пропустил, забыл. Женщина Креша была в библиотеке, он в этом и в ней был уверен. Никакие подозрения по поводу женщины его не посещали. Он был спокоен и тих, ехал на любимую работу к своей за-

моченной раньше чечевице, порубленным, отмытым и вычищенным помощником бычьим хвостом, сирийской фасоли, марсельскому рыбному супу, к рукастому подручному, по имени Рами, которого Креш в полголоса, так как он обижался на европейские имена, называл Рахмонес, к негромким звукам блюза из зала и так далее.

В ресторан он зашел с заднего хода, пройдя по диагонали через дворик с мусорными ящиками и котами по углам. Самокат пристегнул к столбу возле внимательного охранника Семена у главного входа. Семен этот, по слухам, был офицером русской полиции, так называемого ОМОНа или АМАНа, как называли его с веселым почтением и Таль и Креш, которые сами служили когда-то в этом самом израильском АМАНе, что совсем не то же, что ОМОН, ничего схожего, только согласные буквы повторяются. Но службу Сема нес справно, ни с кем не конфликтовал, Талья почитал, Креша уважал, на людей смотрел снисходительно, он знал про них непозволительно много. По почкам никого не бил, и не думал даже, зачем, когда и так можно, по-человечески, завести руку за спину и нагнуть к земле по мере надобности. Но надобности и не было. С ним не связывались даже самые крутые шпанюги: во первых от него исходила волна жестокого, уверенного и цепкого дяди, от которого не отцепиться ни за что – неизлечимая хватка русских милиционеров, во-вторых, за ним был Таль, человек взрывной, не думающий о правилах и очень опасный, несмотря на фамилию, как у большого неисправимого хуна, ну, и потом заторможенный, как бы скованный, Креш, с которым никто и никогда не цеплялся после известного случая, потому что себе дороже. Все здесь близко, все известно про всех, кроме того, что неизвестно. В общем, та еще была «тройка убийц в белых халатах», как с удовольствием говорил Сема, медленно выпивая из тяжелого тайваньского стакана белого паскудства, как он называл его сам, по окончании напряженного рабочего дня. Исключительно шведской водкой баловал его Таль, что говорить. И хоть можно было иногда здесь присесть на службе, не то, что на родине, все стоя и всухомятку, не в коня корм, бегом к язве. А уже ведь и не молод.

Домой Сема шел пешком, ему было недалеко, с удовольствием вдыхая свежий и душный запах, исходивший от мокрых кустов мирта. По правую руку была автостоянка, где работал его знако-

мый еще по Союзу, но которого Таль не взял к себе, по неясным причинам, не пришелся. Проницательности Таля Сема удивлялся, потому что знакомый этот был с гнильцой. У Семы не спрашивали, но гниль от этого никуда не делась, человек был так себе, хотя на вид бравый, крепкий, справный. Но нервный Таль этот видел все насквозь.

Сема был старше ребят лет на 15, ему казалось, что на все 50. Он был неправ, потому что парни эти видали большие виды, и кое-что пережили, что и пережить невозможно, год их жизни на службе можно было засчитать за три вполне. Сема об этом догадывался, но все равно считал, что уж он-то видел и знает все. Их чужая жизнь в ласковых тропиках виделась ему как аперитив к настоящей его жизни в тьмутаракани и холоде. Что делать, когда русские всегда считают себя самыми-самыми, не без справедливости. Часто оплачивают эту свою азиатскую уверенность сверх цены. Сема знал, что он несовершенный человек, относился к этому как к милому, неизлечимому недостатку.

Рами все приготовил к приходу мастера, каковым считал Креша. Все было вымочено, отчищено, нарезано, сложено: картошечка, лучок, чечевича, порубленные на куски хвосты, мелкая белая фасоль, головы морской и речной рыбы. А также морковь, корешки, томатная паста, помидоры без кожицы, лавровый лист, все предусмотрено, все учтено. Все-все. Только приложи руку, Креш, и все будет. Белоснежный передник и накрахмаленный колпак на вешалке, сверкающие ножи всех размеров и видов прикреплены к длинному магниту, специи в закрытых коробочках, японская чернейшая соя необыкновенной силы в широкой бутылке... Шеф-повар ресторана был, конечно, настроен к Крешу враждебно и иронически, но Таль все пресек. Таля боялись и его решения не обсуждались, Креш был неприкасаем в этом месте.

Выгнали Креша из части за неделю до окончания всего 24-месячного курса подготовки. Все он прошел. Уже и специализация была. С некоего этапа они проходили узкую армейскую специализацию: снайперы, подрывники, снаплингисты и так далее. Но здесь было ориентирование на местности, которое Креш очень любил, он же не знал, что будет так, относился ко всему как к игре, он вообще был игровой человек. А какая это игра, дурацкие упражнения в темноте с собачьей кровью и чужой смертью. Бежали

ночью в парах. Напарником Креша был Таль, которого ребята из их группы иногда называли Куга, производное от фамилии. Было не жарко и не холодно, самая та погода. Креш на почти вертикальном подъеме от гудевшего черного моря, карабкаясь по крепкому насту дюны наверх, вспомнил барышню, дежурившую вчера на складе, где они получали часть инвентаря. Такая серьезная, со свободной грудью, складная, ходила, как пела, все выдала Крешу и наклонилась вперед с вопросом: «Что-то еще?» «Эх, – засмеялся он, – эх, может послезавтра?» «Конечно, послезавтра», – отозвалась она, быстро улыбнувшись, сверкнув мелкими зубами в тени полок и стен. «Эх», – сказал Креш и ушел. Кабы знать. Еще дожить надо до послезавтра. На стенах склада не было никаких плакатов, графиков дежурств и прочей стандартной бодяги, деловой старшина Шлейме-Залман, ответственный за оружейную и снаряжение, этого не любил. У девушки, которая ему выдавала добро, на столе стоял календарик с цветной и густой картинкой осени, над которой стояла блеклая надпись НОЯБРЬ. В ноябре было дело.

Когда наконец взобрались наверх, Таль тянул Креша, хватаясь другой рукой за жесткие кусты на склоне, было еще очень темно. Креш знал, что там должна быть небольшая рощица, где нужно было забрать документы у раненого солдата, его не трогать, добежать до стрельбища, отстреляться и все. Быстрым шагом они зашли в рощу. Под второй по счету иерусалимской елью лежал мертвый человек. Таль включил мощный фонарик на своей каске. Концентрированный луч осветил мертвое щетинистое лицо, мокрую военную форму, застегнутый бронезилет и кроваво-сиреневое дымящееся месиво внутренностей на животе. Нос и глаза у парня отсутствовали, залитые кровью и мелкими осколками костей. Документы должен был искать Креш. Таль отодвинул его в сторону и начал деловито нащупывать липучки, застегивавшие бронезилет. «Что он там держит в пальцах? Желчный пузырь, нет? Да, желчный пузырь», подумал Креш.

Он отошел на три шага, после бессмысленного наблюдения за руками Таля, и выbleвал, упираясь лбом в холодный ствол дерева, все, что в нем было. Вся суть и вторичную субстанцию своего желудка, все-все. Неожиданно много в нем было всего, хотя ели они совсем немного за последние часы. «Забросай песком

блевотину», сказал Таль, не прекращая обыскивать труп мокрыми руками. Креш вытер лицо рукой, выпил воды из литровой пластиковой фляги и тщательно нагреб ногой песка на свою блевотину. Потом он нашел сухой куст и бросил его на все сверху, он знал, что могут быть последствия у этого. Таль уже нашел нужный документ, снял дискет с шеи мертвеца и они двинулись дальше. Уже начало светать за эти минуты. Креш ничего не чувствовал особенного. Отстрелялись они после второго подъема на холм хорошо. Потом они медленно разделись, скинув с себя обмундирование, оставив в угол каски, автоматы, 40-сантиметровые с зубринами ножи в кожаных ножнах, подсумки на липучках, аккуратно сняли свои странные башмаки со сплошной подошвой без каблука и рисунка, перебежали по холодку из раздевалки, нырнули в душевую и повернули ручки воды до отказа. Яростно и счастливо они помылись в душе в палатке за забором, сладко вдыхая свежий запах хвойного шампуня, смешивавшийся с запахом нагретой хвои редких деревьев вокруг крашеного штабного сарая с небольшим нарядным окошком. Зеленого цвета мыло тоже было хвойное у них, армия отдавала в этот день хвоей. Потом они пошли спать. Без снов, во всяком случае, Креш снов не видел.

Когда проснулись через три часа, их позвали к начальству. Один из двоих был их друг, командир группы, а другой полужнакомый жилистый майор в аккуратной гимнастерке-распашонке, старший. Майор сказал Крешу, глядя ему в глаза, что его отчислили. Не отчисляют, а отчислили, мол, говорить нечего. Никого не было вблизи, когда Креш выbleвал свою душу минувшей ночью, Таль сказать не мог, это была не его, как бы скажем, поэтика. Значит высмотрели и решили выгнать, так как не доложил сразу, дал слабину. Армия есть армия, упертая организация, с которой трудно сладить. Командир группы, человек с проблемой в произношении букв эр и эл, ничего не сказал, смотрел в стол, рука у него была как сковорода у Крешиной тетки, такое чугунное изделие, произведенное в белорусской деревне, весом килограмма на полтора. Сейчас этому славному мужику было не по себе, так показалось Крешу. Ему был 21 год без двух месяцев, а казалось, как совсем старику, что жизнь прошла и закончилась. Он был расстроен так, что желтого цвета стены в комнате плыли от него в неизвестную бездонную пустоту. Командир группы пожал ему руку,

не он правил здесь бал. Зазвонил телефон, майор положил руку на трубку, но не снял ее, ждал, когда Креш выйдет вон.

С Талем он простился наскоро, пожал руку и ушел, без лишних разговоров и обсуждений, не думая, что увидит его через 5 лет, да и то случайно, на углу улиц Арлозоров и Ремез в Тель-Авиве, неподалеку от конструктивно неловкого здания профсоюзов и скучной стены Рабочего банка. Таль, которого все ребята звали «белокурой бестией» за ржаного цвета волосы и пронзительно синие глаза, деревенский бес, был сентиментален и холоден. Он, конечно, пошел тогда говорить за друга, но его отослали, сказав, что «приказы не обсуждаются». «Кто сказал так?» – кричал Таль. «Остынь, уходи, нарвешься», – сказал Талю командир их группы не без досады. Так все и закончилось. На обратном пути Креш, дрожавший от бешенства, заехал на базу, обжитое за два года место, и зашел в оружейную. Хотел погрызть чужого тела, задохнуться от мяса. Позавчерашней ласковой, податливой, как он правильно посчитал, солдатки не было, за столом сидел сутуловатый парень в грубом резиновом фартуке и возился с русским автоматом, здесь это оружие ценилось за безотказность, ну и из сентиментальных чувств, конечно, люди их военной профессии все больше сентиментальны и чувствительны. Не все, конечно, но многие.

Креш вышел на двор курнуть, потому что на кухне было жарковато со всеми этими надраенными Рахмонесом до блеска кастрюлями с супами, наполнениями, соусами и запахами. Из темноты к нему осторожно вышел рослый мужчина, на свету лампы над дверью Креш отметил мощные ключицы, длинные руки, расслабленное скуластое лицо, неуверенные сиреневые глаза и футболку с нарисованной ракеткой для настольного тенниса. Внешность у мужика была выигрышная, несмотря ни на что. Ситуация была для него заведомо проигрышная.

«Мир тебе, мужик. Можно тебя на минуту? Работы у тебя нет?» – спросил мужчина. Слова его звучали вопросительно без просьб, подлаживания и слащавости. Это понравилось Крешу, он не любил, как и многие люди его поколения, просьб. Никто ничего не даст, если просить, лучше отнять или отойти ни с чем.

«Извини, брат, – сказал Креш, – я понимаю, что ты насчет работы, у меня нет для тебя работы. Ты вообще откуда?» – сказал Креш. «Я из Шхема, у меня ребенок здесь у вас в больнице тут,

слава богу, взяли и печат, а я вот пробрался побыть с ним, только не пускают, строгие, заразы» – рассказал человек из Шхема без особого выражения. «А что ребенок-то? Печат?» «Слава Богу, стараются, кажется, помогает. Я молюсь, вся семья моя молится, братья, жена» – сказал мужик. «Ты сколько времени здесь?» «Да уж третий день, ночью на пляже, вот работу ищу, к мальчику меня не пускают, гады, хотя охрана там из собратьев моих, но они строгие и ни в какую, за место, наверное, боятся, чего же еще». «Так ты без разрешения? Погоди», – сказал Креш. Он сходил в кухню и в подсобке, где оставлял куртку и сумку, взял из кармана 200 шекелей. Креш вернулся и отдал деньги мужику из Шхема вместе с хлебной лепешкой, в которую сунул кусок отварного мяса и соленый огурец. «Давай, мужик, порубай немного», – сказал Креш. Человек взял деньги и хлеб достаточно быстро. Но осторожность в нем ощущалась. «Давай, бери, все не кошерно», – сказал Креш без улыбки, он хотел все это сгладить как-то, заиграть. «Спасибо, спасибо, ты не думай, вот мой документ, еще с тех пор, когда у меня было разрешение на работу», – быстро заговорил араб. Он раскрыл перед Крешем паспорт в пластиковой обложке, держа его в дрогнувшей рабочей руке. Креш в полутьме запомнил все данные этого человека с одного взгляда, когда-то его этому хорошенько учили. «Я тебя найду, давай, Ахмед, давай, – сказал Креш, – не надо благодарностей». «У меня мобильник есть, брат подарил, щедрый человек, всему меня учит, не бойся, говорит, не надейся, не проси, очень умный и правильный человек. Сейчас ведь праздник у вас, территории закрыли, потому я вот так и такой», – объяснил Ахмед и ушел. Проходя мимо главного входа, он съезжился, постарался уменьшиться в размерах, но омоновцев бывших не бывает, ведь так?! Семен, как говорили когда-то, сфотографировал мужика и отложил фото в близком и доступном для себя месте. Всю эту братию Семен вычислял мгновенно и гонял их нещадно, как его наставлял Таль. «За что деньги платят служивому? – спрашивал Семен себя и отвечал себе. – За службу». И поощрительно добавлял очень довольный: «Правильно, молодец капитан». Ахмед исчез за углом, провожаемый подозрительным осязаемым азиатским взглядом Семена.

Таль их терпеть не мог после своего ужасного ранения в Ливане, просто терял рассудок при одном виде этих людей. Никто из

них у него в ресторане не работал ни в каком качестве. Даже замечательных блюд их кухни в его меню не было. Таль, человек добрый и сентиментальный, который мог отдать рубашку постороннему, менялся в лице при виде этих людей. Их имен он не произносил, не мог слышать даже. «Тарантулы, б-ядь, скорпионы», та ситуация, при которой он был ранен, а друзья его погибли бесследно, по его мнению, оправдывала такое мнение. Креш же был далек от национальных и политических проблем, но все, по его мнению, понимал. На мякине его было не провести. Мясо он ел, конечно, хотя предпочитал овощной или чечевичный суп, обходясь без второго, не любил перегружаться, потому что мешало думать и учиться. Да и денег особых у него не было, так, на жизнь, пропитание и все. Вот женщина его была склонна к вегетарианской пище, но пока все-таки ела и копченую гусятину, и котлетки, и рагу, и телячий нежный супчик с зеленью и морковью, и все-все, что приносил Креш домой и скармливал ей с ложки, он ее обожал. А ей казалось все это великолепие какого-то бумажного вкуса, но она ела, потому что не хотела Креша огорчать. Мясо и рыба вызвали у нее отвращение, но любовь к нему была сильнее ненависти к такой пище.

Одна история буквально убедила Креша в том, что его друг не в полном порядке. Они ехали вместе в машине по 4-му шоссе в хозяйство, где Таль закупал двухмесячных цыплят. В дороге их два или три раза подрезала без надобности машина с пятерыми самаритянами, как их называл Таль, физически не в состоянии произнести более точное слово. На третий раз Таль, водивший машину после армейского курса виртуозно, перекрыл им дорогу. Все остановились. Пятеро мужчин, крепких, молодых, здоровых, стройных, с раздраженными, бешено веселыми лицами продвинутых феллахов вышли им навстречу. «Сиди здесь, я сам», сказал Таль и выскочил наружу. На счастье Креш не послушал друга и вышел вместе с ним, иначе неизвестно чем бы все кончилось. Потому что через минуту шофер земляков лежал лицом на капоте своей бордовой машины, а Таль держал у его виска парабеллум стального цвета 9 мм калибра и тихим голосом спрашивал его: «Ты кто, грязь, ты кто такой? Я тебя сейчас смешаю с этой землей и друганов твоих, сделаю вас всех охрой и глиной, ты меня понял?» Несчастный ничего не понял, откуда это на него упало,

он мычал, нос его был размазан по капоту, он все понял. Если бы Креш не оттащил своего друга, обхватив двумя руками за натянутое тело, то все кончилось бы ужасно. Таль отмахивался, но Креша учили там же и тому, что и Таля. По дороге мимо остальных четырех, в ужасе застывших с отставленными челюстями, Таль изловчился и разбил рукояткой стекло шофера. Но это уже были мелочи. Псевдосамаритяне, псевдо, потому что настоящие самаритяне смирные мягкие рыжие люди не без тяжелых комплексов, погрузились и так же молча умчались в свою деревню, Креш держал Таля руками и пытался успокоить. У парня стучали зубы и он держался за руль белыми от усилия руками.

Придя домой, Креш включил компьютер. Женщина его спала в смежной комнате, всего у них было полторы комнаты на двоих, вполне хватало. Креш связался с приятелем, который был в теме. Они служили с ним вместе, Креш подался после своей неудачной армии в повара и студенты, а этот устроился в «контору», как говорится. Иногда он приходил к ним в ресторан, хлебал крепкий супчик, выпивал полбокала «Хеннеси», жевал лимон с грецкими орехами, так нужно было пить этот коньяк по его словам, он это знал наверняка, расслаблялся. Таль выходил поздороваться, он людей этой профессии не слишком жаловал, но читл. Пожав ему руку, не сказав ни слова, Таль уходил к себе в кабинетик, думать о будущем и настоящем, читать Тацита. Вот такое: «И всё же я не пожалею труда для написания сочинения, в котором пусть неискusstным и необработанным языком – расскажу о былом нашем рабстве и о нынешнем благоденствии. А тем временем эта книга, задуманная как воздаяние должного памяти моего тестя Агриколы, будет принята с одобрением или, во всяком случае, снисходительно; ведь она – дань сыновней любви».

Однажды Креш, заглянувший к нему за чем-то, застал Таля за чтением. Тот смешался, что само по себе было невероятно, захлопнул книгу и положил ее в стол. «Вот видишь, старею, наверное», – пробормотал этот парень, заметно покраснев. «Думаю, может быть, откроем монгольский ресторан, а, Крешуня?!» Креш смутился не меньше его. Кстати, он был после армии полтора месяца в Монголии, которая его потрясла простором, мясом, чаем, людьми, девушками, ночными танцами в Улан-Баторе, да мало ли

чем может потрясти Монголия молодого еврейского путешественника. Слово “мясо” повергло Креша в почти грешные мысли об этом предмете. Как Креш понимал, Таль не мог простить той коварной и страшной засады в Ливане всей ихней нации, и не прощал.

Было 2 часа ночи, накрапывал мелкий дождь. Креш знал, что это как раз самое время для разговоров, общения, вопросов и ответов. Креш безоглядно посмотрел на свою спящую женщину, не удержался и осторожно поцеловал ее: он мог все что угодно сделать для ее счастья. В любой момент. Не думал о равноценности ее чувства, это не занимало его нисколько.

Креш записал по памяти все данные Ахмеда из его документа и послал на электронный адрес своего приятеля. После этого он позвонил ему и сказал: «Привет, Аси, не мешаю? Я в порядке, просьба к тебе, погляди данные на парня, выслал тебе на адрес все, что знал. Ок, спасибо тебе, жду». Креш посмотрел в окно на небо, которое было мрачно и не обещало доброго дня завтра. «Прямая дорога в вечность», – подумал он, увидев некую звездную дорогу шириной в восьмирядное шоссе к задымленной в эту ночь луне. Он вообще был поэтический малый с трезвой склонностью в романтизм. Это не раз с удивлением и известным восторгом, связанным с ее пылкими чувствами, отмечала его скромная, добрая и тихая женщина. Она недостаточно ценила свою красоту, доброту и сексуальность, которые были просто замечательными у нее, носила какие-то балахоны, туфли без каблука и закрытые блузки ужасного цвета. Но Креш-то все видел, несмотря на ее усилия. Обожал. Без одежды в постели или пешими прогулками по квартире по утрам эта женщина была неотразима.

Телефон зазвонил через пять минут ровно. «Слушай, – сказал Крешу приятель, – парень этот чист, на нем ничего нет, родители и жена чисты. Ребенок лечится в нашей больнице, с разрешения властей. Онкология. Диагноз мальчика нужен? Все молятся и работают, зарабатывают, нормативные люди. Есть старший брат, теоретик исламизма, настоящий убийца, осужденный на 24 года за покушение с тяжелым ранением, обменен год назад в очередной сделке по обмену. Вернулся домой два месяца назад, приехав из Турции после оговоренного отстоя. Подписал бумагу об отказе от террора, очень опасен, согласно нашей оценке. Тот еще тип, конечно. Влияет на окружающих и близких. Знать ничего

нельзя, живет в доме отца вместе с семьей твоего Ахмеда. Да? Ему дают стипендию друзья по идее... Вполне приличную стипендию, может уже пожениться. Влиятелен, но я это уже тебе говорил. Ты все записал? Тогда счастливо, береги себя, старый». «Я твой должник, диагноз не нужен», – сказал ему вслед Креш.

Дождь все не переставал. Полицейские остановили свою патрульную машину у увитого виноградом входа в закрытый сейчас ресторан, работавший по доступным ценам в сфере местной и восточной кухни. Креш явно видел сверху, как они, сняв фуражки и уложив их под ветровое стекло, энергично жевали тяжелыми челюстями свои бутерброды с фабричными сочными котлетами, которые они прикупили неподалеку в круглосуточном заведении с фирменным знаком мирового лидера с красно-желтым знаком М. над зданием.

«Значит, мобильник ему подарил брат, так. Что же ты, Ахмед?! Интуиция меня подводит уже», – подумал Креш. Можно было подумать, что эта самая интуиция его не подводила прежде. Да всегда, ну, почти всегда. Сейчас еще ничего особенного не произошло, тревожиться Крешу было нечего. Но кошки на душе скребли отчего-то. Полицейские еще не уехали, о чем-то говорили, откинувшись на сиденьях. Креш пошел спать, погода располагала. Грудь его женщины была прохладна и весома, как и всегда. Губы у нее были клейкие, набухшие, мягкие. Большое удовольствие и счастье заключается в расклеивании таких губ, проникновение в них, внедрение, вживание, замирание.

Машина полицейских на улице пришла в движение. Дежурный коротко сказал по связи, они услышали. Мужчины быстро вытерли ладонями рты, собрались, пристегнулись и, посерьезнев, сжав лица, рванули с места, включив сирену. Они понеслись по улице в северном направлении, разбрызгивая мелкие лужицы на новеньком асфальте, о котором позаботилась деловая местная мэрия, лучшая, по настойчивым слухам, на всем восточном побережье Средиземноморья. А это, к вашему сведению, самый однообразный берег с синим, бесконечно глубоким морем от Турции до Марокко, который включает в себя Газу и Египет с роскошным Синаем, великолепной Александрией и несчастную на этот час Сирию со стандартной русской военно-морской базой, любимой режимом алавитов, в городе Тартус. Или как его называли кре-

стоноscopy Антартус. На базе этой постоянно служили 50 русских загорелых и веселых моряков, находящихся в заграничной командировке по обеспечению процесса восстановления империи, которой их родина не переставала быть ни на минуту, чтобы не говорили ее недруги. А также богатый остров Кипр, который попал в этот список исключительно по протекции. За него просили наверху.

Утром Креш вскочил очень рано, как в армии, ни к доброму дню быть помянута. Армию, родную оборонительную организацию, о которой когда-то мечтал как о женщине, которой добивался как последней любви, он терпеть не мог, не скрывал этого, всегда намертво замолкая при одном упоминании кем-либо этого слова. Вот что бог может сделать. Женщина Креша понимающе брала его за руку и укладывала ее в такие мгновения, да и в другие тоже, себе на живот, который снимал с него нервное напряжение как лучшее лекарство. Он принял холодный душ по привычке и сразу пошел в кухню, где нарезал отличный вчерашний хлеб «ахид» толстыми ломтями, намазал их майонезом и молотым острым перцем без изысков, положил поверх куски копченой гусятины и сложил пять таких двойных бутербродов в стопку. В пакет он положил две луковицы, нарезанные пополам, горсть маслин «балади», три крутых яйца и крепко замаринованную розово-фиолетовую репу, которую, он знал это наверняка, обожают арабы. «Можно жить, Ахмудя, можно», – весело подумал он. Креш запоем читал сейчас книгу под названием «Колымские рассказы» автора с пронзительными глазами, с непроизносимой фамилией, чувствуя великую литературу кожей, перевод был замечательный, хотя ничего подобного этот самый переводчик не мог пережить просто по возрасту, по географии жизни. Этот секрет одаренности занимал Креша чрезвычайно.

Он наскоро простился с еще сонной женщиной, погладив ее прелести с чувством почитания и преклонения, и вышел на лестницу. Было 7 часов утра. Баба из 7 квартиры смотрела в приоткрытую входную дверь на него блестящим внимательным взглядом, от которого можно было сойти с ума на месте. Но Креш видел и не такое, она для него была легким завтраком это несчастная тетка. Он кивнул ей, прищутив свой карий глаз снайпера, и побежал вниз, перескакивая через две и три ступеньки. Дом был

старый, построенный лет 77 назад в функциональном немецком стиле «баухауз», линии простые, ступени высокие, но колени Креша держали его прочно. Баба из 7-й квартиры сердито хлопнула своей дверью со словами «зол стэ...», дальше было не расшпатель, но можно при желании догадаться.

Во дворе Креш отцепил свой замаскированный от воров, которые что-то разгулялись в последнее время, электрический самокат, который завелся одним движением кисти, и покатил к морю под легким и весьма прохладным дождем. Через 7 минут он был на пляже и мгновенно высмотрел Ахмеда под пластиковым бордовым грибом на фоне хмурого моря в волнах с белыми гребнями. Араб только что умылся и медленно и сильно вытирался своей футболкой. Никого не было вокруг, только стучали жалюзи открываемого прибрежного кафе напротив набережной. Они пожали друг другу руки не без мужской церемонности: крепко, открыто и уверенно, как и полагается. Скамейки стояли по кругу, Креш уселся напротив, облокотясь на руль самоката. Он смотрел на Ахмеда внимательно и серьезно, без улыбки наблюдая за этим человеком, за движениями его худых сильных рук. Ахмед не был встревожен или напуган, вел себя спокойно, ничего он не задумывал, судя по пониманию Креша, который очень не хотел ошибиться. Старик лет 80, который прибегал сюда каждый день, бегал неподалеку от них, прыгал, улыбался, окунался в серо-зеленую воду с головой, выскакивал с раскрытым задышающимся сиреневым ртом с бесцветными губами и ровным рядом прекрасно сработанных дорогим мастером зубов. Две девушки спортивного сложения, стройные и расслабленные, неторопливо бежали от них по самой кромке моря в сторону севера, склонив головы с собранными на затылке светлыми волосами. Они обе были в голубых рейтузах, которые у знаменитого русского писателя названы «лосинами», от вида и содержания которых можно было сойти с ума даже бесстрастному наблюдателю.

По набережной за спиной Ахмеда тоже спортивным шагом ходили люди все больше средних и пожилых лет: берегли здоровье. На правом плече у Ахмеда была глубокая почти зажившая царапина. «На вот, поешь, принес тебе тут», сказал Креш и передал Ахмеду пакет с едой. Тот взял его со смиренной благодарностью,

отмеренной идеально точно. Ему было, наверное, сложно соблю-
дать достоинство и одновременно благодарить яхуда, подумал
Креш. Почему-то здесь на этом берегу совершенно не было ни
чаек, ни других морских птиц. Через километр-полтора возле порта
птиц было много, все наглые, крикливые, а здесь нет, как не было.
Объяснения у Креша этому нет. Возле тротуара он углядел двух
ворон, которые зло ссорились из какого-то маслянистого комка. И
как-то он успокоился от этого, летают, сварливые, некрасивые, не-
доверчивые.

А вон пролетел редкий в этих краях средиземноморский буре-
вестник, Креш его не заметил.

Ахмед ел хорошо: не торопился, аккуратно, но видно было, что
очень голоден, как может быть голоден редко завтракающий здо-
ровый молодой мужчина. Пару раз Креш поймал на себе его бла-
годарный, странный взгляд человека, который судорожно
пытается понять что-то и не может. А и бог с ним, не можешь по-
нять и не надо, да что тут понимать-то, скажите? Что?

Вся эта грошовая психология благодарности и недоверия Кре-
шем не воспринималась. Он жил в нескольких измерениях:
правда – неправда, любовь – ненависть, злоба – доброта и так
далее. Никаких оттенков этих чувств он не понимал. Креш не
любил обобщать, но иногда это получалось сверх его желаний.

Однажды Семен, русский охранник главного входа, «наша по-
следняя надежда», как его иногда серьезно называл Таль, задум-
чиво сказал Крешу, который вышел покурить: «Вот у американцев
или европейцев взгляд мутный, не ухватить, а у нас наоборот,
взгляд ясный и прозрачный, как наша честь и совесть, душа и
сердце». Он очень хорошо говорил на иврите, насобачился бол-
тать за 9 лет жизни здесь, в Россию этот обладатель ясных и про-
зрачных глаз хитрого и жестокого умника не ездил. «Ни ногой», по
его собственным словам. Так он объяснял Рахмонесу, который его
слушал уважительно и внимательно, как слушают раввина в пят-
ницу вечером.

Ахмед, подумав, сказал, что старший брат его научил достоин-
ству и фатализму. «Знаешь, что это такое?» Креш молчал. «И про-
сить ни у кого ничего не надо, а я за сынка своего просил, не
сдержался, антагонизм с учением брата, понимаешь?» Креш
понял.

Ветер принес запах свежей выпечки из уже действовавшего кафе на другой стороне набережной. Горячий пар машины, которая варила кофе из молотых колумбийских зерен, лучших из всех существующих, по мнению оптовиков и некоторых избалованных потребителей, также вырвался наружу, радуя окрестный люд. Запах этот напомнил о действительности, недостаточно сладкой, по мнению Креша, и вполне-вполне приемлемой, по мнению Ахмеда. «Сынок мой вроде бы получше, Креш, – сказал Ахмед с набитым ртом, – я звонил раньше, сказали так, понимаешь?» Креш кивнул, что понимает. Ахмед позволил себе расслабиться, что было очень заметно. Не улыбался. «Ты с женой то говоришь, она в курсе?» – поинтересовался Креш. «Сказал ей про сына, с братом потолковал, брат мой очень умный, сказал, чтобы я молился, у тебя есть брат?» – спросил Ахмед. Креш покачивал головой, что можно было понять как «не знаю, неизвестно». У него были брат и сестра, но он никогда и ни с кем не говорил о них, они остались в стороне от главной направляющей жизни Креша. На трассе ориентирования в лесу под Бейт-Шемешем Креш их потерял. Не только их, многих других тоже.

Ахмед напомнил Крешу какого-то дальнего знакомого, только он не мог вспомнить кого. Это костистое крупное лицо, впалые черные непримиримые глаза... кто это? Кошка сидела рядом и неотрывно смотрела на Ахмеда, на то, что он поглощал. Ахмед не реагировал, не реагировал, но потом оторвал кусочек мяса от последнего бутерброда и протянул животному в руке, бросать было нельзя из-за мокрого песка под ногами и вокруг. Кошка не верила в намерения человека, но желание есть было сильнее страха. Она сделала гибкий шажок, другой, осторожно взяла мясо зубами и ушла, как пришла. За пластиковой стенкой она начала жадно есть, давясь и торопясь, оглядываясь, как бы чего не вышло. Ахмед, закончив трапезу, стряхнув руки, посмотрел на нее понимающе: «Так-то вот, сестренка, жизнь неожиданна, иногда хороша». Креш тут же понял, на кого он похож. Как его пронзило. Ахмед был похож на фото того русского на обложке книги, который написал «Колымские рассказы». Конечно, все совпало: не бойся, не надейся, не проси, так написал этот русский костистый дядька. Ахмед немного отступал от образа русского героя, он был другой веры и судьбы, 100 процентного сходства не было, но все-

таки и здесь было не так как там, правда?! Совсем не так. Имя автора книги Креш воспроизвести не мог, это было выше его сил, а Глеба поблизости не было. И быть не могло, какой Глеб.

По набережной споро и громко проехала телега, запряженная гнедой лошадей. Молодой небритый возчик в застиранной куртке с капюшоном, напяленном на голову, наблюдал окрестности с нейтральным видом туриста. Лошадь недовольно мотала головой, демонстрируя характер. Возчик говорил ей с облучка, «тпр-р, парА, тпр-р». Изредка он вытягивал руку с кнутом и гулко щелкал им в простывшем воздухе рядом с ее крупом. Лошадь дергала вперед на грани нервного срыва, возница довольно рычал и укладывал кнут подле себя до следующего рывка. «Ну, капара, давай лети в родное Яффо к площади Часов, где меня уже заждались». Он вез овощи и фрукты для тамошних этнических ресторанов, а также картонки с яйцами и испеченные ночью хлеба с грубой деревенской, полопавшейся местами, коркой. Хлебы эти метались на столы официантами вместе с оплывшим сливочным маслом в миске и ножом-пиллой для нарезания ржаных буханок. Рядом с возницей лежала немецкая овчарка, положив голову на лапы и неотрывно глядя перед собой. Ахмед посмотрел вслед этому нередкому здесь экипажу и повернулся к Крешу. «Я вечером подойду к ресторану, можно», – спросил он. Ахмед ожил после еды, воспрянул, в глазах появилась надежда. «Обязательно, только пройди осторожно мимо охранника, он всегда на страже», – объяснил Креш. Ему было неудобно все это произносить, но сказать было надо, он ненавидел эксцессы и скандалы. Он вообще был не публичный человек, предпочитая сидеть в углу и наблюдать, и слушать. Или читать странные книги посторонних здесь авторов с ужасной судьбой. На поясе у возницы был прикреплен традиционный местный нож, который называют здесь шабария. Древнее оружие бедуинов, имеющее ятаганную форму. Ножны были сделаны из дерева и покрыты тонким слоем металла в узор. Угрожающая форма ножа внушала страх и уважение к нему и хозяину его.

Креш, глазастый, как и все снайперы, даже бывшие, углядел шабария, мирно дремавшую у бедра возницы, которому было явно тесно в городе, но он терпел. Заработок кормильца значительнее скуки, важнее переживаний, сильнее ревности. Изредка через одинаковые промежутки времени, возница опускал руку на

нож, убеждался в его наличии и успокаивался. Профилактика своего рода. Телега с невысокими бортами удалилась со всем своим ярким наполнением, скрылась с глаз. Из сердца вон. «Я пойду, дела», – сказал Креш. Ахмед поднялся за ним и пожал его руку своей плоской жесткой кистью без теплоты, но явно дружески. Так здороваются и прощаются сахбеки, то есть друзья. Какая-то тяжкая мысль вспыхнула и погасла без очевидного оформления в мозгу Креша. Что-то связанное с ножами, которым Креш поклонялся с детства, но что именно, он никак не мог восстановить. Креш вывел свой самокат к тротуару, оседлал его и покатил в частой и не сильной пелене дождика. «Шабария, шабария», – повторял Креш. Не вспомнил, что его огорчило. Сверкающие лезвия крутили над его головой свой огненный арабский танец. Сырой плотный песок, потемневший под дождем, окрашивал этот пейзаж в густые оттенки охры, такая картина позднего Писарро что ли: свет, воздух и темный песок. Время для ссор и выяснения отношений, тяжких запоев под текущее дождем окно и чтение загадочной прозы под зажженную с утра лампу у дивана. Полстакана и хлеб, еще полстакана и еще хлеб, взгляд на улицу с перебегающими дорогу голоногими смеющимися студентками и еще полстакана под бурчание новостей в советском радиоприемнике 50-х, купленном у старика-болгарина на необъятном блошином рынке, то бишь, на барахолке в Яффо.

Креш влажно покашлял, все-таки было прохладно. Они простились с посветлевшим Ахмедом, который гнал вокруг себя такую атмосферу веселья и радости, что хотелось предупредить его от сглаза. Сглазить может и хороший человек, говорил Крешу когда-то родственник-старик, не родившийся здесь. Он ушел по своим делам, бесшумно покатил напротив огромных окон нового ресторана, где готовили в самом центре зала, в открытую, несколько поваров и рослых поварят с элегантными движениями рук. «Звони мне, хорошо?! Номер помнишь?» – спросил его Ахмед. Креш кивнул, что позвонит и что помнит, все-то он запоминал. Брат Ахмеда его не занимал нисколько, он понимал, что у того здесь сейчас влияния нет.

Креш двинулся, толкнувшись левой ногой от асфальта, не думая об Ахмеде. У него были утром две лекции, надо было успеть к 9, а пересечь нужно было весь город, умытый, чистый, свежий.

Хотя самокат уверенно и нагло решал проблему всех пробок, но кто знает, дороги скользкие. С Ахмедом тоже как-то, если не решилось, но стало понятнее Крешу. «Вдалбливают им в голову с малолетства, черт знает что», – думал Креш об этом костистом самостоятельном арабе, объезжая по крутой роскошной дуге длинноногую, с золотой цепочкой на идеальной формы щиколотке, даму, и ее уверенного спутника, с покатым животом и тончайшими часами на широком запястье простолюдина.

Добродетельным человеком Креша назвать было трудно. Он был как бы заторможен, задумчив, иногда очень опасен. С ним нельзя было связываться ни прохожему с разболтанными плечами воришке, ни хмурому смотрителю на автостоянке, ни средних лет контролеру, штрафовавшему безбилетников и намусоривших граждан, ни подвыпившему молодому мужчине, который строит себе фигуру настойчивыми упражнениями в зале после умственной работы. Креш вцеплялся в противника, обычно надуманного, как клещ. Он всегда прятал карты, играл слабо. Когда он входил куда-либо, скажем, поднимаясь по лестнице наверх, то с первым же шагом его видна была порода, его пластика сверхчеловека, его классовая принадлежность. Царский поворот головы, тяжеловатый подбородок, намеренное невнимание к одежде, широкий и легкий шаг, раскованный корпус. Отец его был приземистого роста торговцем, если быть точным. Магазин отца назывался «Тысяча мелочей», дело шло хорошо.

Свернув налево с пустого бульвара и прибавив скорости на, ну, абсолютно пустом до прозрачности проулке, Креш натолкнулся своим проникающим псевдосолдатским взглядом на крупную надпись, сделанную на аккуратном зеленом вагончике. В таких обычно сидят прорабы или бригадиры коммунальных служб, например канализационных систем, которые имеют привычку портиться в самых неожиданных местах. Бах, и пробило, и чистенький газончик стал вонючим, похожим на болото пространством, буроватого цвета. На вагончике кто-то ровно, черно и сильно написал: «Ахмед – убийца и мерзавец». Креш отвернул круто голову и, притормозив, на повороте влево проехал дальше. Кольнула его эта надпись очень сильно, он не любил таких совпадений, они нарушали ему жизнь.

Вдруг он стал интернационалистом, хотя значения этого слова Креш, конечно, не знал. Что-то из первого мая, из программы лево-прогрессивной партии, из скучной телепередачи с какими-то громкоголосыми, тухлыми участниками. У Креша все знания были на уровне интуитивном. Дурацкая белозубая полуулыбка, появлявшаяся некстати, делала его похожим на какого-то популярного скандинавского не то раскрепощенного артиста, не то на сконфуженного поклонниками певца. Он не закончил свой воинский маршрут, необходимые для военной квалификации 24 месяца. Потому-то Креш не боялся всего, что происходило вокруг. Он жил возле жизни, обиженный на армейские тупые, по его мнению, законы и армейскую жизнь до смерти. Если бы не Таль и его ресторан, то неизвестно что и как с Крешем бы стало.

Уже подъезжая к университету, Креш вспомнил, что не привез Ахмеду одежду на смену, у них было примерно одинаковое телосложение. Ахмед был костистее, пошире, Креш же казался более ловким и складным. Но Ахмед был и постарше Креша лет на 7-8. Креш приготовил ему пакет со штанами и рубашкой, все было на размер-другой больше чем надо, так, как любил одеваться он сам. Все эти ночные игры с компьютером и телефонными звонками затмили память, Креш расстроился от этого. Рубашка была с флагом Италии на плече, когда-то он ее очень любил, считал, что похож на жителя Тосканы, почему-то он зацепился за Тоскану. Женщина его улыбалась и говорила, что «ты похож на Креша и только на него», она ревновала его к одежде, к которой Креш был совершенно равнодушен. Она посчитала, что он любит эту одежду больше нее, женщину было не переубедить. «Вечером возьму на работу, он придет и заберет, только позвоню на знаменитый братьев мобильник», – подумал Креш и, пройдя через гулкий холл с полом из шлифованных синих мраморных плит, привезенных из Кении, осторожно зашел в лекционный зал. Рот у него совершенно пересох, погода была какая-то дурацкая, ни то, ни се, так здесь бывает осенью, весны-то в европейских представлениях почти нет в этих краях.

В лекционной студии находилось 14 студентов и докладчик – специалист по современному Ирану, субтильный человек европейского происхождения, выучивший фарси огромным усилием воли и усидчивостью. Иначе говоря, он взял этот язык, как берут

недоступную роскошную женщину, наглыми домогательствами и измором. Теперь вот он рассказывал, очень высоким, но поставленным лекторским голосом с ужимками и повторами историю современного Ирана, которая не обещала больших радостей слушателям.

Популярный лектор, прервавшись, поводил по Крешу сиреновыми, какими-то свежими глазами, недовольно ответил на приветствие и извинение, и показал кивком, чтобы проходил. «Па-пра-шу не опаздывать», – сухо и громко сказал он. Креш согласно кивал этому зануде, чуть ли не спиной. Он не обижался. Сел возле рыжеволосой, прелестной девушки с белоснежной кожей, которая охотно и легко подвинулась, освобождая место для Креша на скамье.

«Так вот, – сказал лектор, – на чем мы остановились? Не подскажите, уважаемая Лимор?» Соседка Креша поднялась, как будто раскрывала застывшие ножницы, оказалась очень высокой и стройной, как смоковница, и сказала: «В столице Ирана Тегеране жизнь резко отличается от жизни в других местах этой страны, к этому городу очень подходит известное выражение о том, что Нью-Йорк это не Америка, Москва это не Россия, но Париж это Франция». Лектор явно удивился. «Спасибо вам за замечательную память и внимание, Лимор, вы заработали лишний балл на экзамене, я бы сказал, даже два балла», – отметил лектор, рассматривая девушку в упор, как картину Матисса в его зале в петербургском Эрмитаже. На этой картине было изображено в двух цветах лицо русской красавицы Лидии Делекторской, томской сироты. Эта иерусалимская Лидия теперь старательно записывала слова злобного, волевого лектора, только листы тетради трещали под ее авторучкой.

Дома Креш опять читал «Колымские рассказы», отчетливо понимая, как попадает через эту странную, великую книгу в другое пространство, незнакомое, страшное, величественное. Пространство это фосфоресцировало, как ненастоящее, но Креш его ощущал почти физически. Он как бы шел в отрепьях и страшных башмаках из автомобильных шин, качаясь от слабости и голода. Холод пронимал его до костей, он почти не боялся, потому что бояться уже было ему нечего. По сухому снежному насту, издавая славные звуки, распространяя запах бензина, очень быстро мча-

лись грузовики и груженные самосвалы. Снежный полусумрак и болезненный голод кружили Крешу сознание, он был близок к тому, чтобы прилечь у двухметрового сугроба возле дома и заснуть без снов. Жизнь его была поставлена на кон в этом пространстве другой земли. Он попал через эту книгу про Колыму в другое пространство

«На Колыме не поют птицы. Цветы Колымы – яркие, торопливые, грубые – не имеют запаха. Короткое лето – в холодном, безжизненном воздухе – сухая жара и стынущий холод ночью.

На Колыме пахнет только горный шиповник – рубиновые цветы. Не пахнет ни розовый, грубо вылепленный ландыш, ни огромные, с кулак, фиалки, ни худосочный можжевельник, ни вечнозеленый стланник.

И только лиственница наполняет леса смутным своим скипидарным запахом. Сначала, кажется, что это запах тленья, запах мертвецов. Но приглядишься, вдохнешь этот запах поглубже и поймешь, что это запах жизни, запах сопротивления северу, запах победы.

К тому же – мертвецы на Колыме не пахнут – они слишком истощены, обескровлены, да и хранятся в вечной мерзлоте», – вот что было написано в этой книге, которую написал писатель с произносимой русской фамилией.

Вечером Креш приехал на работу пораньше, потому что был большой заказ, ожидался наплыв гостей, и Таль просил быть его во всей красе. Он встретил Креша на крылечке, стоя возле Семена, который сегодня был при полном параде: белая рубашка, галстук, лакированные башмаки, только куртка подкачала, серая какая-то, бесформенная, невзрачная. Но главное, что Семену она нравилась. Она нравилась, и это было решающим фактором в выборе этим, да и другими тоже, одежды. Семен пожал руку Крешу и празднично спросил: «Ну что, Кореш, как жизнь?» Он все время ждал от этих парней несмышленишей какого-нибудь просчета, который только он один сможет исправить. Просчеты у них были все время, Семен их не исправлял, он свои частые ошибки не мог исправить, куда ему было до чужих ошибок. Но самонадеян он был сильно. Очень мало ел, обходясь бутербродом и стаканом чая утром, больше за весь день ничего. Ну, воды попить. На ночь он съедал пластиковую баночку простокваши, «гиль» под названием. На сложении его это не отра-

жалось. «Только зрение острее», – объяснял Семен Талю. Тот смотрел на него непонимающе. «Станный ты человек», – говорил Таль и возвращался в кабинет, считать и пересчитывать. «Все-таки Бог у них не деньги», – думал Семен, когда Таль выдавал ему премию в удачный день. «Они тоже все разные, ты смотри», – удивлялся про себя охранник на евреев. Однажды он сподобился и подумал про ребят, когда они крепко выпили и закусили в день памяти по погибшим, расслабленный от чувств и мыслей: «Все-таки грешил я на них много». Но эта мысль быстро уходила от Семена, потому что «не такие уж мы все полные дураки, все не ошибаются». Понятно было ему наверняка, кто дурак, а кто и не дурак. Ответа на свои вопросы Семен искал в мокрых боках автомобилей у обочины. Блестящие тела их подкармливали его взбудораженное сознание. Если уж быть совсем честным, то Семен этого Таля боялся, не побаивался, а вульгарно боялся, этих стылых светлых глаз, изуродованной руки, трех его проникающих полостных ранений в живот из АК-47, его больной души. Короче, он боялся этого человека и ничего не мог с собой поделать.

По внешнему виду ничего узнать про Семена было нельзя, человек как человек, две ноги, две руки, широкие удобные штаны на американских подтяжках для удобства, большая кошачья башка и в ней много разных мыслей про жизнь и отдельные составляющие ее. Встревоженный взгляд был у мужика, но сегодня у кого нет встревоженного взгляда, только у младенцев разве что, а?! Да и то.

«Там сегодня богачи по супам решили вдарить под спиртик, приготовь им что надо и главное, как надо, Креш, времени уже нет», – сказал Таль без улыбки. Глаза его, схожие с глазами киногероев, потемнели, набрали синей мути, это был не его день, если верить звездам. Это день не был и днем Креша, хотя он родился совсем под другой звездой. У Таля был замечательный в малом холодильнике 96% спирт, который он выдавал под мясные супы, надежным проверенным людям. Однажды дал непроверенным и поплатился неприятностями. Спирт в Стране-Израиле всюду хороший, если говорить честно, люди разные.

Креш славно поработал в этот вечер. Рахмонес помогал ему, как мог, стараясь попасть в такт. Супы кипели на огромной плите, Рахмонес ходил с несколькими ложками, никогда не ошибаясь в

том, какая должна мешать что: какая чечевичный суп, какая ми-нестроне, какая суп из бычьих хвостов, какая ливийский мозговой, какая кубе-хамуста, какая суровый гуляш, какая африканский суп с орехами, какая прозрачный азиатский бульон с красными метками разящего перца. И никаких меток на них или зарубок там, на ложках не было. Брал он их уверенной рукой и не смешивал одно с другим. Вот таковы были его кулинарные знания, этого скромняги Рахмонеса, цены которому не было буквально. Не зря его уважал и почитал Таль, не зря считал незаменимым Креш. Так продолжалось несколько часов до того, как посетитель начинал убывать. В 12 часов ночи, согласитесь, хлебать суп из бычьих хвостов или тайский жгучий безобидный на вид бульончик под ледяную скандинавскую водку не всякий сможет. А были такие, которые усугубляли съеденное и выпитое куском мяса с кровью, которое решительно готовил уже другой человек Таля. Это был аргентинец Альфредо, специалист с вьющимися угольными усами, в фартуке, сапогах из грубой буйволиной кожи до колен и в красном колпаке чревоугодника. Увидев такого человека, можно было стать на месте вечным поклонником Аргентины, страны бесконечного мяса, откровенного танца танго, который был внуком кубинской хабанеры, сыном уругвайской милонги и родственником польской мазурки и нигерийского барабанного ритма. Но в ресторане этом, который назывался «хабанеро», было мало людей, любивших танго и тесно танцевавших его. Конечно же, с женщинами в облегających тело крепдешиновых платьях и в капроновых чулках на длинных резинках вдоль круглого бедра. Нога женщины в разрезе платья сводила с ума и возбудимого подростка, и восторженного юношу и даже опытного мужчину в шляпе на загорелый узкий лоб, в двубортном пиджаке с накладными плечами гангстера и двухцветных туфлях с белым верхом, хищно склонившегося над падающей партнершей, кстати, не менее хищной, чем он.

Рахмонес был типичным рахитом, с длинными руками, сутулой спиной и великоватым для его головы колпаком. Сил и энергии у него было много, хватало на работу и на жену, которая в нем души не чаяла, на сумасшедший рокенрол «вокруг часов» незабвенного Элвиса во время обеденного, как это ни смешно, перерыва. И даже на всеобъемлющие многогранные размышления возле парадного подъезда о жизни и о судьбе самостоятельного человека

в нередкие минуты вдохновения его хватало. Помимо других достоинств Рахмонес был известен и замечательной приправой, которую он готовил для мяса в дневные часы, чтобы успела настояться к вечеру.

Он крошил страшные перцы шата и хабанеро, которые называл тонкий и толстый по их внешнему виду, добавлял в ступку чеснок, кореандр, зеленый лук, подливал оливкового масла, соли, выдавливал лимон и толоч все тяжелой каменной дубинкой. Пропорции всех ингредиентов были известны только ему самому, предполагалось, что он все брал на глазок, наверное, так оно и было. Но вкус был незабываемый. Привередливый Таль накладывал это месиво великолепного цвета жизненной субстанции на тарелку столовой ложкой и, макая хлебушек, заедал прозрачный куриный бульон с рисом, вздыхая от счастья и совершенства окружающей жизни. Когда-то, совсем недавно, лет 5 назад, он лежал раненый в Ливане, с вырванными кусками тела, попав в засаду со своей группой, почти мертвый. Трех ребят этого рейда скосили в первую минуту, четвертый взорвался вместе с боезапасом. Таль шел за командиром, который словил первую очередь, у них не было ни одного шанса. Таль получил три пули, остался жив, но все время балансировал на грани жизни. Вторая группа прилетела спасать ребят через 10 минут. Врач погиб на месте, выскочив из вертолета. Друг Таля, с которым они выросли и вместе призвались, были как братья, носился по небольшой полянке, простреливаемой со всех сторон, и орал, не слыша своего голоса «Таль, Таль, брат, ты слышишь меня?»

Менее минуты стояла какая-то стылая нехорошая тишина, ничего услышать было невозможно. Вроде бы этот запыхавшийся старший сержант услышал не то вздох, не то стон. Он шагнул вправо, продвинулся вперед и увидел в высокой мокрой ночной траве Таля, лежавшего ничком. Он поднял его на руки, как ребенка, и, пригнув голову, побежал с ним к вертолету. Ему помогли внести друга, второй врач подал ему руку и он запрыгнул внутрь. Сладко и нестерпимо пахло кровью внутри.

Вертолет приподнялся и улетел. Лету до дома было минут 12-14, не больше. Друг Таля, вообще, был совсем не тяжелый, даже легкий. Крепкий, жилистый, опасный, но не тяжелый. Врач хотел дать ему таблетку, но он отказался. Врач посмотрел на него и ото-

шел. Вернулся с пластиковым стаканом коньячного напитка. «На, выпей, Асаф», – сказал он. «Да я не пью», – ответил Асаф, но стакан взял и выпил залпом, как большой, не почувствовав вкуса. Врач принес бутылку 777 и налил еще стакан, добавив крепкое красное галилейское яблоко. «Давай». Асаф взял без разговоров и глотнул, как лекарство. Волнение отпустило, он расслабился. На базе Асаф был уже категорически пьян и заснул в коридоре лазарета на стуле. Таля увезли в больницу в Нагарии, прооперировали, спасли ему руку и какой-то важный внутренний орган в животе. Он провалялся там почти месяц, потом восстанавливался, потом его отпустили с пенсией, льготами и шрамами от операций. Он остался в резерве, каждый год призывался на несколько дней или недель, было что делать, он многое умел, он был военным служащим наивысшей квалификации, даром, что старший сержант по званию. Параллельно он придумал ресторанный бизнес, который неожиданно пошел в гору.

Когда не было посетителей, Рахмонес любил присесть сбоку за подсобный столик со своей порцией супа и салатом. Он просил аккомпаниатора, который начинал работу часам к 7 вечера, а сейчас покуривал после обеда, на который приходил специально, хотя и не ежедневно, поиграть ему что-либо из любимого и близкого. «Что же сыграть?» – спрашивал аккомпаниатор. Он мог бы посостязаться с Рахмонесом по части хилости. «Ну, я не знаю, мне вас учить? Так много всего. «Есть город, который я вижу во сне» или «У нас на Брайтоне веселая мишпоха» или «Мурку» или, на худой конец, «Давай пожмем, друг другу руки, и в дальний путь отправимся с тобой», – скороговоркой говорил Рахмонес. Этот диалог повторялся из раза в раз, его можно было назвать онтологическим. Пианист Вениамин, человек большой ресторанной судьбы, неизвестно о чем думая, поправлял галстук, вытягивал сухие руки, хрустел своими какими-то выгнутыми пальцами и, положив голову на правое плечо, поводя туманного цвета глазами, начинал играть, склоняясь вперед, двигая корпусом, задумчиво нашептывая в микрофон на рояле: «Сиреневый туман над нами пролетает, над тамбуром горит полночная звезда». Рахмонес подпевал ему, коверкая мотив, вкушая тайский суп, вредный для почек и слизистой желудка, но полезный для жизненных процессов. Однажды Семен сказал ему серьезно, что «нужно целовать следы его башмаков

всем присутствующим». Никто не пылал такой страстью, Таля при этом не было, потому и сошло, потому Семен и посмел сказать это. Но в прочитанной им книге именно так и говорилось про людей типа Семена.

Сильная телом и слабая духом официантка Лиат стояла в проходе и, терзая салфетку сильными руками, пыталась петь грешными губами. Она не понимала этот язык, но сочувствовала ему сильно. Только Таля не хватало для полноты картины, он бы высказался по многим сторонам рабочего процесса своих сотрудников, но его не было здесь. Наверное, к счастью.

Но вечером все было иначе. Лиат быстро семенила с серебряным подносом в руках, на котором стояло по 6-7 тарелок супа. Она не думала о грехе, это отражалось на ее внешнем виде. Мужчины наблюдали за ней с большим и одобрительным интересом, она это чувствовала, поеживалась как от холода, не могла сосредоточиться, иногда улыбалась своим мыслям, явно не здешним. Тарелки дымились, присыпанные нарезанной зеленью, водка лилась наравне с местным красным вином, расцвет израильских виноделен за последние четверть века можно было сравнить только с расцветом военной мысли и компьютерного программирования за те же 25 лет, которые в историческом плане значат секунду-полторы, не больше. Вениамин играл по заказу, петь не пел, но мурлыкал в такт, сообразуясь с ритмами недавнего и давнего прошлого. Таль с печальным видом прогуливался в районе входной залы с портьерами, неподалеку от строгого мэтра, по виду итальянца, а на деле триполитанца, что не одно и то же. Триполи, сказочный город на берегу Средиземного моря. Триполи есть и в Ливане, недалеко, да не то. Мэтр был в белоснежных перчатках иллюзиониста и сюртуке, что являлось большой редкостью для тель-авивской вольницы. У него было сжатое лицо со впалыми выбритыми щеками. Он был очень смугл и строг. Он был так напряжен, что о него можно было бы зажигать спички. Никто этого делать не рисковал.

Не усмотрев непорядка, Таль заходил в кухню, кивал Крешу, напряженно смотрел на действия Альфредо – экономные и безупречно выверенные, надо сказать, выпивал стакан неповторимого бульона, преподнесенного ему почтительнейшим Рахмонесом. Бульон этот настаивался трижды, на разных сортах мяса. Отвер-

дать его заходили к Талю знаменитые городские гурманы. Чашка бульона и жизнь становится краше, можно пожать руку маэстро? – спрашивал самый строгий из них. Креш выходил к ним и столик гурманов издали аплодировал ему полными, не молодыми, но еще сильными ладонями. Таль жевал кусочек черного хлебца и уходил к себе, курить сигару марки Davidoff и думать о тяготах общественной жизни с закрытыми от обилия мыслей глазами, цвета небосвода над государством Ливан в его северной части весной.

Около 11 ночи Креш взглянул на китайские легкомысленные часы на стене, со двора раздалась крики, глухие звуки возни, стук хлопающей двери, короче, все то, чем сопровождается скандал. Все уже должно было идти на спад в ресторане, куда жрать-то на ночь, но никогда нельзя знать ничего заранее, бизнес этот очень хлопотный во всем мире. Предчувствие, обычно всегда срабатывавшее у Креша, не известило его ни о чем. Он отложил в сторону кастрюльку, в которой кипела подлива к итальянскому салату из свежих овощей, вытер руки о холщовое полотенечико и сказал Рахмонесу: «Сделай милость, посмотри, что там такое». Рахмонес вышел, споткнувшись о картонный ящик с только что привезенной фермером капустой кольраби, и пропал. Альфредо, подкручивая опаленный ус, с серьезным видом снимал огромные куски обжаренного мяса страшной метровой вилкой с огня и укладывал их на доску мореного дуба, отдохнуть. Он вообще не реагировал на проявления этой жизни, огонь и мясо были его жизнью. Соль и перец были ее украшениями.

Выходя на улицу, Креш вынес в горсти еду для кошки по имени Мона, которая держала всю кошачью округу в страхе и повинновении. Мона оглядела мясо, посмотрела на него и начала есть, как будто курица клевала: голова ее двигалась вверх вниз, только усы белели в скудном свете мощной лампочки над входом.

Пройдя к главному входу, обогнув угол дома, Креш увидел как Семен, в расстегнутой куртке и рубашке до пупа, сидя на лежащем навзничь на земле Ахмеде, механически совал ему кулак в ребра со словами: «Ах ты, вражина, ах ты, гад, я тебе покажу, что такое 7-й батальон липецкого ОМОНа и с чем его едят». Ахмед мычал разбитым ртом, Семен был неумолим. «Ты что, Семен, с ума сошел, я знаю этого человека, он ищет работу, у него сын болен, кончай балаган», – Креш широко шагнул, он надеялся все

переиграть. Вот не наивный человек, а смотри что делает. Потому что не разбирается и не понимает правды жизни. Семен поднял к нему разбухшее от напряжения, какое-то прыгающее простое лицо из нескольких неярких линий и сказал: «Ты кончай тут свои слюни пускать, парень. Допрыгаешься со своим гуманизмом вонючим, Таль придет, он тебе башку на раз оторвет, уйди». Он крепко держал Ахмеда, затаившегося под его тушей и кулаками. Креш оценил ситуацию, Семена этого можно было валить двумя ударами руки и ноги, но это, конечно, было невозможно. Можно было ткнуть его без замаха кулаком под ухо, но не драться же со своими. Креш Семена считал своим, как и тот Креша считал своим.

Креш понимал, что если появится Таль и увидит происходящее, то будет хуже. Надо было все это как-то закруглить. Таль отошел сейчас куда-то, это была большая удача. «Отпусти, что тебе надо от него?» Креш очень не хотел нервировать этого мужика еще больше. Хоть людей не было, Рахмонес, мэтр в глубине лобби, пьяненький Вениамин с попури из песен Синатры, и все. «Не скули, посмотри лучше, что там лежит у ступеньки», – сказал Семен почти спокойно. Креш увидел полуметровую шабарию на мокром асфальте. Нож был похож на акуленка песчаной акулы, изъятый из воды подле Газы. Зазубрины блистали и были похожи на зубы молодого хищника. Подле валялись ножны. «Я его еще вчера приметил, гордый такой, независимый, ну, ничего, я тебя научу, как родину любить», – бормотал Семен. Ахмед не мог говорить в руках Семена, непонятно было, что он мог сказать, вообще. Он мотал головой и, кажется, плакал. «Вот еще телефончик есть, видишь», – Семен кивнул на расколовшийся очень дорогой мобильник, американской фирмы, который валялся возле них без смысла и памяти. «С братом беседовал своим, говорит, прощался, указания получал, понимаешь», – объяснил Семен. Ахмед был воткнут грязным лицом в асфальт, руки завернуты за спину.

«Ты совершенно не прав, Семен, ты не разобрался. Зачем ты это сделал, почему?» – Креш задал Семену риторический вопрос. Семен был спокоен, но весьма уверен в себе. Погода и победа помогали ему. «Тоже мне бином Ньютона, – Семен был начитанный парень, он учился в школе милиции, – дурило ты, парень, дурило, поражаюсь тебе. У него все на лице написано. Финочка-то его тебе предназначалась, неужели неясно, он сам и сказал?!»

«Не верю тебе». «А что верить, не надо верить, человек так устроен, такова его природа, ты ему добро, а он тебе нож в печень, не слыхал, что ли? Мы – воины интернационалисты все про это знаем. Со времен той книги известно, читай книги лучше, чем не в свои добрые дела соваться. В Липецк езжай, в ОМОН устройся, Сеня Коврига протекцию сделает по старой дружбе, там все поймешь», – гудел Семен почти спокойно. Россия сопровождала его жизнь в качестве постоянной и неотделимой величины. При Тале Семен конечно бы поостерегся так говорить, он вообще бы промолчал. Но Талья не было сейчас, где-то он ходил, этот странный Таль.

Ничего сделать было нельзя. Ахмед пытался безнадежно мотать головой, что, мол, этот русский дурак не прав. Он свою партию уже отыграл. Никто на него не обращал внимания. Креш ушел обратно на кухню, со своей дурацкой правотой, обогащенный новыми знаниями о мире. Он был почти обречен, во всяком случае, у него был такой вид. Один ценный клиент просил марсельский рыбный суп, который требовал глаз да глаз, мог пригореть супец, надо было присмотреть, не отвлекаясь ни на что. Послышался звук полицейской сирены, все-таки полиция лучше, чем Таль. Стражи закона, а не меч его, предпочтительнее.

Таль решил прикупить одежды в дорогом магазине, который работал круглосуточно. Магазин был в новом плоском трехэтажном здании прямо за Национальным банком через дорогу. Таль показался вдруг себе оборванцем. Он примерял шляпу. Она ему очень шла, чуть сдвинутая на лоб, отбрасывая тень на светлые глаза и нежные как у девушки скулы. Даже продавщица, похожая на дикую камышовую кошку у северного берега Кинерета, загляделась. Шляпу, которая его взрослила, двубортный гангстерский пиджак и рубаху с высоким воротом приобрел Таль, небрежно выбросив на прилавок кассирши платинового цвета кредитку. «Поздравляю с покупкой, очень вам к лицу», – сказала девушка, сдувая прядь легчайших волос с муаровых глаз, произнося слова с лопающимся, сочным звуком, как при любовном поцелуе через стол в переполненном кафе. Таль всегда покупал рубашки с длинным рукавом, прятал изуродованную левую руку и вырванный кусок широчайшей мышцы спины. Цвет и рваные края этих ран, по его мнению, не красили внешний вид нежного стареющего

юноши. Это было ошибочное мнение. Таль много и часто ошибался, почти с удовольствием, мог себе это позволить пока. Девушка вздохнула, глядя на удаляющегося легким шагом Талья, который ходил как кот на прием пищи, быстро, мягко и легко. Таль был ее породы котом, она это чувствовала. Но не про нее парень, это тоже было очевидно. Он шел сам по себе, не завися ни от кого, только от собственного одиночества. Знаете, есть такие люди, самые неожиданные, тихие, обычные, а как выйдет откуда-нибудь неожиданно вам навстречу, и сразу видно – царь, походка такая, поворот туловища, что ли. Так вот, у Талья не была царская походка, у него была походка кошачья. Тоже не мало, но не царь все-таки. Таль повернул направо за столиками уличного кафе с зеленым мокрым тентом и перешел бульвар, обходя тормозившие на черном, как бы лакированном асфальте, машины ночных гуляк, как тореадор обходит быков чутко и безбоязненно. Чего ему тут бояться, после всего, а, скажите? С метрового каменного заборчика ему прыгнула с возмущенным криком под ноги кошка Мона. Таль нагнулся и погладил родное животное. «Не волнуйся, видишь, папа уже дома. Тихо дома-то?» – спросил Таль. Мона прижималась к его ногам, извиваясь от счастья. Она обожала Талья, кажется единственная на свете, которая любила его. «Знаю, что тихо, знаю», – сказал Таль выпрямляясь. «Интересно, что Креш скажет и Семен о покупках, одобряют ли, время закончилось, надо уж закрываться, как они там без меня», – мысль его была тревожна. Он любил, чтобы все было спокойно и размеренно. Отступления от правил и привычек сводили его с ума. Иногда ему было неуютно, он был очень одинок, до звона в ушах.

Когда все закончилось, Ахмеда увезли, Таль все не приходил, Семен поднялся в три движения с земли, отряхивая ладони, Лиат принесла ему полотенце и он утер лицо богатыря. Опять принялся дождь. Сутулясь, Семен, уже и не так чтобы молодой, потрепанный, побитый жизнью мужчина, двинулся к рабочему месту. Рахмонес уважительно принес ему стакан финской водки и ломоть хлеба с вымоченным в винном соусе стручком перца хабонеро. Так Семен любил, все это знали. «Ты своему другу отнеси такое же, поможет жить, может, поумнеет, – сказал Семен поучительно и довольно противно победоносно, невозможно было на него, бедного, смотреть. Он выпил залпом, встряхнув после этого пустой

стакан, – нам лишнего не надо. Скажи ему, что надо залпом, как лекарство».

Как горький призрак настиг Креша безумный русский язык. Таля все не было. Где он ходил, было неизвестно. Нужно было закрывать кассу, подбивать положительные итоги этого долгого дня.

На кухне Креш походил между кастрюлями с головокружительными запахами супов, которые не пьянили, но наносили удары по его неокрепшему организму. Он был возбужден и мрачен: «Еще может все будет хорошо, пацан его выздоровеет, руки его освободят от кандалов, кинжал он свой выбросит к бабаниамаме, мы еще с ним посидим за арачком и кофейком, брат его снисходительно недобро усмехнется в смоляную лопатообразную бороду, но откажется от застолья, есть у него дела важнее. Какие такие дела, брат Ахмеда, есть у тебя? А?!»

Ночью с трудом добравшись до дома по пустым тротуарам, вымотанный донельзя, Креш связался со своим другом в конторе. Дождь рубил наотмашь, аж белые от неона брызги отпрыгивали, разбиваясь, от тротуара. Асаф сказал ему сразу, чтобы он оставил это дело в покое. «Без тебя, Креш, разберутся, забудь и все. Ты что?! Темно, необъяснимо, ужасно, ты мне веришь?» «Чего ж не верить, верю, но ты сам-то уверен?», – спросил Креш, ненавидя себя и все вокруг. «Я ни в чем не уверен, как ты знаешь. Все факты говорят против него, абсолютно все. Тут день-другой и закончат, а дальше уже без нас, и, слава богу», – сказал Асаф. В мокром окне слева поверху две зимние звезды высоко и не жарко горели над Иерусалимом и городком неподалеку в невыносимом местном климате. Здесь все неподалеку от Иерусалима, просто рукой подать. Несмотря на облачность и непогоду звезды эти были видны отчетливо и ясно. Почему? Неизвестно. Крешу было неизвестно. Он мало знал чего, вообще. Но то, что знал, знал прочно, наверняка. Он отвернулся от яркой, сияющей ночи в заплаканном окне.

Бесстыжая женщина Креша ждала его, раскинувшись на кровати, в полудреме, чего никогда прежде не было. Она не разрешала себе такого откровенного разврата никогда, считая, что скромность украшает женщину. Но она была дочерью израилевой, все-таки, не будем этого забывать, страсть и блуждающие соки тела одолевали ее. У женщины были совершенно шальные глаза, которые обещали жертвенный секс владетелю ее. Креш не от-

влекал свой темный взгляд на призраки раздавленного араба и усталого, довольного Семена. И на другие посторонние детали, как-то, гудящий и не выключенный телевизор, мигание фонаря в мокрой ночи, редкий посвист шин на бульваре. Он был почти деловит и собран. Он шагнул, раз, два, к прочной кровати и уверенно и нервно взял женщину, перевернув ее на живот, весомо положив руки на ягодицы и на талию, не обращая внимания на стоны и глубокие вздохи, достав до сути, которая оказалась слаще меда и натурального сахара, очень, как всем известно, полезного для здоровья.

Ахмеда в это время, поддерживая под руки, ввели два в штатской одежде сопровождающих в кабинет расслабленного следователя, который знал арабский в совершенстве. И диалект багдадский, и диалект александрийский, и даже диалект сектора Газы, разнящийся от всех других категорически. Но в данном случае нужен был диалект шхемский или вернее самарийский. Следователь был к этому готов. «Вишь, глаза какие фосфоресцирующие, волчьи, ну-ну, посмотрим», – подумал следователь. Он намеревался разрешить эту проблему конструктивно, подходя к ней творчески, как его учили. Что он и сделал, так как суть дела была ему очевидна, срок этому дураку грозил совсем небольшой, детский, можно сказать. Что и хорошо. Следователь, распуская ткань собственного лица, не любил иметь дела с чистыми злодеями, которые не вмещались в его сознание ни с какого бока. Молодые злодеи с красивыми лицами и телами делают страшные вещи. А тут Ахмед, простой из Шхема человек средних лет с плоским сильным телом. За неосуществленные намерения, как известно, дают меньше, чем за чистое злодейство. Этому типу явно повезло. Скоро, совсем скоро, год-два, три, максимум пять, Ахмед выйдет на ласковую свободу к своей родственной семье, тихой жене, заряженной до отказа страстями, окрепшему от недуга неподдающемуся контролю матери невозможному сыну, торжествующему непреклонному старшему брату, с лицом, казалось, составленным из стальных, сверкающих деталей и все повторяющему неподдающуюся ему суру, плешивому безвольному отцу, ко всем-всем братьям и сестрам по вере и концентрированной генетике зеленого цвета без конца и без осознанного края. Вообще, не надо объяснений, они раздражают.

Разреженный кондиционером ночной воздух конторы должен был родить грошовую повесть стандартного средиземноморского раскаяния.

Но взгляд серых, глубоких глаз Ахмеда был осмыслен, уверен, тверд. Шабарию можно было оттачивать о его взгляд.

БРИНС АРНАТ

Новый исторический роман
Марии Шенбрунн-Амор,
автора бестселлера «Железные франки»,
лауреата золотой премии Terra Incognita,
посвященный борьбе Иерусалимского королевства
с исламским миром
в продаже в бумажном и электронном виде

На сайте книги
ridero.ru/books/brins_arnat/
отзывы,
видеотрейлер,
сведения об авторе,
о героях, их исторических прототипах
и многое другое



Браха Губерман

ВИД СВЕРХУ

– Шеф, тут опять он. Говорит, в приемные часы каждый право имеет.

– Что ему надо?

– Родиться.

– Я же на неделе подписал разрешение, так спускай его, что ж он до сих пор у нас на седьмом небе ошивается? Каждый сам себе топ-менеджер? Работать некому.

– Там, шеф, история такая витиеватая. Та, которую он выбрал, не может это самое.

– Что значит не это самое? Ты лично ее давно выдал замуж, там все в порядке с этим самым, четверо детей есть, он идет пятым, мне докладывали. Тебя самого бы спустить туда, что-то ты работать у нас не очень хочешь.

– Только не это, шеф, помилуйте, я без сна и обеда, без выходных и праздников.

– У нас на седьмом – каждый день праздник!

– Помилуйте милостью всенебесной, только она никак не входит в нужное состояние. Не до того ей. Работа, дети, родители. Некогда.

– Эта не входит, другая войдет.

Шеф сосредоточил взгляд на огромной лиловой столешнице, монитор тут же вспыхнул неоновой голубизной. По нему закружились разноцветные записки на разных языках. Он тронул одну из них, увеличил, разглядел, потом другую, третью, сотую.

– Тут вот у меня отобраны все, как одна, молодые, здоровые, замужние. Идеально. Покажи ему, пусть выберет любую, а ты спускай его к ней.

– Он отказывается, только к той согласен, у нее, говорит, должен родиться, еще долдонит, что свобода выбора у него и право имеет.

Шеф вздохнул и отвернулся от стола.

– Лечил ее?

– Оперировалась. Я с лучшими врачами свел. Никак, шеф, говорят – невозможно.

– Легко им говорить. А у нас тут нет никакого невозможно, мы всюду должны, и никакой свободы выбора. Все, работать давай. Массаж, отвлекающий отпуск для раздумий о смысле и бренности, счастливые мгновения с иглоукалыванием, тренажерный зал, мне тут советовали гомеопатию, в общем, сам думай. Плотно займись, сроки жмут. Этому скажи, что рассматриваем его дело и отправь года на три в сад, пусть там наслаждается, пока не позовем.

* * *

– Шеф, тут опять он. Говорит, в приемные часы каждый право имеет. Его срок пришел.

– Спорт, массаж, отвлекающий шоппинг, счастливые мгновения с иглоукалыванием, гомеопатия?

– Все сделал, как велено, шеф. Плюс китайские травы с йогой и немного веры добавил. Чуток для вкуса, знаете.

– Слышал я, слышал, зывала, – шеф устало вздохнул. – Хочет новую квартиру, денег побольше, что-то еще о зарплате мужа плакала. Об этом, что всех уже достал, не зывала. Но у нас сроки, программа на пять лет. Так чего ждем, спускай его по плану вместе со свободой выбора и правами, пусть там о них расскажет. Нас тут повеселит. А я пока посмотрю, чем могу.

* * *

Его видел каждый, кто хотел увидеть, видел настолько, насколько был способен смотреть. У многих лучше получалось с закрытыми глазами. На входной двери даже висела специальная табличка, вроде тех, что указывают вход-выход в супермаркете. В общем, обычный смайлик с черной полоской вместо глаз, прозванный острословами жмурик.

Учеными доказано, что зажмуривание обостряет зрение, так что зажмуриваться было модно. Многие практиковали, большин-

ство видели ничего в луче яркого света. Так и родилось предание, что он свет. С тем же успехом можно было называть его тьмой, смехом или дождем. И называли. Каждый называл, как хотел, и его имя зависело от того, кто смотрит.

Ему было все равно. Называют, вот и хорошо. Огненным кустом, песком или казнью? Нормально. Любое имя подходило одинаково. Отлично отражало видения называющего. Этого было достаточно, чтобы он понял и дал ответ так, чтобы поняли его.

Он отвечал всегда. Но помехи. Их приходилось учитывать. Осадки, температуру воздуха и тела называющего, скорость ветра, давление атмосферного столба и артериальное. Множество непостоянных величин. Конечно, все под контролем. Но люфт есть. Небольшой в каждом конкретном случае, а в общем – существенный. Люфт давал колебания. Каждый колебался как хотел и сколько хотел. Эти колебания обеспечивали вращение системы вокруг собственной оси. Так было задумано. Устрой он все немного иначе, оно (это все) никогда не вернулось бы на круги своя.

Это глупое выражение растиражировали газетчики в угоду плембу. Уж очень бойкое. Оно отлично продавалось. На самом деле круги были его и только его.

Да вот они. Он посмотрел на мерцающий голубовато-зеленым светом огромный экран. Огненная колесница послушно катилась по нему с заданной скоростью. Экран дышал жаром. Он немного подправил фитиль, присыпал кое-где белым песком. Вот так хорошо. Синее, зеленое, белое, из-под него расплавленно-мягкое, ласковое огненно-красное. Не жжет, теплится.

– Это хорошо, – подумал он.

Послушал тишину. Безмолвие.

– Что-то совсем попричихли.

Он снова прислушался и с силой дунул в белый песок, выпуская красное наружу. Смотрел, как красное поглощает белое, и ждал.

* * *

Женщина средних лет вошла в аптеку, постояла секунду в замешательстве и нерешительно шагнула к прилавку, молодой выскокий провизор сосредоточенно водил пальцем по экрану айфона.

– Гхм, – смущенно кашлянула посетительница и проговорила:
– Мне, пожалуйста, тест на беременность.

– Секундочку, шеф, – провизор отложил айфон, строго посмотрел на посетительницу. – Тест на беременность?

Он снова взял айфон и, пританцовывая, направился к многоступенчатым аптечным полочкам.

– Я с вами. Да, нам тест на беременность, шеф.

Новая книга **Михаила Юдсона**
ЛЕСТНИЦА НА ШКАФ

(Сказка для эмигрантов в трех частях)

Москва, издательство "Зебра Е", 2013. - 560 с.

"Давно я не получал такого удовольствия от прозы. Тени Джонатана Свифта и Джорджа Оруэлла витают над этим текстом, одновременно смешным и страшным. Большое счастье - появление нового талантливое голоса. Спасибо, Миша, дай вам Бог удачи и в дальнейшем".

Игорь Губерман

Книгу можно заказать по телефону: 050-908-03-48

Цена 120 шекелей с пересылкой.

Ирина Маулер

СУПЕРВУМЕН

Да, времена сегодня особенные. Все только и говорят о силе мысли. Будто бы, как подумаешь себе – так тому и быть. Книги разные на полках книжных магазинов лежат, счастье и успех обещают.

Звонит вот мне вчера подруга. Пойдем, говорит, лекцию слушать – о том, как успешными и счастливыми стать. Приглашают в один культурный дом. Пойдем, говорю, чего ж не пойти – времени у меня всегда в обрез, а вот мысли умные услышать всегда охота.

Подхожу к дому этому интеллигентному – дом новый, красивый, только что отстроенный – впечатляет! Ну, думаю, если хозяйева тут не только продвинутые, но и состоятельные, видно, лекция эта стоящая. Хоть бы места мне хватило, а то я ведь, как всегда, с опозданием прибыла. Поднимаюсь на лифте зеркальном, звоню. Открывает мне дверь взрослая девушка, лет под пятьдесят, крупнейшей комплекции. Заходите, приглашает, и улыбается так приветливо золотым зубом. Говорит со мной на русском – своя, значит, не придется после работы моей иноязычной головку свою дополнительно напрягать – и на том спасибо!

Прохожу я по коридору, в салон заглядываю, а там как раз подруга мне радостно машет. Рядом с ней еще одна мадам сидит, косу плетет от нечего делать. Я головой кручу: где же общество продвинутых желающих?! Нету никого, только мы да лекторша напротив. Она хоть еще ничего не сказала, но сразу видно – нам не чета. Бумажками пошелестела, туфли скинула, воздуха в грудь набрала и как принялась тараторить на иностранном! Мы аж от неожиданности чуть не задохнулись, но делать нечего – не встанешь же посередине лекции, тем более, что она бесплатная, спинку свою красивую неинтеллигентно не покажешь...

Сидим, слушаем, глаза умные делаем. Но я еще ничего, подружка моя тоже кое-как через пень-колоду, а вот третья мамаша важно головой машет, в глаза преданно смотрит, но чувствует мое сердце – ничего не понимает! Объяснила нам лекторша, что делать, ручки шариковые раздала: пишите свои проблемы, говорит.

Я, как приличная, сижу, напрягаюсь, зато подружка моя сопротивляется – нет, говорит, у меня проблем, все у меня замечательно. А мамаша и вовсе спрашивает: что же это за проблемы такие могут быть у человека? У меня, говорит, одна проблема – дочка моя со мной разговаривать не желает, в дом к себе не зовет, а по телефону не дозвониться – зять трубку берет и меня к дочке не подпускает. Нет, вы не думайте, мамаша говорит, дочка моя выросла в интеллигентной семье – просто с зятем не повезло, я его уже и отравить думала, да все никак до него не доберусь. Это он дочку и настраивает на меня, безобидную!

При этом мамаша так глазом сверкает, что я на всякий случай от нее подальше отодвинулась. Ну выбрал, наконец, себе каждый проблему. Я для себя скромность определила – не могу через эту самую скромность назвать себя самой обаятельной и привлекательной. Подружка моя посопротивлялась еще немного и сдалась: говорит, я самодостаточная слишком, через эту мою в себе уверенность все мужики мне не интересны, с ними скука одна и пустые хлопоты. Но все равно как-то скучно жить мне без интереса мужского... А вот мамаша все никак ничего писать не желает. Не моя, утверждает, проблема, что зять дочку на некрасивые поступки подбивает и бабушке видаться с внучкой не дает.

Мы ей уж так мягко намекаем: ты подумай глубже, может, себя обвини в чем, а то лекторша нервничает, в дискуссии вступает, а на часах время упорно в сторону ночи движется. А она ни в какую – упертая такая попалась, никак духовно продвигаться не хочет. Ладно, говорит лекторша, идем дальше. А кем бы вы были без этой своей проблемы, спрашивает, и в глаза каждой норовит заглянуть. Я говорю, ну ясное дело, была бы самой-самой уверенной в себе и через эту уверенность давно уже стала бы супервумен!

Молодец, говорит лекторша, и на подругу мою с надеждой глядит: “А ты бы как жизнь свою осуществляла?” Подружка моя на нее светлым взглядом смотрит: “Без продвинутой своей я бы, конечно, кого-нибудь уже давно подцепила и жила себе припе-

ваючи. Но, думаю, долго бы не выдержала – чего эту обузу на себе тащить? Мужик нынче слабый пошел, несостоятельный – корми его, выгуливай, еще и убирать за ним надо”. Нет, говорит, не хочу такой жизни! Уж лучше самой у телевизора скучать.

Смотрю я на мамашу, а она и вовсе плачет: не я виновата во всем, говорит. Дочка моя и муж ее меня довели – вот, сижу, рыдаю. Успокаивайте меня. Я ж сюда чего – зря пришла и время свое драгоценное тут с вами трачу? Не виновата я ни в чем, а вот что делать с дочкой, не знаю. Сидим, молчим, ждем, пока отплачется. Лекторша наша как-то немного взгрустнула, но ничего, видно, упорная. Ты, говорит, мамаша, отчет себе дай: какая твоя вина в этом деле. А мамаша на своем стоит, и лекторша на своем.

Ну, думаю, влипла! Никто, кроме меня, свою вину, проблему то есть, не признает и признавать не хочет – придется до утра сидеть. Но видно лекторша тоже смекнула, что время позднее, а ей еще домой как-то доехать хочется. У нее-то все в порядке, она свою проблему давно решила: я, говорит, своей замечательной невестке теперь всю правду-матку в лицо режу. Раньше чипсы внуку куплю и сказать боюсь, а теперь после курса этого, на который я вас пришла агитировать, сразу и говорю. Моя невестка меня за это только обнимает и ценит больше, чем мать родную.

А вот вы, спрашивает, когда собираетесь этот курс успешный пройти? Всего-то и стоит он две тыщи за целых два с половиной полных дня. Вот после него-то у вас проблем и не останется! С меня начала, к себе на стул вызвала и так подробно в глаза смотрит, так доверительно, так нежно. Ну что, говорит, вижу я, ты свою проблему осознаешь. Молодец, далеко пойдешь, только курс ты должна прямо завтра брать – чего ждать, спешить надо. Посмотри какая ты красавица! Жалко время терять на сомнения, вот и бланк, подпиши.

Ну, тут я заартачилась. Конечно, очень хочется себя, наконец, красавицей ощутить, но денег как-то жалко. Тем более, на днях уже отдала кругленькую сумму за надежду, поэтому, думаю, с красотой и повременить можно. Надежда – она главнее.

Поперекидывались мы взаимоуважением с лекторшей минут пятнадцать, поняла она силу моей мысли и за подружку мою взялась. А та прямо ей так в глаза и говорит: не буду платить, я в интернете и так всего начиталась, сама умная. Лекторша к мамаше

бросилась. Ну что вы, говорит, такая упрямая? Для вас же курс послезавтра на русском языке открывают, эксклюзив! Когда еще таких как вы наберем? Платите теперь, и будет вам хорошо.

А мамаша опять за свое: нет, говорит, проблем у меня, дочка во всем виновата, и снова в слезы. Нет, думаю, бежать отсюда пора. Мамаша никогда от своего не отступится, да и лекторша тоже схватилась за нее, как утопающий за круг спасательный. Мне ее даже жалко стало: ну что она своему начальству завтра доложит – три часа казенного времени, булочки получерствые на угощение, и все коту под хвост!

Ушла я в двенадцатом часу, на занятость сослалась. На следующий день звоню подружке, спрашиваю: ну, чем дело закончилось, кто кого в несостоятельности убедил? Оказалось, мамаша выиграла – до часу ночи лекторшу держала, но не сдалась. Вот такие мы крепкие женщины – беспроблемные. А проблема-то, оказывается, у лекторши была: ну не умеет она убеждать, и все тут.

Вышла книга Сони Тучинской
"Вечный пропуск".

Чтобы ее приобрести, нужно просто
пойти на Amazon.com

и ввести там в поисковое окно: Sonia Tuchinsky.

Или - прямо к книге по этому линку:

<http://www.amazon.com/dp/1495373673/>

В книге 340 страниц разнообразнейших по стилю,
жанру и географии текстов на кириллице.

От прозы и публицистики до переводов.

Цена без стоимости пересылки \$ 13,49.

Светлана Бломберг

ВЧЕРАШНЕЕ ЗАВТРА

Г.М

В самом начале декабря над таллинскими башнями висит сырая пелена. Сырость забирается под одежду, ноги загребают слякотное месиво, расцвеченное радужными бензиновыми подтеками и черными мазутными кляксами. Фонари обомлели в расплывчатых нимбах, резко орут опустившиеся до мусорных контейнеров чайки. Время от времени грязные комья вываливаются из водосточных труб прямо под ноги прохожих. В такое время хорошо с друзьями сидеть в кафе, поглядывая в окошко на тех, кому есть куда спешить. Безвременье – еще не вечер, но уже и не день. Человечество за окнами кажется бесформенной массой, как комья снега, летящие в окно. И в этой массе только при большом желании можно разглядеть отдельного, без фантазии одетого господина средних лет, семяющего меж луж на работу, в антикварный магазин, который ему предстоит сторожить с семи часов вечера до семи утра. Примечателен он только тем, что ему совсем не безразличны лужи: на нем новые, очень дорогие ботинки. Перепрыгивая через проталины, он пересекает улицу и заходит в кафе «Пярл». Здесь он привык покупать булочки. Некоторое время он разглядывает витрину, размышляя, с какой булочкой лучше всего совмещается чтение газеты, и решает, что в этом случае наиболее уместен будет пирожок с сосиской. Он открывает дипломат из добротной, но знавшей лучшие времена кожи, в котором лежат несколько газет и книга альпиниста Мейснера, достает бумажник, тоже дорогой, но весьма не новый, где блаженствует одна стокроновая купюра.

До работы подать рукой, вот она, давно знакомая подворотня.

Как всегда встречает его переполненными мусорными контейнерами, не оскудевающими ни днем, ни ночью благодаря ресторану «Норд», который расположен прямо через улицу. Несколько драных котов нехотя окончили трапезу, лениво спрыгнули с кучи мусора и, брезгливо переступая, направились в разные стороны. А теперь следует заглянуть в соседний подъезд, мало ли что... А там ведь кто-то есть! Обшарпанный подъезд обычно пах только кошками, а сейчас по нему разносился запах дешевеньких духов. Кто-то бесформенным неподвижным клубком свернулся в углу. Сторож вынул из кармана фонарик. При его свете он разглядел обтянутые джинсами колени, на которых лежала патлатая голова, прикрытая курткой. Сторож похлопал девчонку по плечу. Реакции никакой. Тогда он приподнял ее голову за подбородок и осветил фонарем в лицо. Девчонка замычала, прикрыла глаза рукой, но не очнулась. Он узнал ее: это была повзрослевшая дочка его бывшего сослуживца, инспектора уголовного розыска. Лет шесть назад инспектор постоянно кормил ее в министерской столовой, потому что после школы она ходила на разные частные уроки. Сторож подхватил ее под мышки и посадил на ступеньки магазина, пока сам размыкал многочисленные засовы. Целый час, с шести, когда прекращалась торговля, до семи в магазине не было ни души. Скверно, конечно, но это не его головная боль, а хозяина. Он затасил девушку внутрь и бросил, словно мешок, в мягкое кресло «ампир», в которое сам никогда не садился, поскольку подозревал, что в нем водятся клопы. Девчонка была вроде ватной куклы, которая сидит на подоконнике рядом с китайским зонтом и чернильным прибором, искусно подделанным под Фаберже. Тем проще снять с этого манекена ботинки и куртку. Девушка была симпатичная, ладненькая, с длинными светлыми волосами. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что ее голубая куртка засалена на рукавах и возле карманов, не все пуговицы на месте. Голубая шерстяная шапочка покрыта россыпью ржавых пятен. Ботинки имели такой вид, как будто в них совершили кругосветное путешествие. При ней был еще небольшой джинсовый рюкзачок, разрисованный шариковой ручкой. Сторож оставил ее сидеть в кресле на фоне зеркала в дубовой раме, за которым судорожно глотали остатки света хрустальные вазы и бокалы.

Сторож направился в темную кладовую, состоявшую из двух захламленных каморок. В дальней на стеллажах в разнокалиберных коробках из-под печенья и конфет валялась всякая мелкая всячина: значки, монеты, часы, колечки. В углу – железный сноп клинков – от совсем ржавых до слегка почищенных, а также свернутый ковер, в квитанции поименованный персидским прошлого века, а на самом деле – плебей-самозванец. В другой комнатухе помещался письменный стол, но не антикварный, а просто старый. На столе пылились газеты полугодовой давности, каталоги, открытки, поздравлявшие хозяев с Пасхой, визитки и обрывки бумаги, испещренные цифрами, два-три эротических журнала. Сторож включил облезлую настольную лампу. Ее безжалостный свет выхватил из темноты заросшую коростой кофеварку, черствую булочку и немывые чашки. Осуждающе покачав головой, сторож собрал грязную посуду и ступил в полутьму торгового зала, держа направление к туалету. В это время девушка сонно заворочалась. Сторож был уже не рад, что поддался жалости и притащил ее сюда: проснется и что-нибудь обязательно расколошматит. Рядом с ней как раз на круглом столе стоит обеденный сервиз и немецкие фарфоровые безделушки. Вот и следи теперь за ней, вместо того, чтобы заварить спокойно кофе, развернуть неспеша газету... А теперь придется подстелить газету под кофейную чашку, чтобы не испортить прилавок, и глотать кофе в темноте. Может, она все-таки придет в себя? Сторож прислушался...

Едва Юля открыла глаза, как почувствовала ломоту в затылке.

Перед ней темнели силуэты мебели и граммофонной трубы на фоне зарешеченного окна. Болела шея. Волшебнo мерцали вазы и бокалы в непривычном количестве. Огромная супница основательно заняла собой пространство круглого стола, а темные пятна тарелок окружали ее. Под ногами торчали трубы целого полчища самоваров. Из золотых окладов осуждающе поглядывали темноликие существа.

Юля попыталась встать и обнаружила отсутствие ботинок на ногах. Но пол показался ей будто живым – теплым. Если это рай, то зачем здесь граммофон и самовары? А ложками и вилками что здесь делают? Прямо перед ней – застекленный прилавок, в котором, словно снег на рождественских открытках, посверкивали

какие-то вещички. Все дальнейшее терялось во мраке, из которого возникла расплывчатая фигура с вопросом: «Как дела?»

– А это что, музей?

– Нет, морг, совмещенный с кладбищем.

– Милое местечко!

– Особенно в час ночи.

– Ой!– Она начала лихорадочно рыться в рюкзаке и по карманам, но там завалилось лишь несколько монеток. – Вы мне денег на такси не одолжите?

В ответ сторож пожал плечами:

– У меня нет.

Девушка посмотрела на него подозрительно:

– Заташили в какую-то конуру, знаем мы вас! Нахал! К телефону хотя бы подпустите?.. Мама! Я с Борей сижу в «Норде». Ничего, когда-нибудь выплыву.

– Ага,– сказал сторож гнусавым голосом закадрового переводчика видеофильмов,– теперь у меня есть алиби!

И уселся на краешек стола.

– Да отвяжитесь вы! Выпустите меня!

– Куда ты среди ночи пойдешь без ботинок? Скажи мне лучше спасибо, в этом подъезде один мужик имеет обыкновение своего бультерьера выгуливать ночью... Вот смеху было бы! Меня Георгием зовут. А ты ведь Юля?

В кофеварке булькала вода. Георгий поставил перед Юлей чашечку из кузнецовского сервиза и положил витую серебряную ложечку. Кофе был как раз стати, потому что у нее сохло во рту, где сам по себе болтался жестяной язык. Юля разглядывала углубившегося в газету Георгия. Невысокий, сухожильный. Если полезет, есть шанс с ним справиться. А одет! Как все в его годы: лишь бы было тепло и удобно.

– Знакомые буквы нашли?– спросила она хамовато. – Что пишут?

– Статья называется «Горе луковое», про то, что эстонско-российскую границу закрыли, и теперь лук из Причудья некуда девать...Или вот: «Департамент Гражданства и Миграции...»

– Нет-нет, вот этого не надо! У меня с государством жизнь параллельная. Оно меня не замечает, я – его.

– Бедные, как им тебя не хватает! Анархистка?

– А, по-вашему, анархист – это пьяный матросик?

– Мне, мужду прочим, два года до пенсии оставалось, а меня из милиции уволили. Как тут не заметишь? Но ведь что-то можно бы сделать...

– Конечно, можно! Летом ягоды собирать и варенье из них варить, а зимой чай с этим вареньем пить.

– Простите, сударыня, нет у меня варенья!

– Вот видите!

«Ну и зануда!– подумала Юля.– Еще полночи с ним коротать!» А Георгий вновь укорил себя, зачем он с ней связался. Она нарушала своим присутствием привычное течение его жизни. Уже выходя из дома, он предвкушал запах дорогого хозяйского кофе, позвякивание серебряной ложечки о любимую чашку, чтение газеты. В газете иногда писали такое, что выводило его из равновесия. Но он надеялся на крепкие ставни, абловский замок и быстроту своей реакции. Врасплох его нельзя будет застать. Тем более, как он предполагал, на его стороне святые лики, глядящие из икон на стенах. Окружавшие его вещицы казались ему сиротками, их настоящие хозяева лежали в разных землях по всему свету. Многие вещи, исчезнув из магазина, не уходили из его памяти. Более того, он иногда цеплялся душой за какую-нибудь этажерку, зеркало, вазу...

Каминные часы бросили во тьму три звоночка.

Юля вышла из каморки, пытаясь без ущерба для окружающей обстановки обогнуть стаю медных самоваров. У нее была опасная привычка познавать мир наощупь. Она положила руку на каминные часы, как хозяйка на спину собаке. Время стало домашним и вылизало ей руку. В дверном проеме темнел силуэт Георгия. Юля не слишком ловко вписалась в поворот, задела кусок бумаги, брошенной на подрамник, он слетел. Картина изображала монастырскую ограду с воротами. Несколько монашек заглядывали в щели забора, где немыслимой красоты морской залив был обагрён невероятно колоритным закатом, а в таинственной морской дали синел остров. Последние солнечные лучи освещали башню монастыря, дикий виноград и пирамидальные тополя окружали ограду. Картину портила неумелая реставрация. Какой-то маляр пытался замаскировать дырку в холсте как раз в районе гаснущего сиренево-голубого неба.

– Художник Адамович, «У монастырской ограды», – сказал Георгий. Юля задумчиво смотрела на картину:

– Там жизнь настоящая, что-то замечательное, наверное, происходит. А мы – под замком, за забором... на мир сквозь щелку смотрим. Нету денег – нету свободы.

Георгий слишком глубоко затянулся сигаретой. Он не имел с этими ребятами ничего общего, поэтому не ожидал, что аляповатая картина Адамовича может вызвать такие размышления. Он тоже присел на корточки рядом с картиной. В этот миг Юля потеряла равновесие и упала прямо на него. Она близко увидела его жилистую шею и перебитый нос, сильная рука пришла ей на помощь и спасла от ушиба о чугунную черепаху. Георгию ее лицо без косметики напомнило лица его школьных подружек, которых он провожал после танцев в родном приволжском городе.

– Но-но! – сказал он, – Не приставай к старому человеку!

Ответом на этот возглас был металлический бряк выпавшего из стеллажа кривого клинка.

Юля дотянулась до него и поднесла к глазам чешуйчатый клинок с деревянной рукояткой, похожий на извивающуюся змею.

– А почему он волнистый такой?

– Это малайский кинжал – крис, у каждого мужчины он должен быть с тем количеством волн, которого он достоин, иначе владельцу неправильного криса несдобровать. Если потеряешь или отдашь свой крис – все, ты не человек. Но уже никто не помнит настоящих правил игры.

Они помолчали, Юля поднялась на ноги. Георгий снова подал ей руку.

– А вам не жаль, что это все не ваше?

– Да я бы не смог... продать даже это... – он повертел в руках полупрозрачную китайскую чашку.

– Что же в этой чашке такого, что ее продать нельзя?

– Друзей не продаю.

Юля захохотала и презрительно скривилась:

– Ну, знаете! Закрылись замками и ставнями, легко с горшками этими дружить, люди-то внимания иногда требуют. А вам напрягаться неохота.

Два-три окна, выходящих во двор, осветились жидким утренним светом, несколько раз хлопнула дверь подъезда, по двору

прошел человек с собакой. Георгий принес Юле ботинки и куртку. Пока он вставлял ключ в замок, Юля стояла у него за спиной. Ей показалось, что на прощание следует сказать что-нибудь уместное, все-таки он не бросил ее замерзать в подъезде. Но на ум ничего не приходило, и она просто положила руку на его запястье... Тело сторожа дернулось, и Юля упала на колени со страшной болью в локтях.

– Ох, прости дурака! Я же сторожевой пес, у меня рефлексы!

– Чего уж там... – Юля кое-как встала и поплелась через двор, заваленный картонной тарой.

Ровно в восемь появился заспанный дневной охранник Велло. Он делил свою жизнь между службой в полиции, работой в антикварном магазине, женой, двумя детьми и несовершеннолетней любовницей. «Знаешь, – говорил Велло, – как трудно из семнадцатилетней девушки сделать женщину!» – И так тяжело вздыхал, что Георгию становилось не по себе – в один прекрасный день Велло сломается, и ему придется взять на себя еще и дневную охрану.

В фиолетовом предрассветном пространстве дворники махали метлами как зомби. Бодро в еще сонном городе держались одни только трамваи. Туда же, куда и Юля, со всего города тянулись юноши и девушки с зелеными волосами, в драных пальто и затащенных кожанках с папками и тубусами под мышкой. Они шли на занятия в Художественный институт, а Юля – туда же, только на работу. В вестибюле уже стояли две ее коллеги-натурщицы, бывшие балерины шестидесяти лет. С них, понятное дело, только портреты рисуют. Мимо протаскился молодой натурщик, его Юля редко принимала за одного и того же человека – он бывал то бородатый, то бритый, то лысый, то косматый, и лишь одно в нем неизменно – состояние похмелья по утрам. Сегодня они с Юлей переглянулись и поняли друг друга без слов. Юля пошла к своему шкафчику, взяла матрац и покрывало и поплелась в класс. Там, конечно же, никого еще не было, хоть и прозвенел звонок. Только Юля задремала на стуле, накрывшись покрывалом, как в класс въехал велосипедист, оставив за собой слякотную лужу. Затем в дверь просунулась собачья морда – с розового языка капала пена, с шерсти – комья мокрого снега. Студенты встали за мольберты. Юля взобралась на подиум. Преподаватель усадил ее в позу, в

руку вложил яблоко с красным боком. В этот момент пришла чокнутая Лина – такие есть в любом творческом вузе. Она встала к мольберту и уставилась на пустой лист бумаги. Рисовать она не стала, так и протопталась перед мольбертом целый урок.

Юля давно перестала строить глазки студентам. В женщине должна быть загадка, а какие тут остаются загадки, студентам давно известны все твои параметры. Она для них – ваза или чашка, как та, из которой она пила чай в антикварной лавке. Ни возбуждения, ни даже интереса в глазах, краснеют только поступающие.

Юля попыталась незаметно укусить яблоко. Собака подозрительно обошла подиум и обнюхала ей пятки. Потом завилыла хвостом.

Следующий урок у финских студенток, их Юля ненавидела больше всего, потому что они рисовать не умеют. Сначала Юля даже верила, что выглядит так, как они ее изображают, и сильно огорчалась, но потом преподаватель ее успокоил. На этом уроке ей пришлось просидеть три часа, безумно хотелось заорать, выпрыгнуть в окно, но счетчик где-то внутри считал: один доллар, два... И она никуда не побежала.

Прозвенел звонок на следующий урок, но нужная аудитория заперта. Преподаватель побежал разыскивать ключ к уборщице. Оказалось, что два парня спят там в обнимку на куче изрисованной бумаги. Стараясь не шуметь, преподаватель прикрыл дверь и пошел искать другую аудиторию... Этот художник равнодушен к вульгарным женщинам, а Юля – обыкновенная, потому он к ней никогда не пристаёт с приглашениями «посмотреть картины» у него дома, как другие.

К концу дня вывихнутые локти напомнили о ночном приключении.

Дома отец смотрел футбол. По экрану «Радуги», купленной в рассрочку еще при советской власти, ползли диагональные полосы. Бывший инспектор уголовного розыска подумал: только б телевизор совсем не сдох, очень чемпионат досмотреть хочется.

С трудом сгибая локти, Юля постелила постель и легла под одеяло. Едва она закрыла глаза, перед ней поплыл вчерашний день и нынешняя ночь, мешая заснуть.

Вчерашний вечер начался телефонным звонком. Это был Боря. Боря и Юля ходили вместе в детский сад. После школы Боря поступил на юридический и работал в нотариальной конторе отца. Юля с Борей считали себя друзьями детства, хотя у каждого был свой круг общения: у Бори – бизнесмены, у Юли – богема. Боре не нравилось окружение Юли, но он всегда ей помогал и одалживал денег, приходил к Юле – как будто чистой воды попить после коньяка.

Они сели в Борину машину и поехали в «Норд». Когда они уселись за столик, подлетел официант, принес меню и встал, держа руки за спиной и расставив ноги, словно каратель. Юля не имела понятия, что здесь подают, и Боря сделал заказ на свой вкус. Юля ела и постоянно чувствовала на себе пристальный взгляд Бори, как будто он переживал, что она станет есть рыбу ложкой. Потом она уже не наслаждалась едой, а следила за собой, как она держит вилку. Она разозлилась сама на себя. Чем больше она пила, тем злее становилась.

- Принеси мне куртку, я замерзла.
- Здесь не принято сидеть в верхней одежде.
- Что значит, – не принято? Значит – мерзни?
- Ты устала, успокойся.

Но Юля уже вышла из себя:

– Я помню, как ты дома ботинок своих не нашел и пришел в детсад в одних тапочках по снегу, потому что ты чувствовал обязанность ходить в садик. Ты тупой фанатик!

С этими словами она убежала в гардероб, где, не обращая внимания на охранника, схватила куртку и выскочила на улицу. Потом в памяти наступал провал. А потом был перелив хрустали и перезвон часов, блики на меднобоких самоварах... Привиделась белая собачка на коробочке для грамофонных иголок, навострившая ухо на патефонную трубу... Если заведешь себе собаку не той породы, что тебе причитается, твоя же собака тебя и загрызет... С этой мыслью Юля и заснула.

Волны снежной пыли накрывали Вышгород. Во двор-колодец на улице Рюютли сверху падали твердые, как рыба чешуя, снежинки. На булыжной мостовой лежал химический свет из ресторана «Норд». Юля подошла к витрине, выходившей на улицу, постучала в стекло и зашла во двор. Звякнули ключи, дверь черного хода открылась. Сторож впустил ее в темную лавку.

– Дай руку, – сказал он, – пойдем чай пить, у меня сегодня даже варенье есть.

Он, конечно, не ожидал, что Юля снова придет. И сама Юля ничего не понимала.

На столе уже стояла знакомая чашка из кузнецовского фарфора с витой ложечкой и благородный, но побитый заварной чайник. Георгий достал вторую чашку, пододвинул сахар... Но для чего-то она все-таки пришла?

– Помнишь запах торфяного дыма по всему городу? – спросил он, стараясь разрядить неловкое молчанье. – Хотя... как тебе помнить? Тогда на тротуарах везде перед подвальными окнами горки брикета лежали. А с Вышгорода было видно, как столбики дыма отовсюду поднимаются.

– А с 22-го этажа гостиницы «Виру» тоже красивый вид. Сидишь, пьешь в баре пиво, чувствуешь себя Мировой Душой, способной на все. Только потом спускаешься в лифте с пьяными финнами. – Юля засмеялась, начала собирать чашки, смахнула крошки бумажной салфеткой. Георгий знал, что здесь время, вещи и люди вели себя по особым законам. Он представил себе, что пьет чай со своей неродившейся дочерью, которой сейчас могло быть столько лет, сколько Юле. Его жена давным-давно умерла при родах. Юле же подумалось: не Бог ли он, который оживляет мертвые предметы? Бог может выглядеть как любой прохожий на улице. Может, он и есть такой одинокий, нелепый человек, который затерян в этой лавке.. Миг капитуляции перед иллюзиями, оказывается, похож на счастье...

На столе валялся бархатный альбом, на обложке – довоенный Париж. Юля открыла его и на первой странице увидела фотографию толстогубого юноши, который лежал в пене теплого моря. Рядом висела надпись изящным почерком, вся в круглых и длинных линиях, теперь так не пишут по-русски:

Лежу на грубом берегу,
Соленым воздухом согретый,
И жизнь любовно берегу,
Дар многих радости и света...

– Вот человек, вот море, – сказала Юля. – Не унижительно зависеть от погоды, не унижительно быть ниже дерева или облака...

Сторож с грустной улыбкой перевернул картонную страницу, где лежал полуистлевший древесный листок, и прочитал:

Отойди от меня, человек, отойди – я зеваю.

Этой жалкой ценой я за страшную мудрость плачу.

Видишь руку мою, что лежит на столе, как живая,

Разжимаю кулак и уже ничего не хочу.

А каминные часы между тем бережно отсчитывали время, незаметно сглаживая расстояние между вчера и завтра.

Через несколько дней она сидела за чашкой кофе в «Девичьей башне» на Вышгороде. Снова подул влажный ветер, голые ветки внизу под окном стучали друг о друга. Ей совсем не хотелось сидеть тут, а хотелось спуститься по улице Пикк Ялг в антикварную лавку. Неужели ее приручили, как дворнягу? Ну да, если этот человек умеет сделать время ручным, то что уж говорить о Юле? Она уже поняла, что понемногу и сама научилась одушевлять неживые предметы. Вот, например, мятое бурое существо прилепилось к широкому оконному стеклу. Когда-то оно было каштановым листом, но с приходом зимы потеряло свою древесную суть и теперь безразлично скитается по ветру. Это существо уже не часть дерева, что оно теперь? Юля приложила палец к стеклу. Если бы не стекло, думала Юля, кто знает, может быть, опавший лист приобрел в ее руках какую-то новую жизнь.

Она уже завернула за угол, когда услышала стук, доносившийся из-за двери черного хода. Железные двери оказались необычно широко распахнуты. Она позвала:

– Георгий!

Из-за дверей раздался прерывистый глухой голос:

– Полицию вызови!

– Да что случилось-то? Откройте двери!

– Заперли, не открыть.

Юля не ощутила ни страха, ни растерянности. Она пересекла улицу, вбежала в ресторан и кинулась к телефону-автомату, а за ней вдогонку бросился охранник. Когда она вышла, во двор уже влетала патрульная машина. Несколько румяных молокососов в необмятой форме нелепо прижимаясь к стенкам, перебежками проникли во двор. Но меры предосторожности уже были излишни – грабителей давно след простыл. Полицейские завели с Георгием переговоры через дверь, наконец, ее взломали. На ступеньки

вышел сторож. Вид его ужаснул Юлю. Кто-то по рации вызвал «Скорую помощь». Георгий сел на крыльцо, держась за распухшую окровавленную голову. Лицо его багровело с каждой минутой, один глаз совсем заплыл. На руках и брюках болтались обрывки изолянта – он сумел выпутаться, хотя его связали.

Полицейские начали бестолковые расспросы. Оказалось, что кто-то поджег мусорный контейнер, чтобы выманить сторожа, и как только он открыл дверь, грабители втолкнули его в помещение и ударили несколько раз по голове, он потерял сознание. В это время вынесли все самое ценное, кто-то очень хорошо их информировал, где что лежит.

Полицейские беспорядочно бродили по двору. На все попытки врача увезти Георгия в больницу он отвечал, что пока еще на работе и дождется прихода хозяина. «Пес сторожевой! – подумала Юля с беспричинным раздражением. – Привык свою кость честно обрабатывать».

Во дворе появился молодой хозяин. Он шарил по магазину выпуклыми рыбьими глазами, как будто какой-то плохой дяденька испортил ему всю игру. Он перешагнул через сторожа, которым занималась медсестра, Юля последовала за ним. Никого не интересовало, с какой стати она здесь оказалась и вообще кто она такая. Под ногами хрустнули белые с синим осколки кузнецовской чашки. Бархатный альбом тоже валялся на полу, эвкалиптовый листок, видно, потерялся, но фотография веселого юноши валялась тут же. Юля сунула ее в карман.

Юля помогла Георгию дойти до машины. Он дрожал, как будто ему было холодно. В больнице Юле разрешили проводить его до палаты. В дверях его так качнуло, что Юля едва успела его подхватить. Скривился, пытаясь улыбнуться, и произнес какой-то бред.

Медсестра указала на свободную кровать, он улегся и впал в забытие. На койке лежал беспомощный пожилой мужик. Кто он такой без своей лавки? Просто старик, который перед телевизором в мягких тапочках станет читать «Спорт». Юля вспомнила, как безразлично он переодевался в больнице с ее помощью. А что, если он сейчас еще «утку» попросит? Она осторожно поднялась и вышла.

В холодный солнечный день Юля шла по улице, ведущей к кладбищу. Преподаватель Института искусств пригласил ее на от-

крытие своего произведения, которое он назвал инсталляцией. Юлю заинтриговало то, что презентация состоится на кладбище.

В самом конце улицы она заметила Георгия. Сворачивать было поздно, да и некуда, он приближался. Он был подтянут и внутренне собран, словно спортсмен перед длинной дистанцией. Они поздоровались и вместе пошли вдоль ограды. Возле свежeverытой могилы стояла кучка молодых людей, одетых явно не для церемонии погребения. Настроение у них тоже было не похоронное. У некоторых через плечо висели мольберты. Могила была изготовлена по всем правилам, просто на дне ее чуть-чуть наклонно лежало большое зеркало, в котором Юля увидела свое отражение и отшатнулась.

– Боишься мертвецов? – с иронией спросил бывший сторож. – А что нас бояться?

Он подобрал увесистый камень и со всего размаху запустил им в зеркало. В брызнувших осколках метнулась его преломленная фигура, синее небо, рыжие сосны, удивленные люди. Потом Георгий повернулся к могиле спиной и пошел по аллее к воротам. Наконец он свернул и исчез из виду между памятниками.

Потом она долго бродила по городу в надежде встретить кого-нибудь из знакомых. Еще издали Юля заметила в перспективе знакомой улочки что-то непривычное. Вместо дома, где находилась антикварная лавка, стояло пожарище. Сырой туман висел в прилежащих переулках. Кое-где еще тлели балки, огонь нехотя доглядывал их. Закопченные крепостные стены проглядывали сквозь остов дома, который изнутри выгорел дотла. Жалкие струйки воды стекали тут и там, ползли вниз по булыжной мостовой, замерзая по пути. Зевак было мало: за столько веков этот город привык к пожарам. Юля обошла огороженный бумажными лентами угол и заглянула во двор. Лавки больше не существовало. Хозяйева получили свою страховку сполна.

Летом Юля зашла к своей подруге Свете, которая подрабатывала уборщицей в издательстве. Древний дом, в котором теперь располагались офисы, когда-то был жилым. Юля уселась в кресло босса и спросила подругу:

– И зачем ты тут за гроши уродуешься?

Света открыла окно и вытряхнула цветную метелочку для пыли прямо на головы прохожих.

– Представь, пришла я сюда наниматься и чувствую, что я в этой комнате будто дома. Поверишь ли, с чего бы это? Рассказала отцу – вот какая, говорю, мистика. Оказалось, никакой мистики. Моя прабабушка родилась и всю жизнь прожила в этой квартире. – И она снова принялась орудовать метелочкой среди компьютеров.

В открытое окно доносилась мелодия, которую уличный саксофонист исполнял для гуляющих. От нечего делать она начала листать только что вышедший журнал «Таллин» и наткнулась на повесть Георгия Мечковского «Вчерашнее завтра». Юля открыла ее и прочла: «В самом начале декабря над таллинскими башнями висит сырая пелена»...

*Стихи Довида Кнута

РОЗА ЛЯСТ “ИМПЕРАТОРЫ И ЕВРЕИ”

Главный сюжет книги – евреи в политике римских императоров. Суть ее – защита императорами еврейских религиозных традиций, что не мешало грабить евреев налогами и нещадно давить еврейских повстанцев. Книга состоит из научно-популярных очерков, основанных на документах и новейшей научной литературе. Каждый очерк – увлекательный рассказ из древней еврейской истории.

Издательство “Москва-Иерусалим”, 2013, 210 страниц.

Цена 40 шек.

Обращаться к автору.

Тел. 054-7231203

E-mail: isidore@post.tau.ac.il

Инна Иохвидович

ОБ АЛЕ И МАЕ

«...человеческое тело...наиболее чувственный, и при этом единственный источник радости, боли и истины...любое прикосновение оставляет на нём след», – утверждала, польский скульптор Алина Шапошникова, но читавшая эти строки Мая то соглашалась с ней, то категорически отрицала ...

Но после приезда с выставки скульптора она задумалась. Не только её работы поражали и потрясали, но то, что пришлось ей узнать о самой «Алине, Але» (так теперь она называла её про себя), заставили задуматься.

Сидя в глубоком кресле, прикрыв веки, Мая думала об удивительной схожести и одновременно несхожести их судеб.

Алина была на двадцать лет старше неё, но родилась в году, что тоже заканчивался на цифру шесть! Так же, как и Мая, родилась Алина в еврейской семье. У обеих матери работали врачами. Но в двенадцать Аля, незадолго до того пережив смерть отца, оказалась сначала в сменявших друг друга гетто разных городов, а уже потом в лагерях смерти – в Аушвице/Освенциме и в Берген-Бельзене. И, если бы у матери была иная профессия, а не была б она хорошим врачом, то не выйти было бы им обеим на белый свет. По всей видимости, мама Али была практикующим терапевтом. Но, если бы Мая с со своей матерью, врачом-рентгенологом очутились бы в концентрационном лагере, то вряд ли им удалось бы спастись!

Девятнадцатилетней девушкой вышла Алина Шапошникова из ада концлагерей...

Думая о собственной судьбе, Мая благодарила Провидение за то, что ей пришлось родиться через год после войны. И уже одно только это, будучи в преклонных годах, Мая считала огромнейшей жизненной удачей.

Она вспоминала, как в отрочестве и в ранней юности, она, как и Алина, отдала дань увлечению идеями построения коммунизма, веруя даже в такие частности, как в бесплатный общественный транспорт к 1980 году. Она, так же, как и Аля, разочаровалась в этом.

Но, если Алина уродилась красавицей, на облик её даже концлагерь не оставил своих следов, то, живя в мирное время, в благополучной семье, Мая с удивлением наблюдала за происходившими с нею в отрочестве метаморфозами. За превращением себя, хорошенькой, с правильными чертами лица, гармонично сложенной девочки в незнамо что?! В ставшую малого роста, толстоватую девушку-подростка с большим еврейским даже не носом, а шнобелем! Он-то первым и бросался в глаза при взгляде на её лицо. Не спасали даже печальные карие глаза, опущённые длинными ресницами...

Но, если в своём творчестве Алина Шапошникова была сосредоточена, как писали о ней искусствоведы, на проблемах интимности, то Мая, начиная со своих нелепых первых, написанных ею опусах, на поисках несуществующего чувства – любви?!

Роднило их то, что обеих интересовало их собственное тело, обе были, по-разному, но нарциссами в женском роде.

Но, если у Али это было от избытка женственности, то Мая страдала от недостатка эстрогенов – женских половых гормонов.

Она с ума сходила из-за собственной волосатости. Волосы были всюду, на руках, на ногах, на лице, усами и бакенбардами, в ложбинке, между двумя, вытянутой формы грудями, как в народе их называли: «уши спаниеля».

Иногда, когда она оставалась в квартире одна, то раздевшись, смотрела на себя в полный рост, на своё отражение в большом зеркале и не сдерживала катящихся по щекам слёз...

«Какой уж тут интим!» – сморкалась совсем юная девушка в носовой платок.

Чтоб как-то справиться с этим своим, как она называла, уродством, годами она посещала кабинеты эпиляции, с их процедурами, дорогими, болезненными и мало что изменявшими в её внешности ...

А в это время Алина Шапошникова переехал на жительство в Париж.

Для отливки своих скульптур ей не требовалась натурщица. Она отливала себя, была для себя *Natura Vita*.

Но с начала семидесятых у скульптора Шапошниковой пошёл цикл «Новообразования». Окровавленные бинты, «слеза» в виде женской груди – тяжёлый ассамбляж, таким образом она словно бы оповещала мир о болезни своей, смертельной...

В последних работах Аля уже не отливает себя, своё истерзанное болезнью и пытками лечения тело. Теперь она отливает тело белокурого ангела – своего сына.

Потому что запоминание тела, сохранение не сохраняемого – это и есть её скульптура.

Всё её творчество теперь – это уже не столько эротический, сколько эротико-танатологический трактат.

Танатос, как и всегда, одерживает победу над Эросом... Алина Шапошникова умирает 2 марта 1973 года... Таков конец всякой жизни, даже не столь трагичной, как у Алины. В анамнезе её болезни не одна маммакарцинома, а и гетто, и Аушвиц/Освенцим, и Берген-Бельзен...

Мая в 1973 году пишет свои опыты, это один из первых годов её занятия литературой. Именно от невозможности полноценной женской жизни она обратилась к писательству, как к спасению. Да и бессмысленность существования подступала вплотную...

Потом Мая родила дочь от дружка, красивого, моложе неё лет на семь парня.

Дочь и писание стали основой и смыслом её жизни.

Но и её настигла общая, их с Алиной болезнь – маммакарцинома. Мая, ошарашенная этой новостью, поначалу ничего не может понять. Ведь эта разновидность рака, как считается, бывает у красивых женщин, у очаровательно женственных. Обычно у воплощения женственности?!

«За что?! – кричало всё внутри неё, – мне-то за что?!»

И вновь, после операций и облечения, Мая благодарила Бога за то, что родилась тогда, когда научились хоть как-то справляться с роковой болезнью. Ведь её девочка-дочь, ставшая девушкой, ещё нуждалась в матери, ещё была совсем-совсем молоденькой. И Мая просто не имела права на смерть! А кроме всего, до своих читателей, пусть и в интернете, она обязана была

донести своё знание: «Что рака бояться нечего, как ни страшен был он, и что даже есть «жизнь после него», пусть и не совсем комфортная. Она написала мини-повесть «Скорбный лист или история моей болезни: введение в танатологию». Все её новеллы были теперь о человеке болящем, о человеке смертном... Она писала о раковых больных и диабетиках, о тех, кто жаждал любви да потерпел крушение, о курении, как о секундном спасении, первой затяжке, и о курении, как о причине многих болезней... Обо всём этом пугающем, что сопровождает человека в его жизни. А путь жизни и ведёт напрямиком к Ней!

Она поняла правоту Алины, писавшей: «Неуловимое, ничтожное мгновение – вот единственный символ нашего земного бытия»...

Времени на дальнейшие размышления об эротико-танатологическом трактате великой Алины Шапошниковой не осталось. Потому что закипел чайник, и пришлось заливать кипятком воздушные овсяные хлопья. Мая была обязана их съесть перед вечерним приёмом лекарств и инъекций...

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»:

Павел АМНУЭЛЬ	«ДОРОГА НА ЭЛИНОР»
Марьян БЕЛЕНЬКИЙ	«ЧЕМ ВАМ НЕ КНИГА?»
Владимир ГОПМАН	«ЛЮБИЛ ЛИ ФАНТАСТИКУ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ»
Таня ГРИНФЕЛЬД	«КВЕСТ»
Таня ГРИНФЕЛЬД	«ЭСКИЗ»

**ЗАКАЗАТЬ КНИГИ (БУМАЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ)
МОЖНО ПО АДРЕСУ:**

<http://litgraf.com/shop.html?shop=1>

Эстер Пастернак

НЕИЗВЕСТНАЯ ВНУТРЕННЯЯ АФРИКА

*В воображении всегда меньше эгоизма,
чем в воспоминании.*

М.Пруст

Коричневая бабочка, шурша крылышками, прикинула к зеркальной глади. На подоконнике по-прежнему лежала стопка неразобранных фотографий. Только из одних надписей можно было написать рассказ. На горизонте колебались медные нити рассвета. Мамонты холмов вписались в низкие облака, а желто-серые склоны просвечивали насквозь, точно сделанные из папиросной бумаги. В расплывающихся красках плавали тысячи пылинок и, казалось, что ничего больше не будет, кроме этих минут, сотканых из искристых точек августа, подернутого серо-голубой дымкой.

Внезапный порыв ветра сбросил несколько фотографий, и взгляд Аси остановился на одной – поле черных ирисов. Она помнила это поле, только его больше нет, – вместо него жилой район. “Архивная фотография. Впрочем, не только эта...” В банке из-под кофе что-то позвякивало. Она сняла крышку, и на ладонь выкатился красный сердолик. Ася была уверена, что камень давно пропал. Положив сердолик в шкатулку, она открыла картонную коробку из-под обуви. Модели детских машинок. “Такие игрушки уже не производят, сегодня все одноразовое...” Ее отнесло к другому берегу – к детству сыновей. Этой машинке пятнадцать лет, а этой одиннадцать... Волшебный источник памяти, удивительный материк, очерченный зыбкими контурами. Она поднялась, но, видимо, слишком поспешно – машинки рассыпались по полу, и

разъехались каждая по своему маршруту. Сейчас она думала о том, что ни одна из многих дорог, по которой они с Йони успели пройти, не была так близка ей, как эта, последняя из тысячи первых. Ася развязала тесемки на папке с рисунками, на которой детским почерком было выведено: “Живопись. Ш.П.”.

В конце дня она заехала за сыном в поселение “Санур”, деревню художников.

- Клоун у тебя получился замечательный!
- Мама, я не хочу быть художником.
- Это совсем необязательно. А кем ты хочешь быть?
- Еще не знаю.

Августовские ножницы раскроили день. Из зеркала на нее глядело усталое, осунувшееся лицо. В одиночестве последних дней Ася чувствовала себя Азовским морем – азов, лаазов. Странное ощущение не оставляло ее, ощущение западни, как раз в том месте, к которому она так стремилась. До приезда Йони оставалось прожить вторую маренговую ночь. Завтра в Рехане соберутся желающие созерцать падение метеоритов. Она вспомнила полыхающую ночь 17 января 1991 года. Огненные дуги ракет прорезали высокий небосвод, несясь на Тель-Авив, и казалось, не ракеты, а они с Йони перемещаются в пространстве. Интересное это слово – созерцание; с-озерцо, а может с-ладонь? Есть в нем оз – отвага и есть отрицание. “Жизнь – великая неожиданность. Я не вижу, почему смерть не могла бы оказаться еще большей”. Это Набоков. У нее же наоборот: “Смерть – великая неожиданность всегда, я не вижу, почему жизнь не могла бы оказаться еще большей”. И оказалась. Ася помнила странное ощущение ухода глубоко в подсознание вселенной, когда всё, дотоле называвшееся емким словом “смысл”, разбилось на мелкие осколки беззащитности. “Нет, нехорошо это, – она отрицательно покачала головой, пытаясь освободиться от нежелательных мыслей – лучше оставим эту “неизвестную внутреннюю Африку”¹ другим и пойдем дальше, точнее, вернемся дальше”.

¹ В своем романе «Абу Тельфан, или Возвращение с Лунных гор» (1867 г.) Вильгельм Раабе назвал расщепленное человеческое сознание «неизвестной внутренней Африкой».

*... и вот опять стою я перед домом
пронзительно, пронзительно знакомым,
и что-то мысль мою темнит и реёт.*

В.Набоков

“Давным-давно...” – так всегда начинаются сказки, – угодно было Творцу сделать их обитателями своеобразного места на севере Самарии, небольшом причудливом островке в тридцати километрах от ближайшего города, и в двадцати от Средиземного моря, с контрастами от бархатной погоды до сильного ветра, летящего с моря. По сути, сегодня все это уже история.

...Моросил дождь. Скалы пребывали в странной сонливости. Полная луна смывала кузнечиков в ручей, и во всем преобладала медлительность движений, некий отрезок времени, имеющий для Аси особую ценность, поскольку она знала, что даже самому значительному событию в жизни человека ни в чем нет продолжения, и все пережитое повторяется лишь в воспоминаниях.

– Ты помнишь змею на финиковой пальме?

– Помню. Дан убил ее выстрелом из охотничьего ружья.

– Убил, а она продолжает жить.

– Как это?

– Не знаю. Она откуда-то выползает. Слышишь, деревья источают запах ранней осени, а птички поют: “ Тивись фью, ти-вись, фью... Ты весь дивись...”

– Осень у нас настолько короткая, что поздней не бывает. Когда ты ее в последний раз видела?

– Змею? Вчера.

– Я уже говорил, что две твои макушки – признак гениальности?

– Не преувеличивай.

– Ты вообще находка – не оставляешь отпечатки пальцев – никаких следов.

– Не преувеличивай.

– Ну, что ты заладила, ведь если я на самом деле преувеличу, то найду в тебе такое...

– Мои макушки именно то, что ты называешь моей интуицией. Поднимись на веранду, промокнешь.

– Разве это дождь? Вот после праздников начнутся дожди.

Сквозь влажную ткань ночи пробивался незнакомый звон. Не надолго задержавшись, он исчез за черными холмами Ревавы. Звук этот, несомненно, относился к первичному чувству разрыва, каким оно бывает, когда события прошлого без черновика вписаны в чистовике. Из последней неразобранной коробки с книгами Ася вытащила одну, наугад. Это оказалась книга под названием “Мешех”. “Однажды еврейский мудрец Хасдай ибн Шафрут написал хазарскому царю, владения которого находились на территории нынешней России, в нижнем и среднем течении Волги, письмо, которое начиналось словами: “Верховному главе Мешеа и Тувалья”. Жил рав Хасдай во времена Гаонов, великих еврейских ученых, а те считали, что именно на севере расположены те страны, которые пророк Иехезкель называл царством Гога. И, может быть, от слова “рош” предводитель, голова, произошло слово Россия. Согласно еврейской традиции, когда говорится о “предводителе Мешеа и Тувалья”, подразумевается некая “северная страна; т.е. имеется в виду современная нам Россия. По крайней мере, известно, что Мешех, согласно объяснению Иерусалимского Талмуда, – это место по названию Мисья, а в одной древней книге “При Моше”, сказано, что под Мисьей понимается Москва”.

Прижавшись щекой к цепочке рассвета, Ася глядела на пальмы, одетые в потрескавшуюся крокодилову кожу. Все равно ничего нового не скажешь. Но, если “литература это неустаревающая новость”², то мысль о непредумышленной форме восприятия, несколько утешает. Она вышла на балкон и полетела над распластанными полями в отмеренное, круглое время, бесполезно прячущееся в стволе бутылочного дерева, и то, что начиналось для нее вереницей сомнений, получило, наконец, свое единственно возможное завершение.

² Эзра Паунд

Таня Гринфельд

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Был ясный летний день, листья на росших в саду кустах были такими ярко зелеными, будто их облили краской.

От обилия зелени, а может, от того, что солнце в этом году светило как-то по-особенному, в саду появилось множество гусениц, которые облепили самые сочные листья и пожирали их с невероятной яростью, оставляя лишь тоненькую прозрачную кожицу.

Гусеницы двигались быстро, переползали с листа на лист, жадно двигая челюстями и стараясь насытиться, что, по всей видимости, было просто невозможно.

Одна из гусениц отставала в этом занятии, целиком поглотившем ее сородичей, и со стороны казалась какой-то сонной. А может, голод не гнал ее с такой силой? Впрочем, на нее никто и не обращал внимания.

Вдруг солнечный луч, переместившись с соседнего листа, упал на то место, где, задумавшись, сидела наша гусеница. Конечно, солнце освещало их и раньше, но ни одна из гусениц не замедлила своего движения настолько, чтобы заметить это.

Но наша гусеница просто замерла от неожиданности и недоумения. Что бы это могло быть? Прикосновение луча было теплым. «Это солнце», – услышала она голос, прозвучавший внутри нее.

Солнце? Но что это? Она чувствовала его любовь и сама испытывала к нему нечто похожее. «Солнце, солнце», – щебетали вокруг птицы, но гусеница не смогла их хорошо слышать, так как от рождения была глуховата, так же, как не могла и видеть солнца – она была слепа. И все же ей казалось, что она его видит, во всяком случае, она ясно чувствовала его тепло. Открыв для себя, что есть нечто такое, о чем она никогда не помышляла в своей маленькой жизни ранее, весь смысл которой заключался в

том, чтобы покрепче и плотнее прижаться к листу, как можно быстрее при этом двигая челюстями, она потеряла чувство страха. Гусеница приподняла туловище над листом, насколько можно, и крикнула вслед своим подругам: «Остановитесь! Знаете, что...» Но никто даже не обернулся.

Все произошедшее настолько потрясло ее, что она расплакалась. Жить, как раньше, она уже не могла. Ведь теперь она знала, что за пределами ее мира лежит какой-то неизвестный мир, какая-то другая жизнь, и над всем этим есть оно, Солнце, или то, что называется им.

Гусеница растерялась, не зная, что ей делать дальше. Догонять остальных уже не имело никакого смысла, да и сама жизнь, казалось, только теперь приобрела настоящий смысл. Она поползла еще немного и остановилась, прислушиваясь к себе. Она ощущала, что что-то изменилось в ней. Но что? Мысль о движении вперед не принесла радости, есть не хотелось, и вообще все тело налилось тяжестью, казалось, что она вот-вот потеряет сознание.

«Что со мной происходит? – испуганно подумала гусеница. – Неужели я умру, так и не узнав, что такое Солнце? Но я не могу умереть вот так, теперь, когда я ЗНАЮ!»

Разволновавшись, она потеряла равновесие и скатилась с листа в траву. В каком-то бреде она еще немного судорожно дергалась туда и сюда, пока наконец тельце ее не замерло окончательно, вытянувшись в оцепенении.

Очнулась она спустя некоторое время в очень странном месте. Глухая стена окружала ее со всех сторон, как если бы она сидела в узкой трубке тростника.

«Где я?» – подумала она и тут же вспомнила все, произошедшее с ней. Внутри было тихо, и вначале ни звука не доносилось до ее слуха, как она ни пыталась что-то услышать. Ко всему прочему, было очень тесно, и она не могла даже шевельнуться. Но самое ужасное было то, что у нее пропал голос, и она не могла бы дать знать о себе, даже если бы захотела. Ей было страшно и очень одиноко. Чтобы отвлечься, она стала вспоминать свою короткую жизнь – какой самонадеянной и глупой она была прежде вплоть до того момента, когда на нее упал луч солнца. Думая об этом даже сейчас, будучи совсем беззащитной и считавшей себя похороненной заживо, она вновь ощутила тот же прилив радости, что испы-

тала тогда, и это настолько согрело ее, что она старалась теперь как можно чаще возвращаться к этой мысли, так как это очень поддерживало ее в новом для нее положении полной отчужденности от внешнего мира. Иногда ей казалось, что время остановилось. Если бы только не одно обстоятельство...

Все то время, что она находилась под непроницаемым панцирем, с ней что-то происходило. Она вряд ли могла сказать определенно, что именно это было, но не проходило дня, чтобы внутри нее или с нею не происходили какие-то перемены. Иногда это было настолько неприятно, что гусеница предпочитала спать и не думать о происходившем с нею, тем более, что она понимала, что от нее сейчас ничего не зависит. По мере того, как сознание ее прояснялось, а слух обострялся от того, что ей приходилось постоянно вслушиваться в тишину, она стала слышать движения за стенами и голос, похоже, рассуждавший именно о ней.

«Что это за страшилище лежит тут?» – услышала она, и сердце ее сжалось от боли.

В дальнейшем ей пришлось не раз слышать подобные голоса. К тому же, время от времени налетавшие откуда ни возьмись птицы пытались склевать ее. В такие минуты она была рада, что у нее есть надежное укрытие, а появлявшиеся поначалу любопытные голоса, как правило, в досаде говорили:

«Ничего особенного, это всего лишь бесполезная ошибка природы».

«Должно быть, я действительно очень безобразна», – думала гусеница, но это почему-то уже не огорчало ее так сильно.

Об очень многом передумала она за это время.

Но интересная вещь: хотя одиночество ее затянулось, оно уже не тяготило с прежней силой, в нем не было отчаяния первых дней. Не то чтобы она привыкла, но ей даже нравилось быть наедине со своими мыслями, когда ничто не мешало этим раздумьям.

Как-то раз она проснулась в какой-то тревоге, предчувствие не отпускало ее, ей казалось, что именно сегодня, сейчас должно произойти нечто важное. Она напряглась, пытаясь раздвинуть стены своей темницы, хотя раньше это ни к чему не вело, но некий зов звал ее поступить именно таким образом.

И тут случилось неожиданное. Послышался треск, это отскочил кусочек сухой корочки, и в щелку проник луч света. Ей показав

лось, что она ослепла вторично, но это было именно так, и Солнце, настоящее Солнце на этот раз ослепило глаза.

«Солнце! Я вижу Солнце!» – воскликнула она, удивясь собственному голосу, таким непривычным было его звучание.

Это была правда, она видела Солнце, потому что теперь у нее были глаза, и она потянулась к свету, торопясь освободиться, хотя от долгой неподвижности это получалось несколько неуклюже.

Освободившись от остатков сухой кожуры и с удивлением оглянувшись на то, что удерживало ее так долго взаперти, она замерла на ветке, чуть дрожа от неожиданности и новых ощущений. Свобода пьянила ее.

Она не узнавала себя. Теперь у нее были невероятно длинные ножки, цепко обхватившие стебелек, изящное маленькое тельце с тонкой талией и нежным пушком, а за спиной трепетали еще не расправленные чуть влажные крылья. Это было настоящее чудо.

«Неужели это я? Не может быть, наверное я сплю», – билось в ее сознании. Могла ли она когда-либо раньше, находясь в теле зеленой толстой гусеницы, предположить, что все это произойдет именно с нею? Все это пронеслось у нее в голове, пока ее крылья просыхали в ласковых лучах солнца, а сама она, кивая усиками, с удивлением оглядывала мир вокруг блестящими глазами, в которых отражалась залитая солнцем лужайка со множеством росших на ней цветов и большой дом, а еще дальше за домом верхушки деревьев, и над всем этим – бесконечное голубое небо. Из дома выбежали дети – мальчик и девочка. Дети, смеясь, бежали к ней, стараясь опередить друг друга, – каждый считал, что именно он увидел ее первым.

Сейчас она точно знала, что это необыкновенное существо и есть она сама, и несказанное счастье переполняло ее душу.

Тогда она распахнула свои великолепные крылья, отливавшие всеми цветами радуги, взмахнула ими несколько раз, будто пробовала их силу и размах, и внезапно, оторвавшись от куста, взлетела навстречу взошедшему солнцу. И почти одновременно в воздух поднялись тысячи и тысячи, целые рои таких же, как она, грациозных созданий. Внизу, перекликаясь сотнями голосов, шумел своей жизнью лес.

А бабочки кружились и кружились в солнечном луче, поднимаясь все выше и выше, пока совсем не скрылись из вида.

Галина Получанкина

ЧАСЫ

Сергей не мог понять, почему он сегодня целый день так упорно смотрел на часы. Давно он за собой не замечал этого студенческого легкомыслия. С тех самых студенческих пор и не замечал. А тут утром просматривает почту – на часы. Проводит летучку с менеджментом – опять туда же. Едет на объект – и так раз рукой к глазам, а который час. Что? Почему? Обычный рабочий день. Ничего нового. Только вот голова страшно болит. С утра ещё было терпимо, сейчас уже трудно открыть глаза. И что? Зачем смотреть на часы? Чтобы понять, когда же эта боль прекратится? Смешно.

Головные боли тоже не были для него новостью. Беспокоили, но не часто. Это началось после сорока. Давление? Но Сергей не углублялся. Не ходил к врачам. Ничего не измерял. Не суетился. Проходило же. Искренне был уверен, что на всё воля божья. В карьере, да – мужику надо грызть всё вокруг себя и, по возможности, зубами – иначе ничего не получится. А здоровье? Гены – вот его главный камертон. Мать умерла в пятьдесят пять от инсульта. У него ещё куча времени. А там посмотрим.

Сергей позвонил Анне Петровне, чтобы принесла чаю с лимоном. Секретаршу выбирал нестандартно, главными достоинствами на этой должности считал мозги, быстроту реакции и знание иностранных языков. Выбирать было непросто. В основном приходилось наблюдать тех, кто не понимал разницы между секретарским делом и модельным бизнесом. Это в лучшем случае. В худшем – думали, что в его компании найдут всё и сразу.

Среди этих сисястых и губастых дур Сергей с трудом смог выцарапать и разглядеть незаметную фигуру Анны Петровны, внешне невнятную, но почему-то ему иногда казалось, что именно она руководит вот уже десять лет его строительной компанией.

Анна Петровна принесла чай с лимоном. Спросила, как он себя чувствует. Сергей произнёс только одно слово: “голова”, – и для убедительности постучал по макушке пальцем. Анна Петровна тут же вызвала шофёра.

Сергей сидел в машине и держал руками голову. Боялся, что, если отпустит руки, она оторвётся от тела и улетит через окно. И тогда, если его посадят на коня, то в этом случае он вполне сойдёт за всадника без головы из его любимого в детстве романа Майн Рида. Сергей решил провести эксперимент над собой, отпустив голову в свободное плавание. Но она не оторвалась, только что-то внутри неё там гудело, скрипело, выло и давило на мозги.

Когда вошёл в подъезд, уже слабо понимал, где находится. Что-то консьержка сказала, но он не разобрал и не ответил. Ноги ещё сопротивлялись недомоганию и с трудом, но поднимались по лестнице. Он ещё успел подойти к первой попавшейся двери, открыть её, сделать пару шагов и рухнуть в темноту.

Когда очнулся, понял, что лежит в том же углу, в который упал. В чужом и незнакомом. Всё внутри дрожало от холода. Он хотел пошевелиться, чтобы согреться, но не смог. Что это? Смерть? Уже? Не думал, что так быстро. Непонятно – где. Непонятно – с кем. И главное, без стакана воды.

– Серёга, ты меня слышишь?

Это был женский, незнакомый голос. Кто это? Он умер, улетел наверх, и там с ним уже кто-то разговаривает? Здорово. А все ломают голову, что же там будет после. А оказывается, всё есть. Люди, ах. Жалко, что никто его не слышит. Вот так, наверное, и мёртвые. Они нам кричат, а мы их не слышим.

– Серёга, – продолжал женский голос шёпотом. – Мы с мужем сегодня идём в Большой театр. Как – в какой? В Большой, я ж тебе говорю. Ну, что делать, встретимся завтра на работе в обеденный перерыв. Мужу принесли билеты. Весь его отдел идёт. Ладно, Серёж, я ещё не одевалась (в этом месте она хихикнула). Целую, пока.

Голос незнакомой женщины вернул Сергея на землю. Он попытался крикнуть, чтобы она его услышала. Но ничего не получилось. Ни крика, ни движения. Ничего. Только ноги мёрзли, а в голове били барабаны.

Она ушла. И Сергей опять остался один. Нет, не один, а с ароматом её духов. И он точно знал, каких. Это были духи Шанель № 5. Эти духи он дарил единственной женщине. Двадцать лет назад. Потом были другие духи и другие женщины. А Шанель № 5 – только один раз. И только ей. Почему она? Пожал бы в этом месте плечами, но не может. Валяется где-то, и ни крикнуть, ни пошевелиться. Только аромат Шанели рядом. Но не её.

Когда он поцеловал её в первый раз, она улыбнулась. Его это даже оскорбило, и он спросил, почему? Она не ответила. Дурак, не мог сообразить, что она целовалась по-настоящему в первый раз? И чтобы это скрыть – улыбалась? Ничего он тогда не понимал. Не понимал даже, что не любила она его. Не-а, не любила.

А он водил её в студенческую столовую. Один раз – в театр. А в ресторан как-то не пустили, потому что она была в спортивном костюме. Нет, Шанелька ничего не требовала. Только очень любила целоваться. Заберутся на последний этаж подъезда, где она жила, и целуются до утра. Или пока соседи не попросят. А на лекциях сидели, всегда взявшись за руки. Целый год – рука в руке. Или это молодость такая ненормальная, или они были сумасшедшими? Сейчас, лёжа в чьём-то углу и не имея возможности пошевелиться, постичь он эту мысль не мог. Голова мёрзла, а ног он уже не чувствовал совсем.

Вспомнил, как однажды деньги у него закончились. А стипендия была ещё за большими за горами. Встретился, как всегда, со своей Шанелькой, а утром просыпается, смотрит – в кошельке 5 рублей. Откуда? Он сразу всё понял. А она, глупая, не призналась. Только улыбалась, как тогда, когда он её в первый раз поцеловал. И ещё подумал – ну, уж если заботится – точно любит. Дурак, просто пожалела. Через полгода она пришла к нему и с той же, его любимой улыбкой сказала, что полюбила другого, что всё у них кончено. И так просто и легко сказала, что он ничего не мог сообразить. Ну, уходит – ну, вернётся. Ну, полюбила – ну, разлюбит. А она больше не пришла.

Люди, кто-нибудь, помогите! – кричало его сердце, но не голос. Голосу уже было всё равно, он умер, а сердце еще сопротивлялось и жило. И хотело тепла и света. А он не мог ни крикнуть, ни пошевелиться. Ну хоть кто-нибудь...

Через год была встреча выпускников. Он к тому времени уже был женат. Женился на первой, которая позвала. Шанелька тоже приехала. Нет, духи уже были другие. Но улыбка та же. Когда она посмотрела на него, он готов был в эту же секунду выпрыгнуть из своего обручального кольца, рубашки и трусов. Но она не позвала. Только печально смотрела на его кольцо. А потом сказала, что не замужем.

Его тело уже совсем перестало ему принадлежать, и он им больше не чувствовал ничего. Неожиданно за стеной зазвенел мобильный. Ответил мужчина. Хозяин дома? Муж жены, которая наставляет ему рога?

– Так, слушай меня внимательно, – каждое слово, которое он произносил, ударяло Сергею в голову, – не подписывай ничего. Приеду после театра, разберусь. Всё.

Чего он так орёт, руководитель хренов? Мужчина заговорил снова, но интонации в голосе поменялись.

– Маруся, сегодня не жди. Встретимся завтра. Ну, Марусечка, я тоже скучаю. Но сегодня никак. Культурная программа по работе. Тебя взять? Никак не могу. Сама должна понимать. Всё. Давай, до завтра.

Сергей больше не пытался звать на помощь. Бесполезно. Жизнь уже вырывалась из его тела. Он собрал все свои последние силы, чтобы задержать сознание. И вспомнил, как года три назад попал в реанимацию. Он был в коме. Подскочил сахар, а он и не знал, что у него диабет.

Он точно помнил, что был в то время женат, но когда его перевели в палату, за руку его держала Шанелька. И не уходила. И в первый день, и на второй, и на третий. Сказала, что живёт в Америке. Муж профессор, и есть сын. Кольца не было. А он всё время смотрел на её правую руку. Он хотел там увидеть кольцо, которое ей подарил профессор, но его не было. Не было. Не было. Она приходила каждый день и ждала. Ждала. Ждала.

На его голове уже лежал огромный ледяной ком и давил на то, что еще там осталось от него. Кто-то барабанил в дверь. Кричали. Бегали. На миг ему показалось, что он слышит голос Анны Петровны. Духи № 5 приблизились и накрыли его с головой. А он уходил от них всё дальше. Всё быстрее. И уже ни у кого не было возможности его остановить.

Виктория Коритнянская

НЕСЧАСТЬЕ НА УСПЕНСКОЙ

Несчастье свалилось на жителей дома на Успенской в виде хасидской синагоги по соседству. Синагога была маленькая и никому не мешала. Она никому не мешала, пока местная ее община не решила пристроить к ней сзади второй этаж.

Вначале несчастье кралось незаметно. Жители видели из своих окон, как бесшумно разбирают часть стены бородатые мужчины в кипах. Они наблюдали за этим несколько дней с большим интересом. Работающие мужчины в долгу не остались. Они рассмотрели всех жильцов в мельчайших подробностях и наизусть выучили их вкусы. Даже с закрытыми глазами, они могли точно сказать, в какое время суток, что, из какой чашки и со сколькими ложечками сахара пьет каждый из них.

А потом приехал трактор. Он начал рыть канаву под фундамент и его надрывное рычание наполнило сердца жителей дома смутным беспокойством. Щемящая тревога бесшумно выползла из-под его колес и притаилась во дворе синагоги. К обеду она заползла во все открытые окна и двери, она испортила вкус чая и снилась в ужасных снах малолетним детям. Праздное наблюдение сменилось круглосуточным слежением. Тяжелые взгляды жильцов дома мешали бесшумным мужчинам получать удовольствие от работы. Тучи непонимания, мрачных подозрений и горького ощущения несправедливости окружили маленькую синагогу плотным, почти осязаемым кольцом. В воздухе к запаху котов и жареных блинчиков примешался терпкий дух антисемитизма.

Когда стена, миновав крышу, стала расти выше, стало очевидно, что случилось несчастье. Его было видно отовсюду и его

прибывало. Жильцы начали действовать. Они разработали план и утвердили членов делегации. Они написали гневное письмо и с ним двинулись к синагоге. Там, пройдя сквозь золото вестибюля, они попросили главного.

Раввин вышел к ним почти мгновенно. Он приветливо улыбнулся, и маленькие его глазки весело заблестели за толстыми стеклами очков.

– Чем могу быть полезен, милые дамы? – слегка наклонившись и широко разводя руками, спросил он.

Женщины растерялись. Сияющая улыбка ребе мешала разгореться скандалу. Густая тишина висела в воздухе, как забытая сухая рыба на шворке.

– Милые дамы, чем обязан я такому визиту? – еще раз вежливо спросил он.

– Вот, – нашлась, наконец, женщина и, стремительно выступив вперед, протянула письмо.

– Вы строите незаконно! Это – нарушение! – вдруг разом, громко перебивая друг друга, загалдели члены делегации.

Ребе подождал, пока наступит тишина. Он несколько раз тронул седую свою бороду и, близоруко прищурившись, тихо спросил:

– Дорогие дамы, это я строю? Разве это я строю? – вдруг вскричал он, показывая им свои чистые холеные руки. – Это они строят! – твердо отрезал он, указывая в сторону бесшумно работающих мужчин в кипах. – Извините, мне пора, – тихо добавил он через секунду и тут же бесследно исчез в толстых складках гардины.

Густая тишина снова повисла в вестибюле, и стоны лебедки, тянувшей на крышу стопки ярко-красной, нагло сверкающей заграничной черепицы, разрывали ее иногда своим жалким плачем. Менора грустно сверкала золотом, и суровый Моисей грозно взирал на женщин с огромной картины. Девственно белое, так и непрочитанное письмо одиноко покоилось в руках храброй женщины.

– Вот и поговорили... – сказал наконец кто-то в толпе. И в тот же час всем стало ясно, что несчастье, бесповоротное и неумолимое, свалилось на их головы.

Догоните и набейте

Баба Дора дорабатывала последние месяцы. Она с радостью ожидала пенсии, и мечты о спокойной размеренной жизни разукрашивали скромный ее быт радужными красками.

Гром грянул, откуда не ждали. Единственная ее дочь Наташа начала разводиться с мужем. Оформление пенсии совпало с судебными тяжбами. Наташа судилась с мужем за квартиру, делила детей и нажитое имущество. Когда вожделенное, бледно-оранжевое удостоверение лежало у бабы Доры на ладони, Наташа, проиграв по всем искам, переехала с детьми жить к маме. Она заняла большую светлую комнату и забила ее вещами. Беспорядочно наваленные в кучи, они подпирали остроконечными вершинами потолок, путались под ногами и сиротливо лежали на стульях. Дети с радостным визгом покоряли эти вершины, они прятались в завалах постельного, примеряли мамино зимнее и с удовольствием играли в «Староконный».

Баба Дора помогала дочери, как могла. Она безропотно гуляла с детьми в Дюковском парке, варила им молочные каши и рассказывала на ночь сказки. Но однажды с ней случился припадок, и на скорой ее увезли в больницу. Домой баба Дора вернулась уже лежачей.

Наташа к тому времени устроилась рыбной торговкой на Привоз. Она пропадала на работе целыми днями, и неухоженные забытые ее дети дурели в тесной, забитой вещами комнате. Лежачая баба Дора пыталась кричать, но дети, удостоверившись в полной безнаказанности, не слушались. Когда Гена, шестилетний ее внучок, перешел все границы, она, наконец, решилась на разговор с дочерью.

Вечером, придя с работы, Наташа шумела на кухне. Она принесла домой тюлечку и, низко склонившись теперь над кулечком, по-деловому, одним быстрым рывком пухлой маленькой ручки отрывала ей головки. Потом, захватив кастрюлю с холодной картошкой, Наташа перешла в гостиную. Плюхнувшись с размаху на стул, она сосредоточенно принялась за ужин. Картошки бесследно исчезали во рту Наташи, и сверкающая металлическими боками тюлечка догоняла их в стремительном полете. Баба Дора молча смотрела с кровати. Она не решалась начать разговор...

– Шо это пахнет? – вдруг, брезгливо поморщившись, спросила баба Дора, нюхая по сторонам воздух.

– Я провонялась хуже некуда, – равнодушным уставшим голо- сом ответила Наташа. – Сейчас доем и сменю. Представляешь, ночвы на себя сегодня перекинула, – с улыбкой добавила она, деловито выплевывая рыбий хвостик. – Гэна, – закричала она вдруг громовым голосом. – Я шо сказала, закрой шкаф и отойди!

Баба Дора встрепенулась. Услышав имя внука, она, припод- нявшись на подушках и вдохнув полной грудью, истерически про- кричала:

– Я так больше не могу. Нужно что-то делать... Олечка еще куда ни шло, но твой Гэна, – взвизгнула она, также как и Наташа, произнеся имя ребенка через твердое “э”. – Он ведет себя просто невозможно. Он дразнится, он прячет мои очки, он бьет Олю и сов- сем не хочет кушать... – последние слова были сказаны бабой Дорой уже сквозь слезы.

Наташа в растерянности молча уставилась на маму.

– Мама, шо вы от меня хотите? Догоните и набейте! – громко прокричала, наконец, она, со злостью вырвав толстыми короткими пальчиками зажатый между губ рыбий хвостик. – Вы же знаете – я вам все разрешаю! – добавила Наташа и, стремительно вскочив, стала убирать со стола. Сквозь грохот посуды было слышно, как, плача, тихо скулит на кровати баба Дора.

Неожиданно Наташа, воздев руки к небу, загремела:

– Я работаю! Я света белого не вижу за этой тюлькой, я про- пахла нею, как не знаю хто, – тоже начиная плакать, кричала она, – а вы мне за детей! Давайте зарежем их, что ли, чтобы вам хо- рошо лежалось! – выкрикнула она, бросая полный отчаяния взгляд на маму. – Шо, шо вы от меня хотите? – зарыдала она, упав на ступ.

Дети испуганно затихли. Гэна, молча рисовавший фломасте- ром на обоях собаку, с удивлением смотрел на плачущих женщин.

– Гэна, иди сюда, детка, – сквозь слезы тихо позвала Наташа. Прижимая к пышной груди прибежавшего мальчика и стараясь за- глянуть ему в глаза, она ласково шептала:

– Гэна, говори маме, я буду вести себя хорошо. Я буду помогать бабушке, я буду хорошо кушать...

– Я буду, буду... – растеряно мямлил Гена, вяло вырываясь и испуганно выглядывая из-под толстых рук мамы на плачущую бабушку.

Неожиданно всхлипы женщин прервались громким свистом закипевшего чайника.

– Ну вот, чайник закипел... – отпуская Гену и вытирая пухлыми ладонями мокрые глаза, грустно проговорила Наташа. Не сказав больше ни слова, она медленной и уставшей походкой вышла на кухню заваривать чай.

Вечерний сумрак вползал с улицы в окна, и в наступившей тишине отчетливо было слышно, как тикают старые часы над бабушкиной кроватью.

– Дети, идите сюда. Я расскажу вам про войну, – раздался вдруг голос бабы Доры.

Дети послушно влезли на кровать. Они сели почти вплотную к бабе Доре и жались к ней каждый раз, когда она, показывая взрыв, с громким криком «бах-х!» подбрасывала вверх длинные худые руки.

Наталья Зейфман «Еще одна жизнь»

Осенью 2016 года в московском издательстве «Время» тиражом 1000 экз. вышла книга воспоминаний Натальи Зейфман – об отъезде семьи в Израиль в 1991 году (воспринятом как конец жизни и начало новой), о московском лефортовском детстве в сороковых-пятидесятых, о работе в Отделе рукописей ГБЛ, о Каверине, о историке П.А.Зайончковском...

Дина Рубина, представившая книгу в аннотации, говорит о ней так: "Эта книга – не триллер и не детектив, – необыкновенно увлекательное чтение! "

Книгу можно приобрести у автора, обратившись по электронной почте: nataliazeifman2015@gmail.com.

Марина Стратиевская

УТРО

Я повожу носом, но не чувствую никаких запахов жизни, только камень, пласмасса, железо. Вхожу в клочья тумана, сливающиеся в поблёскивающую, серую, мягкую стену. По сторонам, боковым зрением, угадываю черные, крест накрест, перила. Нарастает досада, под селезёнкой набухает бутон будущей тревоги: времени на пространство не хватит. Весь я один громадный, состоящий из разных датчиков, щёлкающий счётчик. Каждая жилочка моего тела это секунды и секунды по дороге к ожидаемому от меня.

Александр Аронович сидел за дубовым столом, занимающим половину комнаты, и надписывал, по старинке, конверты. Его неудержимо клонило в сон, и это было досадно, ведь сейчас утро, а ночью он хорошо спал.

Последнюю зиму Александр Аронович потратил на то, чтобы организовать встречу выпускников техникума, в котором учился 60 лет назад. Вспоминая людей, когда-то бурлящих толпой вокруг него, он поражался, с каким усердием всю-то жизнь рвал связи, сначала с родным местом, нечаянно уехав на чужбину, потом умерли родные. Эти процессы происходили якобы независимо от его желания, но потом, потом он последовательно оборвал контакты с пространственно-временными знакомыми (по месту работы, по времени учебы), оставив связи нерушимые. Это оказались книги. Даже не те, кто их писал, не дай бог.

События тоже наскучили ему. Он перестал брать в руки газету, включать телевизор. Но мелкие эмоции, орошающие с утра до вечера человека, как дробный грибной дождик, теперь слились в монокромный поток внутреннего стремления к движению. Говорят, у стариков бывают страхи. Александр Аронович, наоборот, последовательно перестал бояться всего, зато осталось одно, но мощное опасение остановиться.

А тело одряхлело настолько, что от социальной службы ему выделили помощницу, Нату. Сегодня она пришла не по расписанию, чтобы застать его, наконец, не спящим. Обычно он встречал ее затуманенным взглядом, уверяя, что задремал “только сейчас” и что не сомкнул глаз ночью. А Ната подозревала, что он спит чуть ли не 20 часов в сутки, и ее раздражали жалобы Александра Ароновича на бессонницу.

Сейчас Ната, открыв своим ключом дверь и свалив покупки у порога, стояла, глядя в неподвижную спину грузного, с красивой седой головой человека за письменным столом. Она угадывала исходящее от этой спины недовольство.

Досада становится доминантой моего существования. Досада на помехи движению. Тягучее чувство то усиливается, то сходит почти на нет, но не оставляет меня ни во сне, ни наяву.

Я всегда был обращен к окружающим именно надежностью своей, и мне крайне неприятно, что я подвожу кого-то. Накануне меня попросили перед работой заехать к заказчику, и я согласился выкроить пару часов, не ставя начальство в известность. И вдруг я обнаруживаю себя на работе, значит, наша договоренность сдвигается в лучшем случае часа на четыре. Волна паники начинает подниматься во мне. Я говорю начальнику, что сейчас уйду, а доработаю потом и бегу по аллеям к шоссе, пытаюсь набрать номер такси. Для этого нужно угадать, за какой клавишей скрывается русская буква “т”, так как на моем телефоне нет русского шрифта, но телефонная книжка на русском. Минуты уходят, я промахиваюсь, появился вообще какой-то другой язык, не английский даже, видимо, суетясь, я нажал регистр выбора языка. Мелькают белые от солнца песчаные дорожки в обрамлении серой зелени, я пытаюсь спрямить путь к шоссе, машу рукой, кажется, такси? Ах, нет, показалось. Продолжаю пытаться найти слово “такси” в телефоне, мучительно торопясь вспомнить название улицы, по которой бегу. Это та же улица, на которой я живу, но за пределами жилой зоны она почему-то меняет название, и я эти названия помню столько же времени, сколько помню себя, а сейчас, когда надо будет сказать таксисту, где я, никак не могу вспомнить, как же называется эта улица. И почему заказчик, с которым я договаривался на утро, не звонит? Значит, еще не спохватился. Я немного успокаиваюсь,

вот-вот дорожки закончатся, я уже вижу шоссе и машины, можно будет просто поймать такси, к тому же на работе меня уже не ждут, и я могу спокойно сделать все, о чем договаривался с заказчиком. Несмотря на то, что досада не покидает меня, где-то в глубине души я уверен, что успею. Ведь всегда есть программа максимум и программа минимум. При определенном усилии программу минимум уж я точно выполню, и заказчик ничего не заметит. И я начинаю перебирать мысленно пункты, которые выполнить необходимо. А, развязался шнурок, не удается схватить лохматые концы, потом обнаруживаю, что надо перешнуровать все заново, иначе не смогу бежать, а бежать надо, а то не успею. Досада растет, но вот я уже бегу по анфиладам комнат ("бегу"! да я же еле передвигаюсь, хотя сердце стучит на разрыв), батюшки, какое все затхлое, и потолок низкий, никогда не замечал. А эта круглая комната, она откуда? Ах, это же та комната, до которой все не доходят руки и которую подспудно я все время хочу, наконец, прибрать, ведь там мои давние, еще детские, вещи. Дорогой моему и только моему сердцу хлам из родных мест. Да, это та заброшенная комната, я сразу ее вспомнил и в то же время смотрю на всё новым взглядом, как бы со стороны. Каждый предмет здесь знаком мне и дорог, но какая же странная конфигурация, вот не замечал никогда. Я не торопясь, внимательно оглядываю комнату по периметру шестиугольника. Окон нет, потолок скошен и пол с выбоинами, там, в углу, уходит вниз. Видимо, там скапливается влага и поэтому такой запах. Затхло, страшно душно.

Но что же я стою чурбаном, ведь мне совершенно необходимо, кровь из носу, сделать еще и это, еще и то...

Ната со своего места ясно видит, что на чуть повернутом, белом, как бумага на письменном столе, лице застыла струйка алой крови. Она уже все поняла, но не проговорила про себя, отгоняя. Подошла, тронула руку пониже плеча, и старик стал медленно падать, опускаться на пол. Он был большой и грузный, поэтому нечего было и думать подхватить его. И хотя Ната, не осознав, почувствовала, что его рука была холоднее, чем ее пальцы, она увидела, не веря глазам, что тело старика, заваливаясь, не просто распласталось на полу, а на мгновение его очертания исказились так, будто оно вдавливалось в каменные плитки.

Вдавливаясь и вдыхая, я закрываю глаза, отключаю слух. Пусть думают, что я заснул, в последнее время меня всё упрекают в том, что я путаю день с ночью и сплю слишком много.

Приходят мои друзья, мои знакомые, приходят толпами и ведут себя со мной, как с больным. Это написано у них на лбу, они не спорят со мной, не рассказывают новости (ведь новости всегда ужасны), не ссорятся между собой, как бывало, когда они насканивали друг на друга, одним глазом кося на меня: а ну, кто прав? Нет, теперь они стоят рядом со мной тихо, опустив голову, и я поражаюсь как же их много, моих друзей, с которыми я давным давно разорвал все связи, усердно трудясь над этим разрушением. Они стоят рядами, плотно, как только комната вместила их?

Душно страшно, и поэтому я пытаюсь угадать трещинку, щелочку в стенке или в полу. В нос бьют запахи камня и железа, я задерживаю дыхание, как только могу, а потом вдыхаю тихонько, подспудно, животом. И начинаю издалека ощущать мокрую, теплую всегда землю. Мышцы согреваются, расслабляются. Лёгкие расправляются, воздух беспрепятственно входит в меня. Я напитываюсь воздухом, исторгнутым из растений, насекомых, и даже смрад дыхания хищников наполняет меня легкостью, напитывая напрямую каждую клеточку моего тела.

И я вижу зрением памяти круглый стол на нашей большой кухне, вся семья сидит за столом, отец читает вслух книгу, мы пьем чай. Я вглядываюсь в зеркало буфета, стоящего как раз напротив моего места, но в зеркале отражаются клочья тумана. Тогда я перевожу взгляд на своих родных и по очереди, внимательно оглядываю папу, маму, бабулю и сестренку, каждую их родинку, каждый жест. От них ко мне идет мощная волна тепла. Нет, не только от них, моих родных. С другой стороны тоже идет волна тепла, там стоят, понуриив головы, те, кто пришел меня навестить. Они стоят рядами, плотно, как только комната вместила их...

...мой взгляд не дотягивается до конца этой толпы, стоящей между песчаными холмиками под низким осенним небом.

Я закрываю глаза, отключаю слух, пусть думают, что я заснул, но я не сплю, я мысленно напрягаюсь, выпитывая образ каждого из них внутренним взором. Им страшно, они плачут. Ещё бы, ведь

они такие нежные, уязвимые, как капли. Я улыбаюсь их страху и умиляюсь их слезам. Немножко терпения, и вы придете по своей дорожке к океану. Мне хочется успокоить их, утешить, но я не могу сказать ничего, кроме слова “океан”, и это может, наоборот, напугать. А для меня теперь слово “океан” – песчинка. Или секунда?..

«ВЕДЬМА НА ИОРДАНЕ»

такого вы еще не читали

Израильский прозаик Яков Шехтер уверенно вошел в еврейскую литературу в конце XX века, заняв место рядом с Ш.-Й. Агноном и Исааком Башевисом Зингером.

На страницах книг Шехтера герои талмудических дискуссий встречаются с «инкарни-рованными» персонажами Набокова, Бунина, Умберто Эко и других.

Подчас это создает удивительные столкновения, параллели и конфликты, ранее не ведомые еврейской литературе.

В рассказах и повестях сборника «Ведьма на Иордане», выпущенного издательством «Книжники», обыденное и житейское нередко пронизано гротеском и соседствует с мистикой каббалы.

Поистине новаторским является стремление писателя решить теологическую задачу - увидеть Высшее присутствие в столкновении и переплетении человеческих судеб.

Книгу можно заказать на сайте издательства, в разделе «Проза еврейской жизни»

Инна Шейхатович

ХОРОВАЯ ЭЛЕГИЯ

Городок был сонный, вязкий, сам себе не нужный. По площади ходили куры, в палисадниках качались брезгливо-сморщенные желтые георгины. Бессильно, прохладно журчали допотопные поливалки. Чахлые деревья, что подпирали стены неуклюжей гостиницы, казались натканными в неласковую землю прутиками. Листья, измученные хулиганскими порывами ветра, были сухими и пыльными. Занавески на гостиничных окнах давно утратили парадную синеву, а лицо администратора напоминало прокисшую кашу. Люди вышли из автобуса, вежливо и равнодушно роняя «мило», «по крайней мере – зелено». И одно, и другое утверждение были неправдой. Хористы перетасили в старое приземистое здание большой кофр с нотами, побросали на ступеньки свои чемоданы и сумки. Измученный непростой жизнью гостиничный горчичный ковер напоминал о бренности и вынужденной скромности. Со стены взирали губернатор, местные знаменитости, прошлогодние вундеркинды.

Алиса сказала солистке Богатовой: «Я такой убогости не видела давно!» Богатова презрительно и гордо промолчала. И Алиса пошла, звякая ключами, вверх по лестнице к комнате, которую взяла себе. Не жить ведь директору с хористами... Хормейстер Друбис проводил ее деланно-приветливым взглядом. Музыковед Влада пробежала глазами рекламный щит. Богатова хмуро пожалла плечами: «Хорошо быть бессовестной, эгоисткой, никаких моральных проблем – и спишь прекрасно!» Она имела в виду Алису. Алиса была директором, работала в капелле по недоразумению. Музыку не любила, певцов считала несчастными, убогими людьми, с подругами делилась своими наблюдениями: «Они могут сжечь целый гостиничный этаж своими долбаными кипя-

тильниками, забыть в поезде фрак, облить ноты супом из пакета, но все знают про то, почему Хворостовский не гений»... Алиса была очень хороша собой: золотая стрижка, походка королевы, талия, заслуживающая восторга и подражания, горделивые жесты, чуть презрительно сжатые пухлые губки... Друбис тихонько вздыхал, вспоминая эти губы, и упругий бархатный овал щеки, и янтарь ее карих глаз. Но подойти к ней, разумеется, боялся. Алиса вела себя, как первая леди капеллы – и все с этим смирились. Влада была во всем анти-Алисой: у нее были длинные жесткие темные волосы, широкий стан и пухлые колени. Она не умела командовать, всегда за что-то извинялась, вечно всем дарила что-то бесполезное, терзалась беспричинной и тяжелой тревогой.

Но когда она говорила, хотелось запеть. А говорила она о белых снегах и звоне капли в музыке Баха, о хоре колоколов Рахманинова, о знаменном распеве, о народных песнях. И все это было ее землей, ее миром, будто композиторы и дирижеры составляли ее родню, семью, предмет личной гордости. И хор, разумеется, тоже был ее миром, ее домом. И пел он, как выходило из ее жизни и эмоций, для нее. И пел много, часто вполне прилично, ездил по периферии, готовил программы для юбилейных дат и праздников. Хористы вяло переходили от безучастности и лени, жевания сухешек и поисков дешевых товаров в местных лавках к странному состоянию взлета. Когда их всех вместе накрывала родниковая вода музыки, когда отступало все – склоки, безденежье, зависть. Когда больше не было каждого в отдельности. И они были все вместе. И тогда ни жалоб, ни подначивания, а только неясная, пробивающаяся из ниоткуда, выскальзывающая из темного облака быта и перепалок, из данной каждому прозаичной мозаики «потом», «возможно», «не сейчас» вероятность красоты. Алиса в своем струящемся чем-то (на ней все вещи выглядели так, будто обрели утраченную родину) сидела в зале с видом застрявшей на вокзальном полустанке королевы. Благоклонно кивала. Влада в такие минуты очарованно слушала хор, ловила каждый звук, каждую ноту – и плыла по цветной волшебной реке.

– Ты здесь?

Так приветствовала Алиса телевизор, примостившийся в уголке у окна. Телевизор не ответил, и Алиса, нажав на кнопку

включения, разложила на прикроватном столике масштабную косметику.

«Люблю, чтобы с мной что-то разговаривало», – сказала она сама себе. Открыла яркий чемоданчик, начала раскладывать вещи. В дверь постучали. «Бегу-бегу», – откликнулась Алиса, не прерывая свое занятие. Хормейстер Друбис робко потоптался на пороге, спросил «как устроилась», предложил кофе. Алиса гордо пожала плечами: «Как тут устроишься... Что вы будете петь на концерте – ты уже знаешь?» Он знал. В этом городе они давно не выступали, опасности повториться практически не было. Алиса равнодушно послушала список того, что они будут исполнять. Бросила: «Пойте, что хотите, только чтобы публика не уснула».

Друбис преувеличенно-взволнованно парировал:

«Мы споем, хорошо споем, мы это умеем, а будет кому?» Алиса внимательно рассмотрела какую-то кружевную штучку, разгладила невидимые глазу морщинки. Приложила к розовой тряпочке ожерелье с алыми камнями. Все вместе приложила к себе. Задумчиво взвесила результат.

«Все будет в порядке, – я лично занималась организацией зрителя». Друбис кивнул. Повторил свой вопрос по поводу кофе. Алиса посмотрела на него. Высокий, темноглазый, немного ресейанный и неизменно вежливый со всеми, от директора филармонии до уборщицы, он был грезой всех хористок, а Алиса точно знала: с такой зарплатой мужчина ей не может быть интересен... Она видела, как ладно обтекает его широкие плечи фрак, как сияют его глаза, почти уважительно воспринимала его увлеченность, странную привычку всегда слушать музыку и – говорила себе «нет, бедность не входит в мою жизненную программу, пусть найдет мешок денег, тогда, может быть...» Сейчас она почти с удовольствием отметила его робость, и мягкий хороший свитер, и то, что он намного выше ее, и ей приходится, разговаривая с ним, высоко запрокидывать голову. «Как твоя соната с Бутликовой?» – спросила она. Бутликова, пианистка хора, была вечно растрепанной, чуть неопрятной, резвой, скорой на острое словцо, никогда не было ясно, что она думает, зато всегда было очевидно, что она не прочь развеяться и расслабиться. Она громко смеялась, громко играла на рояле, без стеснения прилюдно ругала своего мужа. Друбис посмотрел в сторону. «Ничего. Все ничего. И потом, лезть

в чужие дела не очень красиво. Ты знаешь об этом?» Она засмеялась, отбросила ожерелье. Подошла к нему. «Витька, мы так давно знакомы, так много черствого хорошего хлеба вместе съели, так хорошо друг к другу относимся... Да трахайся ты с ней на здоровье, ей все равно, тебе ничего от этого не будет, только Владку не трогай, не волнуй ее, – это другой сорт ботинок, тут не выйдет просто, тут больно будет...» – «Кому?» Он не смотрел на Алису. Алиса опять взяла что-то из чемодана, тихо проворчала «и чего я везла наряды, зачем это все тут надо...» Он повторил: «Кому будет больно?» Алиса развела руками: «Ей, конечно, кому же еще?». Он похлопал ее по плечу, сказал «спасибо, и помни: соната – это никак не для хора. И – не для дуэта...» Алиса удивленно подняла брови: «Да? Что ты говоришь? Надо же. Я учту. Хотя я не хормейстер, а юрист, мне простительно. Ты про Владку все понял?»

Он ушел, а она продолжила досмотр своего имущества.

Хористы в то время, которое оставалось до начала концерта, слонялись по пустынным улицам, изучали пыльные витрины универмага. Играли в домино. Что-то обсуждали – и жаловались на жизнь. Это у них получалось очень качественно, эффектно и убедительно.

Даже музыкально. В сопраново-журчащую линию голоса Богатовой вплетались нотки альтовых фраз, островки гудения баса – профундо, отрывистые реплики теноров. Люди из хора музыкально рокотали в холле и на крыльце гостиницы.

...Вечером завтрашнего дня случилось то, ради чего они ехали сюда, репетировали. Жевали подсохшие бутерброды, глотали ритуальную жижу безвкусного дорожного кофе. Ютились в тесных гостиничных комнатах с пыльными шторами и тусклыми несчастными зеркалами. Случился концерт. Хор выплыл на скрипучую затоптанную сцену, привычно застыл полукругом, зашелестели ноты. Друбис вышел, поклонился, глянул в темный, будто сыроватый зал. Там были считанные зрители. Он кивнул хористам – и дал ауфтакт. Голоса понеслись, тронули стены и потолок, хор звучал, как грозовой лес. После первого номера вышла Влада. Она была в черном, как всегда волновалась, как всегда знала материал на сто процентов. Она начала с притчи. Про царя Соломона и художников. Друбис знал эту притчу, слышал ее не раз, но поймал себя на том, что вол-

нуется, с трепетом ждет развязки, хочет, чтобы в зале люди тоже чувствовали волнение. «Прекрасное отражается в чистоте», – просто и светло закончила рассказ про мудрого царя Влада. Она говорила не просто красиво, она говорила всем сердцем.

Ее глаза сияли, будто в этом затрапезном зале с трескучими половицами ей выдали билет в страну счастья. Она была вся обращена к залу и хору и говорила как артистам, так и каждому сидящему в темном провале у подножия сцены. Ее голос был мелодичным и сильным, ласковым. Можно было подумать, что это самое главное, самое существенное в мире на этом этапе происходило с ней, с музыкой, которую она предлагала послушать, с людьми, которых судьба привела на этот концерт. Хор пел Рахманинова и Чайковского. Пел стройно и чисто. Вдохновенно. Что-то сдвинулось, стало ярче и яснее. Виктор Друбис дирижировал – заново, как впервые, будто никогда прежде этого с ним не было, переживал каждый мелодический ход, и с каждым жестом все больше ощущал власть над залом, слияние с каждым своим певцом, понимание того, что такое бывает редко, и что такие мгновения необходимо ценить. Встречаясь на аплодисментах за кулисами с взволнованной, зачарованной Владой, он понимал, что красивее и могущественнее, чем она сейчас, невозможно быть. «Поем Свиридова», – бросил он ей. Она взглянула восторженно, кивнула. Будто он позвал ее в сказку. Предложил круиз на белом лайнере. Хотя он не был уверен в том, что она предпочла бы лайнер их концертам с капеллой. Друбис знал, чувствовал, что она в него влюблена. Что ищет его глазами в филармонических вестибюлях, в поездках, в столовках, где они ели вечные сосиски с макаронами, или кашей, или салатом из вялых, утративших цвет огурцов. Она редко садилась с ним рядом, редко подходила близко. Будто боялась обжечься. Ему было и лестно, и тревожно от этих ее странно-замерзающих взглядов, огромных глаз, нежного пунцового румянца, который начинал пылать на ее скулах, когда она к нему обращалась. Она разговаривала с ним – а сама будто плыла, чуть покачиваясь, в светлом облаке. Он был занят, все время куда-то мчался, пытался угодить теще и жене, искал какие-то варианты, чтобы торопливо и потно помять влажные плечи шумной Бутликовой, после свидания с ней всегда чувствовал себя разбитым, недовольным, раздраженным.

Но почему-то снова и снова встречался с ней, слушал ее глупости, пытался сочувствовать ее разборкам с мужем, не раздражаться ее вульгарным словечкам, ее полному равнодушию ко всему, включая музыку, капеллу и его самого. Повезло, думал он про себя. Она не требует внимания, не признается в любви, не отягощает его совесть и жизнь. Она удобная, беззастенчивая, равнодушная, никакая...

Концерт шел, неся, немногочисленные зрители громко и тепло аплодировали. После «бисов», которые Влада подала особенно изобретательно и ярко, к нему за сцену пришла немолодая женщина, она схватила его за руки и запричитала:

– Миленький, как же вы поете складно, сердце просто болит! Душевно поете! И жалко, что людей в зале совсем небогато было! В другой раз мы уж соберемся, все придем, мы вас не заставим петь в пустом зале! А эта ваша, которая говорит, черненькая, ну мастерица, ну, умница! Я таких и не слышала в жизни! И все-то она знает, и так все объясняет!

Он вежливо улыбнулся, поблагодарил, подумал о том, что эти слова не добавят капелле ни денег, ни авторитета, пожал даме руку, сказал «спасибо, что пришли». В эту минуту он думал о том, что такой удачный концерт пропал зря, билетов было продано мало, а это явный убыток, учитывая затраты на поездку и гостиницу. И что Алиса опять ничего нормально не смогла организовать. Он пошел ее искать, чтобы по горячим следам, сразу после пережитого волнения и аплодисментов, поинтересоваться тем, как она объяснит пустоту зала.

Идя по коридору дома культуры, он услышал тихий и злой знакомый голос, Алиса говорила по телефону. Дверь в кабинет администратора была приоткрыта, и до него донеслось: «Да! Я знаю, что она остается без матери! Но я не могу не работать! И что с того, что ты помогаешь?! И я могу на это жить? Брось ты свои угрозы, слышишь? Я не могу сидеть с ней дома, и не хочу, и не буду! Я еще жива, я хочу к людям! А тебя ненавижу! Как меня угрозило родить ребенка от такого уroda? Господи Боже...»

Ее голос сорвался, она заплакала, Виктор быстро, пока его не заметили, прошел вперед, завернул за угол. Бутликова выросла перед ним внезапно, резко схватила его за руку, шумно выдохнула: «Ничего прошло, а? Зря пели три «биса», кому это тут надо? Ты

придешь? Я в 101-ом, Кретинкина ушла, не вернется ночевать, у нее тут двоюродная сестра...» « А ты откуда знала, что у нее тут сестра? Еще до поездки знала? И специально с ней поселилась? Да?» Бутликова заморгала, растерянно подняла руки: «И – что? Разве это плохо? Что с тобой сегодня?» С ним ничего такого не было. Он знал, что сорвался зря, что устал, расстроен, что просто так, ни за что пропал хороший концерт. Что после опьянения музыкой пришла минута истины. И что Алиса с ее роскошными нарядами, высоко поднятой головой и золотом волос просто очень одинока и несчастна...И что ему не нужна, не интересна эта крикливая недалекая женщина. Он вынырнул из музыки – и отчетливо это понял. И еще понял, что хоровое пение, в котором никто ни бельмеса не смыслит, стало с легкой руки Булгакова анекдотом и ругательством. Он неловко обошел Бутликову и пошел прочь. Автос, чтобы ехать в гостиницу, уже ждал.

Ехали весело и грустно, смеялись, вздыхали, переживали недавний концерт. Отшучивались: «Ребята, все хорошо, мы для элиты работаем!»

Потом Виктор Друбис шел по гостиничному коридору, думал о том, как ему нравится его профессия, и как много боли она ему доставляет, как трудно жить на маленькую зарплату – и про прочую дребедень. Ему хотелось чаю, и тихого разговора, и объятий в темноте, когда за окнами умиротворенная ночь, и все на вчера завершено, и все на завтра еще в тумане, и ничего не давит тревогой, и ничего нет важнее этих минут...За дверью одного из номеров засмеялись, бессильно и лукаво. Хористы, усталые и потемневшие, как перегоревшие лампочки, разбрелись по комнатам. Кто-то искал у соседней хлеб для позднего походного ужина, кто-то искал выпить. Кому-то было необходимо поговорить. Чтобы не замолчать в пустоте до утра.

Влада стояла в коридоре, уронив к ногам мешок с концертным нарядом. Виктор никогда не мог вспомнить, в чем она выходит на сцену. Знал, что она переодевается вместе с хористками, что филармония шила ей какую-то концертную одежду. А видел всегда только ее глаза, диковато-горячие, цвета только что заваренного блестящего чая, и думал, что ей никакие моды-бренды не нужны, она всегда будет вне этого. Одинокая, вызывающе начитанная, тонкая, острая в суждениях. Полноватая, округлая, с красивым голосом.

«Было хорошо...все, кажется, получилось...»– он сказал это, проходя мимо нее, она не то улыбнулась, не то сделала гримасу. Виктор повторил: «Было хорошо. И большая заслуга в этом твоя». Она странно и нервно повела плечами («да ладно, что уж там»), тронула его руку. То ли поблагодарила, то ли утешала. Тут он неожиданно взял ее за локоть и подтолкнул к своей двери, которая была недалеко. Какой-то порыв, похожий на внезапное форте среди тишины, вел его. Он даже сам не очень понимал, что и зачем делает. «Зачем, куда» – неуверенно выдохнула она. Он молча повернул ключ в замке, не оглядываясь на коридор, в котором вполне могли оказаться его хористы и видеть его, и как-то комментировать, толкнул Владу и вошел вслед за ней. Темнота покорно и тихо окружила их, и он понял, что только что именно такая картина ему представлялась. Влада обернулась, а он сильно и без слов притянул ее к себе, скользнул губами, нашел ее губы. Она не отстранилась. Он целовал ее щеки, шею, ощупью нашел пуговицы, кнопки, что-то треснуло, он целовал грудь, плечи, понял, что она отвечает, что она тоже его целует, путается в пуговицах, что именно такой тихий стон он себе представлял, и что она тоже хочет, давно, отчаянно. В дверь все время стучали, командный голос Алисы объяснял: «Наш звездный хормейстер изволил где-то застрять...Потом найдем!» Певцы шутили, снова стучали в его дверь, думая, что его в номере нет, роняли реплики типа «отправился проверить качество местной бани», или «завел себе здешнюю секс-бомбу, неужели ту пегенькую официанточку из ресторана, где мы обедали». Виктор и слышал, и не слышал. Он дышал ароматом темных густых волос, накручивал их на ладонь, зарывал в них лицо, чувствовал, как счастливо и покорно исследовали его ее губы, она была деликатной и беззастенчивой одновременно, ее тело будто говорило, вдохновенно и безошибочно. Она что-то шептала в его шею, в грудь, в ухо– и он был уверен, что согласен, что разделяет все то, что она думает и чувствует.

Ночь текла черной рекой, расшитой алмазами звезд. На столе в вазе стоял букет георгин. Их пышные короны никли на фоне окна. «Красивые...Цветы короткого дня», – то ли ему, то ли себе сказала Влада. «Кто-то, кто жил в этой комнате до меня, оставил», – сказал он. Виктор знал, что ночь будет мгновением, что утро нагрянет резко и без предупреждений. Он почти с тоской бросал

взгляд на постепенно светлеющий сухой палисадник за стеклом и снова нырял в теплое и благодарное тело, в странную и еще вчера чужую женщину.

Они немного поспали, не расплетая рук. Когда в комнате было так светло, что шкаф, столик под телевизором, мешок с одеждой, брошенный Владой на пол, можно было различить, она встала. Бесшумно исчезла в ванной. Ему не хотелось, чтобы она уходила, хотелось, чтобы она была всегда, с этим ее шепотом, и теплой волной волос, и чудесными коленками, которые вызывали в нем умиление и возбуждали. Скрипнула дверь номера. Ушла. «Только не привязываться... Только не привязываться», – благоразумно подумал он. Нельзя.

После завтрака и сокращенного, формального концерта в музыкальной школе, погрузились в автобус. Богатова резко высказалась о качестве пищи в гостиничном ресторане. Ей подхмыкнули и поддакнули. Бутликова зло сверкнула глазами: «А некоторые, самые главные и важные, бегают ночью в село – и что там им интересно?» Виктор молчал. Автобус качался в легком плаще золотистой пыли. Хористы пели, играли в карты, ждали возвращения домой. Виктор с утра не видел Владу, школьный концерт шел без нее, так было оговорено с дирекцией. Сейчас она просто и без выражения кивнула ему, села подальше, в самом конце салона. Он услышал, как она сказала: «Они гениально слушали вчера, я думаю, такое бывает раз в жизни...» «У них?» – высоко выдохнул кто-то из теноров. «У нас, больше счастливы творящие, хотя и взять частичку творчества – счастье!» Виктор достал партитуру, погрузился в ноты. Скорее, чтобы не приставали с разговорами, чем по необходимости.

«Жена просила привезти мед, черт, забыл, как же я забыл...» – мелькнуло у него, когда они выехали за пределы городка. В садиках солнце жгло георгины, такие же, как остались умирать в его гостиничном номере.

Максим Жуков

П-М-К

Я купил его себе в утешение. Себе и своей сердобольной первой жене. Больница, где отдавал богу душу мой дед, находилась в районе «Таганки», неподалеку от птичьего рынка. Жене он понравился сразу: мягкий, пушистый, как ангорка... А по мне – хомяк как хомяк, разве что с «крыльями» по бокам – маленькие такие кисточки чистого белого цвета, якобы признак высокой породы и элитарности. Короче, на два рубля дороже вышло. Черт с ними, с рублями, после больницы, где я два с лишним часа лицезрел, как баба Рая разговаривает с моим дедом, лежащим без сознания, в параличе, как гладит его по голове, время от времени осторожно откидывая одеяло и проверяя, не переполнился ли целлофановый пакет, приложенный между его ног... В общем, хомяк был хорошим успокаивающим средством: теплый, пушистый, живой.

Баба Рая не была мне родной бабкой. Дед женился второй раз, лет семь назад, на соседке по лестничной площадке, женщине относительно молодой и хозяйственной. Дед мой был тот еще гондон. С придирчивым характером, домостроевским образом мышления и советским взглядом на жизнь, основательно потрепавший нервы своему сыну (моему отцу) и моей родной бабке. Царствие ей небесное.

Деда я любил. Очень. Да и он меня, кстати, тоже. Знаете, как это бывает: что стар, что млад... Внуков всегда любят больше своих детей. Парадокс, но факт. И внуки отвечают, как правило, взаимностью...

На клетку или террариум денег у меня тогда не хватило. Я раздобыл пятилитровую банку из-под болгарских маринованных огурцов, бросил туда передовицу «Масонского Жидомольца», из которой, предварительно разделав ее острыми зубками, хомяк

понастроил себе всяких тайничков и лабазов, куда потом складывал разную снедь, начиная от чипсов и заканчивая кусками мелко наломанных макарон.

Хомяк жрал все. Все, что дадут. Но жена сделала его «добровольно-принудительно» вегетарианцем. Чтобы не кусался. Кусался он, правда, один черт. Я глубоко убежден, что состав пищи почти не влияет на агрессивное поведение живущих на земле существ – будь то человек, хомяк или какая-либо другая скотина. Хотя в нашей православной традиции – страсти человеческие постом усмирять. Только все это, как говорит моя мама (убежденная атеистка, кстати), плешь-муде-кронштейн. И я с ней целиком и полностью согласен. Хотя до сих пор не знаю, что за «плешь», какие такие «муде», и при чем здесь неизвестно откуда взявшийся «кронштейн».... Ну да ладно.

Дед вскорости умер, как говорится, не приходя в сознание. Чинно и благородно, не затянув процесс расставания на долгие годы. В данном случае (в случае обширного инсульта) быстрая смерть – хорошая смерть.

Жалко, что у нас запрещена эвтаназия. И странно, что церковь (РП) является одной из самых яростных противниц этого, на мой взгляд, богоугодного дела. Спаситель наш, правда, будучи распятым, о милости сей, насколько я помню, с креста не просил... но, думаю, был несказанно обрадован, когда измученный пустынным зноем солдат, отмахиваясь от жалящих слепней и оводов, ударил ему в грудь тяжеловесным римским копьём.

Ну, не просил – и не просил. У нас даже если и попросишь – никто не поможет; и не потому что Бога боятся, а потому что уголовной ответственности опасаются. А ты лежи с мутным взором, пускай слюни на подушку, ходи под себя, выслушивая рефлекторный мат санитарок и глубокие вздохи вконец одуревшей от тебя родни...

– Как животину твою оголтелую назовем? – моя первая жена всегда выражалась несколько витиевато.

– Почему мою? Вместе ведь покупали... И почему оголтелую?

– Кусается потому что, как псина цепная.

– Вот и назови его, пидора, Тузик, и скажи спасибо, что не лает да не рычит.

– Уж лучше бы рычал. Все-таки какое-никакое предупреждение. А то – цоп исподтишка за палец и в «жидомольца» своего с головой – как Калигула какой-нибудь под стол во время вооруженного переворота...

– А ты пальцы к нему в банку не суй. И Светония на досуге перечитай: прятался, по-моему, в момент «вооруженного переворота» Клавдий, и не под стол, а за занавеску в дверном проеме, когда Калигулу по соседству заговорщики на куски резали.

– Все равно... Но Клавдий – не звучит как-то. Пусть лучше будет Калигула. Мне так больше нравится.

– Ну, Калигула – так Калигула...

Два дня перед похоронами были чуть ли не самыми тяжелыми в моей жизни. В моральном плане, конечно. Бесконечная беготня по государственным учреждениям, ритуальным конторам, закупка продуктов и спиртного, обзвон всех ближайших родственников, друзей и однополчан. (Какое смешное слово – «однополчане». Помнится, во времена моей юности так шутивно называли не способных бросить две «палки» кряду мужиков.) Песня еще такая была:

Где же вы теперь,
друзья «аднапалчане»,
боевые спутники мои?

Гурченко, кажется, пела... Впрочем, мне было не до смеха. К тому же дед на самом деле воевал, имел орден «Красной Звезды», медаль «За отвагу» и звание старшего лейтенанта.

Его однополчане, кстати, и заказали через какую-то ветеранскую организацию пару венков с надписями на лентах: «Боевому другу от...» и «Искренне скорбим о безвременном ушедшем от нас...», и так далее, и тому подобное. Но это еще не все. Они хлопотали в какой-то заштатной филармонии (ни у кого, кстати, толком не спросив) «духовой оркестр»: квартет сплоченных фанатичной любовью к алкоголю и изрядно потрепанных жизнью музыкантов. О боги мои, боги! Даю бесплатный совет: никогда, слышите, никогда не приглашайте этих мудаков с дудками ни на одно серьезное мероприятие в вашей жизни! Я всегда поражался тому, насколько сильно музыка может повлиять на нервно-психо-

логическое состояние человека. Казалось бы, что такого: несколько воловьих жил (или стальных, как сейчас), натянутых на кусок полой древесины, и какая-то густо покрашенная блядь, томно перебирая ноготками, вступает после третьего аккорда:

Я ехала домой.
Душа была полна...

И всё, писец! Я весь вниманье, весь я слух. И если бы я даже не знал языка и не симпатизировал этой покрашенной, с позволения сказать, исполнительнице, меня бы все равно цепануло... Я уверен: магия звуков гораздо выше магии красок и слов. А тут, представляете, три с духовыми и один с ударными...

За похоронными заботами, за беготней, за решением всяческих организационных задач душевная боль как-то притупляется, становится глуше, уходит на задний план. Деда уже не вернешь, значит, надо терпеть, свыкаться, приспособливаться к этой жизни без его дурацких (и не очень) восклицаний типа: «Молчи! Молчи! Ты как... о Леониде Ильиче говоришь?! Ну-ка – цыц! Посадят тебя, дурака разговорчивого...»

Когда гроб, выставив его предварительно на полчаса у подъезда для прощания, подняли и понесли, продвигаясь в сторону припаркованного неподалеку автобуса с надписью «ритуальный», мне в спину, словно гром среди ясного неба, долбанул начатый откуда-то с середины, с фальшивыми нотками и придыханием, похоронный марш. Кое-как сдерживаемые слезы после надрывного причитания бабы Раи над гробом тут же прорвались наружу и потекли неостановимым уже потоком по моим щекам. Мне было неприятно, что меня видят в таком состоянии. Подумают еще: «Ну вот, внук-то у Федора Ивановича нажрался уже...» А я, как говорится, ни в одном глазу... Во всем виновата музыка, конечно, и эти гребаные ветераны, дружно заполнившие второй автобус, чтобы проводить своего однопольчанина в последний путь.

Единственное, что хоть как-то помогло унять мои рыдания, – молодая мамаша из соседнего дома, движимая любопытством, подкатившая коляску со своим малышом к месту прощания. Я увидел ее уже из салона автобуса. Ребенок, оглушенный музыкой и обделенный на миг вниманием со стороны своей матери, стоял в

коляске по стойке «смирно» и тоже, как часть «проводящих», медленно плакал. Медленно и молча. Это зрелище меня, как ни странно, слегка успокоило, я еще вспомнил строки одного талантливого поэта:

Собралась воронья стая
со всего микрорайона.
Сын в коляске едет стоя,
как министр обороны...

Полегчало. Почти до самого кладбища...

Не прошло и полгода после того, как деда кремировали. (О гигиенической пользе этого малоприятного мероприятия он, будучи в приличном подпитии, любил порассуждать в особо грубой и циничной форме; о чем, конечно, распространяться здесь я не считаю нужным).

Кличка Калигула, данная моей женой нашему хомячку, прижилась только наполовину. В домашнем обиходе мы его стали называть просто Гай, как, впрочем, если верить историческим справкам, в дворцовом обиходе звали самого Калигулу. Жил он все так же – в пятилитровой стеклянной банке из-под маринованных огурцов. Молодости всегда, как правило, сопутствует безденежье – печально, но факт.

«В минуту жизни трудную», когда подступала грусть и наваливались мрачные воспоминания, я брал в гастрономе «чекушку» и пачку кукурузных хлопьев; как закуска они, конечно, почти не шли, но не было большего развлечения, чем, махнув сотку, бросить в банку хомячку пару катышков этой дряни. Даже если он спал (а спать он любил еще больше, чем жрать), он тут же просыпался и накидывался с умопомрачительной жадностью на эту откровенную профанацию съестного: немного кукурузной муки, консерванты, пищевой краситель и вкусовые добавки. Присыпанная небольшим количеством сахарной пудры пустота. После молниеносного броска голова Гая моментально превращалась в объемный пушистый шарик. Глаза, и без того малюсенькие, сжимались до размера еле различимых хитрющих щелочек; все, что не помещалось во рту, он загребал под себя и замирал в радостном экстазе, как пятиклассник, кончивший на разворот стыренного у родителей порножурнала.

Глядя на эту меховую иллюстрацию животной глупости и сладострастия, я частенько вспоминал слова покойного деда, не раз сказанные им накануне моей поспешной и малооправданной, на его взгляд, свадьбы:

– Рано. Рано, внучек, женишься. Только из армии пришел. Не нагулялся еще...

Баба Рая при этом тихо вздыхала и, как правило, ретировалась на кухню. Я не возражал. Зачем? И так все ясно. А спорить с ним не имело ни малейшего смысла. Он всегда оставался при своем мнении...

Не прошло и двух лет после того, как я, «испачкав паспорт», поселил свою ненаглядную в нашу (совместно с матерью) малогабаритную «двушку» и начал постигать «науку сложную супружеских измен» (как говорится: жена – женой, а разнообразия хочется).

Вскорости возникли первые проблемы: несовпадение привычек, несовместимость характеров (две хозяйки на одной кухне) и моя патологическая склонность к блядству, в самой худшей его, в самой «неразборчивой» форме.

Нам с женой как-то быстро стало неинтересно вместе. А порой даже смертельно скучно и муторно.

Задним числом вынужден признать: дед оказался прав. Я поторопился. Неоправданно глупо поспешил, как Калигула, набравший полный рот сладкой и фальшивой пустоты, в искреннем убеждении, что делает очень вкусные и высококалорийные, а главное, крайне необходимые ему на данный момент запасы...

Так мы и жили: я с воспоминаниями и чекушкой, хомяк – с курузными хлопьями за раздувшимися щеками, и жена... Она вообще жила какой-то своей полуотдельной журналистской жизнью (стажировалась в «Совраске»), и когда ее спрашивали мои «куртуазные» друзья: «Где изволите горбатиться, сударыня?» – она с гордостью отвечала: «В газете “Советская Россия”, мессир».

Абзац – полный.

Но жизнь не стоит на месте. Все в ней, говорят, повторяется, как минимум, дважды: один раз – как трагедия, второй раз – как фарс. Я не уверен, что изложенный мною ниже случай можно воспринять как фарс, но что-то гротескное в нем, безусловно, просматривается...

Начну по порядку. Лето в том году было жарким. Очень жарким. И хотя август-месяц подходил к концу, парило невыносимо. В тот день меня вызвали на работу. В мой законный выходной. Произошел какой-то сбой в графике дежурств. В общем, надо было отлучиться на пару часов.

Уходя из дома, я постучал по банке с хомяком. Хомяк недовольно зашевелился, поводит мордой и зарылся поглубже в газетную труху. Это было странно. Обычно он после пробудки сразу же начинал просить жрать... Я склонил лицо к краю банки, чтобы посмотреть, не заболел ли наш питомец, и тут же мне в нос ударил резкий запах застарелого хомячьего помета. Все понятно. Я бы от такого запаха тоже приуныл.

Уже в дверях я многозначительно указал на банку говорящей по телефону жене и жестами дал понять, что неплохо было бы заняться бедным Гаем и навести у него в жилище хотя бы относительный порядок. Жена, продолжая трепаться (с заместителем главного редактора «Совраски», кажется), нагнулась над банкой, понюхала и, брезгливо морщась, выставила ее за окно на небольшой деревянный ящик, приделанный к карнизу со стороны улицы и добротнo обитый оцинкованной жостью, – вещь в хозяйстве абсолютно незаменимая, особенно когда в твоей квартире, расположенной на первом этаже, нет ни лоджии, ни балкона.

День выдался хоть и жарким, но каким-то переменнo-облачным. Солнце то выглядывало из-за туч, то снова в них пряталось. Примерно через час, разобравшись со всеми делами на работе, я попробовал дозвониться жене, сказать, чтобы ждала и приготовила поесть, а то вечно у нее обеда не дождешься... Напрасный труд. Дома сплошняком было занято. После десяти минут бесплодных попыток я попрощался с коллегами и поспешно двинул в сторону дома. На улице как-то распогодилось, тучки растворились, и солнышко стало активно накалять кривой московский асфальт, вот уже несколько десятилетий плохо укладываемый «понаехавшими» из дальних краев разгильдяями.

Когда я открыл входную дверь и увидел жену, все еще оживленно треплущуюся по телефону, я еле сдержался... Ну сколько можно? На самом-то деле. И Калигула, небось, не мыт, не чищен!

Жена показала «викторию» из двух пальцев: все, мол, еще пару минут – и заканчиваю. Это меня несколько успокоило, но лишь до

того момента, пока я не увидел банку с Гаем, выставленную за окно и попавшую под яркие лучи полуденного августовского солнца.

Это был не «полный абзац» и даже не полный писец – это был самый настоящий безжалостный ад законного яростного солнышка.

Оцинкованная жесть. Прозрачное стекло. Открытое место.

Калигула лежал на боку, глаза его были закрыты, шерсть покрылась предсмертной испариной... No comments. Помочь ему было уже нельзя. Я взял банку и осторожно поставил ее на холодильник. Через минуту на кухню вошла, позевывая и потягиваясь, наговорившаяся по телефону жена.

– Алена, подойди ко мне.

– Да ну тебя, мне обед готовить надо...

– Иди, иди. Вот сюда, к подоконнику.

– Это зачем?

– Ну подойди. Подошла, молодец. А теперь вытяни руку за окошко и положи ее на ящик.

– Ой, горячо-то как! А... Кали...

Я снял еще теплую банку с холодильника и поставил перед нею на стол...

Так не плакал даже я на похоронах своего дедушки...

Наполнив стакан водой, я накапал туда валокордина и заставил ее выпить эту херню до самого дна.

– Единственное, что могу добавить, Алена: умер он в страшных мучениях. Прыгал, наверное, перед смертью, как грешник у черта на сковороде... Меньше надо по телефону трепаться с заместителями всякими совраскиных главных редакторов.

– Мне хотят материал серьезный доверить, для статьи... Надо было все обсудить, все выяснить...

– Ну, можешь перезвонить ему и доложить, что у тебя уже есть один «серьезный материал» и даже рабочее название к нему: «Как я зверски замучила и убила Гая Юлия Цезаря (по кличке Калигула) из династии Юлиев-Клавдиев». Не очень длинно, кстати, для передицы?

Тут я бы кое-что уточнил. Два дня назад у нас в гостях побывал один «видный эксперт по грызунам»; и после того, как мы с ним распечатали третью бутылку, он, осмотрев Гая с ног до головы, авторитетно заявил: «А Калигула-то ваш – девочка...»

Я не очень-то ему поверил (на рынке нас полчаса уверяли, что это мальчик), однако жене сказал:

– Вот видишь, если бы мы его Клавдием нарекли – могли бы сейчас хотя бы в Клаву переименовать. А так – что теперь с ним делать?

Что ж, делать теперь действительно было нечего. Я взял банку и отправился к ближайшему от нашего дома мусорному контейнеру. Будем расценивать как несчастный случай. Вот и все дела...

Я видел бабу Раю в последний раз на поминках, через год после смерти деда. Посидели, вспомнили его несносный характер, первые проявления которого, в тайных и загадочных хитросплетениях собственной души, я начал замечать уже с самого раннего детства... На поминках, слава Богу, не было ни дальних родственников, ни суетливых ветеранов, произносящих псевдопатриотические тосты и картинно пускающих «скупую мужскую слезу». Закончилось все мирно. Почти без слез и причитаний.

Потом мы несколько раз говорили с ней по телефону. Она предлагала сходить на кладбище – «проведать деда»; делилась планами переезда с дочкой от первого брака в ближнее Подмосковье. Природа, грибки, ягоды...

Я выразил сомнение в том, что в ближнем Подмосковье сейчас намного лучше с экологией, чем собственно в самой Москве, признался, что развожусь со своей, что развод проходит как-то неорганизованно и нервно, и что в ближайшее время не смогу составить ей компанию.

По-моему, она даже не обиделась.

Ничего не попишешь: мы с ней чужие люди, и то, что нас связывало когда-то, медленно, но верно уходит все дальше и дальше, путаясь в обрывках воспоминаний и выгорая на солнце, как позолоченные буквы на могильной плите в той плохо ухоженной части «Хованского» кладбища, где расположен старенький колумбарий с прахом моего горячо любимого и до сих пор живущего в самых потаенных глубинах моей памяти – деда.

Такой вот плешь-муде-кронштейн.

Исаак Розовский

КОРОТКОЕ ЛЕТО СЭМЮЭЛЯ ФИНКА, ЭСКВАЙРА

Саша, он же – Шмулик, Финк к моменту описываемых событий представлял собой мальчика с виду лет этак восьми, что полностью соответствовало возрасту, указанному в метрике. Он был довольно крупным и полным ребенком, склонным к одышке. Волосы у него были явственно медного цвета в мелких колечках. Большие голубые глаза, всегда широко раскрытые, придавали его довольно пухлому лицу выражение постоянного удивления и некоторой растерянности, обескураженности даже. Как это часто бывает у рыжих, кожа его была очень нежной и белой, а при волнении легко покрывалась красными пятнами. Не самая лучшая кожа для Фрунзе. В отличие от других мальчишек, которые под киргизским солнцем уже в мае загорали до черноты, он под этим же солнцем мгновенно «сгорал». Любой открытый ультрафиолету участок шмуликова тела через несколько минут начинал краснеть, а затем на нем появлялись волдыри и ожоги. По этой причине он всегда, даже в самую жару, ходил в шароварах, в рубашке с длинным рукавом, а голова и лицо оберегались панамкой. Ко всему прочему, Шмулик слегка заикался. Заикание возникло в три года, когда его напугала и покусала-таки соседская собака, оставив ему на память глубокий шрам на правой руке, чуть ниже локтя. Хотя в спокойном состоянии дефект речи был почти незаметен, сводясь к легким и редким запинкам, но в состоянии волнения он проявлялся гораздо сильнее. Тогда его речь становилась затрудненной, а порой, увы, и просто неразборчивой. А волноваться Шмулику приходилось частенько. Вообще, он был ребенком пугливым и нервическим.

Если мы добавим к этому, что семья Финков в социально-экономической иерархии нашей улицы бесспорно занимала первое место (причем, с колоссальным отрывом) и была довольно интеллигентной, а, значит, неукоснительно исповедовала принцип, «что у ребенка должен быть режим», то нетрудно догадаться, что в Шмулике, несмотря на все его попытки их утаить, явственно проглядывали некоторые признаки домашнего воспитания, а, значит, он по определению был «маменькиным сыночком» – характеристика справедливая, но не самая лестная. Словом, среди сверстников – худых, полуголых, черных, вертких, отчаянных и всегда голодных сорви-голов – он являл собой классический пример «белой вороны».

Биография Шмулика примечательна не более, но и не менее, чем его внешность. Он родился в городе Фрунзе, бывшем тогда столицей Киргизской ССР, 21 января 1947 года. Там его семья находилась с 1942 года (со времен эвакуации). Семья, заметьте, в полном составе, то есть, мать, отец и старшая (тогда 7-летняя) сестра. Что является зримым подтверждением правоты тех, кто утверждал и утверждает, что евреи воевали в Ташкенте. То, что отец, как мы видим, воевал во Фрунзе, мало что меняет в этом прискорбном факте. Напрасно он, видимо чувствовавший свою вину, объяснял при каждом удобном по его мнению случае, что, мол, не виноват, что был главным инженером одного из военных заводов, эвакуированных из Москвы, и что много раз пытался отказаться от «брони» и рвался добровольцем на фронт, но начальство, понимаешь, ни в какую. То, что отец не только не был убит на войне, но даже не вернулся с нее калекой или хотя бы с парочкой приличествующих случаю ранений, изначально было предметом зависти и скрытого или явного недоброжелательства со стороны большинства населения нашей улицы. Это отношение, сложившееся еще в войну, мало изменилось с годами, несмотря на то, что Финки всячески демонстрировали и подчеркивали, что «мы, как все...» Нет, им все же не могли простить ни относительного благополучия, ни, главное, того, что семья сохранилась, так сказать, «в полном составе», да к тому еще и евреи... Разве что с годами чувства эти несколько смягчились, утратили отчасти свою остроту, хотя порой вспыхивали с новой силой по причине событий общесоюзного масштаба (см. кампанию «о безродных космополи-

тах» или «дело врачей»). Понятно, что это отношение неизбежно передавалось от взрослых детям.

Хотя для нас, пацанов, война и вообще все, что случилось до нашего рождения, казалось баснословно далеким прошлым и понастоящему сильных эмоций не вызывало, мы, тем не менее, регулярно прибегали к аргументу «о Ташкенте», когда возникали конфликты и прочие, как принято нынче выражаться, «экстремальные ситуации». Вот тогда-то мы, местные и эвакуированные мальчишки, щеголявшие (как это ни кощунственно звучит) собственным сиротством или инвалидностью вернувшихся с войны отцов, устраивали ему разные пакости – например, обзывали хорошо известными каждому еврейскому мальчику тех времен словами или пытались топить его в мутном и вонючем арыке, в котором спасались от азиатского зноя. Вода в том арыке была даже нам по колени. Но мы набрасывались на него со всех сторон, пригибали его голову так, что она оказывалась под водой и держали, пока он не начинал захлебываться. Напрасно Шмулик выставлял в качестве щита двух отцовских и одного мамино брательев, благополучно погибших на фронте, а также кучу не подлежащей призыву родни, в основном с маминой стороны, расстрелянных немцами прямо по месту жительства (Украина). Для мальчишек это было слишком слабым доводом. Да и сам Шмулик чувствовал, что эти смерти были недостаточным оправданием. И в его душе росла и ширилась та самая детская травма, которая неизбежно должна дать знать о себе в будущем. Причем самым неблагоприятным образом.

Помимо невоевавшего отца, еще одним постоянным (хотя и скрытым) источником внутренних терзаний для Шмулика стало имя, которым его нарекли при рождении. Мало того, что родители проявили определенную нелояльность, не назвав сына Володей. «Почему Володей?» – спросите вы. Вспомните дату его рождения, совпавшую с кончиной Владимира Ленина. В этот знаменательный день (равно и 22 апреля – в день рождения вождя) практически всех рождавшихся особой мужеского пола принято было нарекать в его честь. Было в этом что-то, напоминавшее отчасти «ленинский призыв» в партию, но по сути являвшееся ни чем иным, как возвратом к таинствам и процедурам символического воскрешения умершего божества. Когда явно невосстановимую

качественную потерю Большого Владимира пытались чисто по Гегелю компенсировать количеством нарождающихся маленьких Вов.

Нет, его назвали не в честь Вождя, а в честь деда, человека сугубо частного, фотографа по профессии, скончавшегося за много лет до рождения внука и потому никакого следа в его жизни не оставившего. Если не считать нескольких бледно-коричневых фотографий, на которых среди сонма типичных еврейских лиц выделялась нежная, грустная и невероятная красавица – Шмуликова бабушка в молодости. Она-то и настояла, чтобы внуку дали имя Самуил. Времена были смутные, поэтому на семейном совете было решено, что Самуил-то, конечно, Самуил, но исключительно для внутреннего пользования. В метрике же и в прочих бумагах фигурировать будет Саша, то есть, Александр – замечательное имя без каких-либо слабых мест и изъянов. Надо ли говорить, что после этого, несущего печать явной амбивалентности, решения, все в семье называли его только Сашей, Сашенькой, Сашулей. Зато бабушка – исключительно Самуильчиком.

Увы, одной бабушки было достаточно, чтобы и эта «стыдная» тайна стала секретом Полишинеля для окружающих мальчишек. Это она, высматривая своего ненаглядного внука, чтобы позвать его, скажем, к ужину, оглашала всю улицу громкими криками «Самуильчик! Самуильчик!» Только наткнувшись на него, пунцового от стыда и строившего ей зверские гримасы, бабушка спохватывалась, и, пытаясь исправить содеянное («...то есть, Саша, ну, Саша же, конечно...»), портила все окончательно.

Ах, бабушка, бабушка! Добрейшее и любимейшее существо детства! Белоснежные волосы и, сквозь сеть морщинок, ярко-голубые глаза в поллица (с такими ныне изображают добрых инопланетян). Конечно, уже не та гордая красавица с фотографии, а добрый маленький колобок. Увы, она «подставляла» и заставляла краснеть не только внука, но и всех членов семьи. Как часто в присутствии гостей (а среди них были не только друзья и знакомые, но и «нужные» люди, а иногда даже «шишки», включая кадры из числа нарождающейся киргизской элиты) возникала неловкость вследствие громких демаршей бабушки, вызванных злостным смешением «кошерной» и «трефной» посуды. В эти минуты гости многозначительно перемигивались и «интеллигентно» прерывали

возникшую (и тягостную) паузу, переходя на обсуждение, скажем, видов на урожай хлопчатника или материалов последних центральных газет. Но и тут было не разгуляться, так как через несколько минут разговор неизбежно затрагивал «безродных космополитов», и снова возникала пауза, прерывавшаяся деликатными покашливаниями. В общем, как-то не получалось повеселиться от души, «оттянуться», говоря по-современному, в доме у Финков. Хотя, конечно, он сам-то человек хороший и правильный, и член партии, разумеется, и еда у них – чистое объедение, и жена у него – золото, и тоже прекрасный специалист (глазник). А вот поди ж ты...

Бабушка Шмулика при этом вовсе не была религиозной фанатичкой, как кому-то могло бы показаться. В сущности, ее религиозность сводилась к механическому следованию нескольким поведенческим стереотипам, усвоенным еще в далеком ее детстве и с тех пор не подвергавшимся критическому осмыслению и пересмотру. Эти стереотипы (числом четыре) никоим образом не касались ни сущности веры, ни духовных вопросов, ни этических проблем бытия. Но в следовании этим условностям она была тверда и непоколебима. Так, она точно знала, что не должно смешивать мясное с молочным (и, соответственно, для каждого из этих видов пищи должна быть отдельная посуда). Во-вторых, когда «заходит суббота» (то есть, в пятницу вечером) в доме должно быть убрано, на столе должна быть расстелена праздничная скатерть, желательна также, чтобы горела свеча и все должны быть одеты по-человечески, а не «ходить расхристанными» (уж поверьте, что в этом высказывании вовсе не содержалось скрытых выпадов против христианства).

В-третьих, на Пейсах (то есть, еврейскую Пасху) в доме обязательно должна быть маца, а хлеб есть негоже, хотя она и смирилась, что требовать этого от «безбожной семейки» бесполезно и лишь следила, чтобы в ее тарелку не попали хлебные крошки. Наконец, в-четвертых, в Йом-кипур следует поститься, читать молитвенник на древнееврейском языке, покрыв голову белым платком, и при этом плакать.

Напрасно любимый внук, неизвестно откуда (из воздуха, должно быть) впитавший подлинно атеистическое мировоззрение, пытался разубедить ее в этих «только на первый взгляд безобид-

ных» заблуждениях. Забавно, наверное, было наблюдать со стороны за этими теологическими диспутами, ведшимися 75-летней «мракобеской» и ее 6-летним оппонентом. Причем Шмулик, сам того не ведая, использовал изощренные построения и хитрые софистические доводы, сделавшие бы, пожалуй, честь завязатому талмудисту, так что даже она сама порой восторженно произносила «аидише коп» (еврейская голова), нежно прижимала его к груди, но оставалась верна своим заблуждениям.

Но была Шмуликова бабушка знаменита не только этим. По всей улице гремела слава ее «четверговых пирожков». Да, в четверг после обеда она пекла необыкновенно вкусные пирожки, коржики и штрудели. Единственным, кто оставался абсолютно равнодушным к этим кулинарным соблазнам, был, как это часто бывает, ее собственный внучек. И ей приходилось угощать своими шедеврами всю окрестную детвору. Делала она это не только по врожденному радушию, но и с явным прагматической целью – улучшить (через желудок) отношение соседских ребятишек к своему внучку Шмулику и к сестре его тоже. Надо сказать, что это средство налаживания отношений действовало безотказно. Во всяком случае, нетрудно было заметить, что уже с вечера среды частота таких обращений к Шмулику, как «жид по веревочке бежит» и «жир-трест – промосиска» (а он с малых лет, как было сказано выше, отличался склонностью к полноте, как и подобает сангвиникам) резко падала, а то и вовсе сходила на нет.

Вообще, неправильно было бы думать, что по отношению к маленьким Финкам со стороны их сверстников велась какая-то целенаправленная травля. Нет, все эти инциденты носили, так сказать, спонтанный характер. Ну, например, папка всыпал ремня – дать тумака Рыжему для разрядки отрицательных эмоций. Поставила училка «пару» – снять с «жир-треста» панамку и перекидывать ее из рук в руки, чтобы он попыттел, пытаюсь перехватить, ну, а потом потоптать ее в пыли, да помочиться на нее – и пусть забират.

При этом он вовсе не был парией (т.е. неприкасаемым). Правильнее было бы сказать, что он имел самый низкий «рейтинг» в той негласной иерархии, которая неизбежно складывается в любой, даже взрослой, компании. Ведь в каждом сообществе всегда есть «козел отпущения», то есть, наименее ценный персо-

наж. На нем легче всего сорвать зло в случае неуспеха какого-либо начинания, а то и обвинить его в этом неуспехе, отточить на нем свое остроумие, а при случае и пожертвовать им, т.е. «сдать». Например, указав на него как на главного виновника и инициатора разбитого ли окна, «стыренной» ли из соседского сада смородины или острого камешка, ловко пущенного из рогатки в самое выпуклое место какой-нибудь девахи из фабричного общежития во время ежевечерних «танцев-обжиманцев». Да мало ли? И вот что приятно, такой аутсайдер никогда не отречется от возведенных на него клевет, всегда возьмет вину на себя, ни за что не укажет на «вышестоящего», потому как это было бы ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ. А ПРЕДАТЕЛЬСТВО, сами понимаете, не прощается.

Но это все – побои, насмешки и унижения, – это, так сказать, политика «кнута». А «пряником» можно добиться от аутайдера гораздо большего – абсолютной преданности и готовности на все. Достаточно, например, в разгар очередного измывательства сказать этак лениво-снисходительно (разумеется, если статус позволяет): «Ну чего пристали к еврейчику? Отзынь...», как сразу глаза последнего увлажнятся слезами благодарности. А если при этом как бы по-дружески приобнять его, да надвинуть панамку на нос и сказать: «Ты, Санек, не ссы...», он такое намечтает мгновенно, такое навообразит про начинающуюся и уже вечную дружбу, про покровительство и взаимопомощь, что тут-то его можно брать тепленьким. Скажи ему, доверительно отведя в сторону: «Санек, чево-то жрать хотца. Притарань там чево-нибудь, куГочку там...», а он уж бросился выполнять, невзирая на «куГочку», только пятки сверкают. И носить будет жратву и день, и два, и неделю. Да еще из бабушкиных штруделей самые лучшие выбирать и для друга ненаглядного откладывать. Но не хлебом же единым... Можно чего и получше придумать.

«Санек, а, Санек! Достань червонец. Во-о как нужно-о...» Дело, конечно, непростое и деликатное. Но на Саньку ведь можно положиться. Он ведь не подведет. Он ведь все равно достанет, для друга, то есть. И так долго может продолжаться, пока в один прекрасный день не сорвется у того с языка очередная какая-нибудь «жидовская морда». А такой день обязательно наступал рано или поздно. Даже не со зла порой такое говорилось, а так – по привычке. Но чаще все-таки намеренно, ибо слишком долго дружбу с ев-

рейчиком водить – себе дороже. Пацаны как-то глазом косят, криво ухмыляются. Словом, на статусе и «рейтинге» собственном неблагоприятно сказывается. И вообще, ну, жидовская морда, делов-то!

А Санек-то, ну просто умора. После слов этих (часто и нечаянных) покраснеет весь, согнется пополам, как будто ему под дых врезали, отвернется от всех минуты на три, всхлипывая как девчонка, а потом вдруг как припустит бежать от нас – неуклюже, опять же по-девчачьи – да домой, домой скорей. А потом день-два вообще никуда не выходит. Даже когда зовут его (что, вообще-то, редко бывает), только занавеску откинёт да так сквозь зубы, мол, что-то мне неохота. Нос воротит. Ну и лады, не велика потеря. Все равно никуда не денется. Приползет как миленький. Мы еще как бы и не заметим, как он приближается, ноль внимания, пока он сам первый не скажет: «ЗдорОво, пацаны!». Вроде и весело скажет, как ни в чем не бывало, а голосок-то срывается да дрожит. «Я вот тут из дому стырил... на мороженое. Может, кто хочет?..» Ну да ладно, мы обиды не помним. Так уж и быть, съедим твое мороженое, но и ты тож не обижайся. Тем более, за правду. Ты ведь жид? Жид. А я русский. Ну так что, я хныкать стану, если меня кто-нибудь русским обзовет?

А что происходило с Саньком-Самуильчиком в эти два дня, пацанам, конечно, неведомо. Да и никому, в сущности. Ведь родителям же не расскажешь свое горе. «А, – скажут, – ерунда! Забудь и не бери в голову!» И хотя чувствовалось по виду их, что не очень-то они считают, что это ерунда, но все же – не рассказать! Не станешь ведь жаловаться. Да и на что? На окончательное крушение надежд? На сломанную веру? На вполне обесмыслившуюся дальнейшую жизнь? Детское горе, известно ведь – самое страшное. И бороться с ним Шмулику приходилось в одиночку. Да и с сопутными симптомами: слезы весь день, плач, истерика, а к ночи – температура, жар. Тут правда уж бабушка начинала суетиться и поить его чаем с вареньем, поминутно щупала лоб, мама сидела сокрушенная у одра, глядя его руку, папа потерянно топтался, ходил от кровати к окну и обратно, спрашивал: «Ну как ты, сынок?», на ответ не надеясь, и шепотом обращался к маме: «Ну, как он?..» Даже Динка пару раз заглядывала, притихшая и вроде как обеспокоенная, без обычных своих подколок. А потом Шмулик

проваливался в бесконечный и потный кошмар, что-то кричал неразборчивое (как потом рассказывала бабушка)... А наутро температура спадала, солнце светило по-прежнему, и жизнь уже не казалась столь безнадежной. И его опять тянуло на улицу, к «пацанам», но обида еще щемила и было стыдно за свое малодушие и обнаруженные при всех слезы. И надо было еще накопить мужества, чтобы как ни в чем ни бывало взглянуть бывшему другу в глаза. Дружба, конечно, на этом кончалась, но дипломатические отношения продолжались, а как же иначе? Равно как и бабушкины угощения. Но уже на общих, так сказать, основаниях.

Словом, внешне все шло по-прежнему, только на сердце, как пишут в самых плохих, а потому и самых искренних, книгах, оставался незаживающий рубец. Ну, положим, заживающий. И не рубец, а так – рубчик. Царапина...

И опять же верно пишут в плохих книгах, что прежний опыт никого и ничему не учит. Вот и у Шмулика рано или поздно появлялся очередной друг (из той же компании и по той же схеме). И что? Все то же обожание во взоре, снова мечты о вечной дружбе и готовность жизнь за нее положить. Но очередному другу жизнь Самуильчика ни к чему. Ему ведь тоже или «пожрать хотца» или «деньги во-о-от так нужны-ы». А ты, Санек, достань.

А что значит – «достань»? У бабушки выпросить или просто стащить? Да, да, дружба требует жертв! И стоит того. Конечно, миссия не из приятных. Бабушка смотрит подозрительно, допрос учиняет – на что, мол, и как? Ну как на что? На мороженое, понятно, на кино, на газировку... Ну, любимому внуку отказать трудно, да больно что-то много? На газировку-то... А, Самуильчик? Да и часто слишком – то 5, то 10, а то и все 20. Да не всегда ведь и есть. Из пенсии все ж таки. Да и родители ее ругают. Мол, совсем избаловала малОго. Так что иногда и хочешь, а нету. А главное, знает ведь бабушка (а не знает, так догадывается) что не для себя внучек денег-то просит, как правило, а для дружков своих ситных. Ведь для «этих разбойников с себя последнее снимет». Так что нельзя же все время ему потакать. Приходится и отказывать. Тем самым толкая внука на преступный путь.

Потому что он знает, что в папиных «выходных» брюках почти всегда какая-то мелочь имеется, и ее можно изъять почти без риска, потому что папа их никогда не пересчитывает – положит в

карман, а потом и забудет. Можно также Динку шантажнуть: «Дай 5 рублей! Или папе рассказать, как ты вчера после танцев с Никулиным из ремесленного целовалась?!» Это действовало безотказно (хотя Динка кочевряжилась, конечно, сулила «милому братику» всяческие страшные кары, а при случае и претворяла их в жизнь, ябедничала, например). Но вот незадача – согласно неписаному кодексу чести шантажировать за уже ранее оплаченный поцелуй нехорошо, а целовалась Динка редко, ибо была девушка скромная и целомудренная, и поцелуй свой давала не каждому встречному-поперечному, а исключительно по любви. А много ли таких любовей наберется? Ну, максимум 3-4 за год. Так что этот источник был ненадежный.

Конечно, Шмулику ли не знать, где мама сумочку прячет, в которой деньги и облигации. Но на это можно решиться только в самом крайнем случае. Когда очередному другу ну просто позарез. Когда вопрос жизни или смерти. Словом, исключительно при форс-мажорных обстоятельствах.

Ну, облигации, положим, никому не нужны. Непонятно, зачем она вообще эти бумажки держит. А вот деньги – да. Но, повторяю, только в самом пожарном случае. Потому что их мало, да все считанные-пересчитанные. Это мама ему на велосипед копит и Диночке на репетиторов, ну, там, может быть, папе на костюм, а то черт-те в чем ходит. Да к тому же купюры все крупные – каждый месяц с полочки откладывает по 50 рублей, а с премии – и все сто. Так что только один раз Самуильчик не совладал с соблазном. Что потом было!..

Но об этом – чуть ниже.

Ну, а если не удавалось все же напрямую раздобыть деньги для милого дружка, оставалась еще одна возможность – вынести из дома предметы, которые можно было бы продать. Ведь каждая вещь имеет свой денежный эквивалент, не так ли? Естественно, пропажа предметов повседневного пользования была бы немедленно обнаружена. Поэтому, действуя хитро и осмотрительно, Шмулик ориентировался на вещи, с повседневной жизнью не связанные, а потому – бесполезные и, стало быть, малоценные. Первой жертвой его готовности «снять с себя последнее» пала морская раковина, без дела пылившаяся на верхней полке ши-

фоньера и постепенно оттесненная на задний план, так что ее уже и видно не было. Папа с мамой привезли ее из Мацесты, куда ездили в 39 году, как раз перед рождением Динки. Надо сказать, что Шмулик расстался с ней не без сожаления. Уж больно красивая была раковина. Да и шум волн, которые она хранила (Шмулик, понятно, не знал тогда, что, прислоняя ее к уху, слышал шум собственной крови) навевал какие-то смутные, но сладкие желания и грезы. Но нужда друга, конечно, была важнее. И раковина благополучно перекочевала на ближайшую толкучку, где и была (после некоторого торга) оценена в червончик.

За ней туда же проследовали мужская меховая шапка (во-первых, папа ее никогда не носил, а во-вторых, до зимы, когда пропала только и могла обнаружиться, была еще целая вечность), 2-3 фарфоровые статуэтки, полустертый маленький коврик, на котором с трудом можно было разглядеть олененка, резвящегося у пруда. Потом было найдено поистине «золотое дно» – книги. В огромном книжном шкафу с широкими, в два ряда, полками их было великое множество. Естественно, Шмулик, понимавший толк в книжках (он с четырех лет научился читать и предавался этому занятию со всей страстью) и к тому же стремившийся свести причиняемый ущерб к минимуму, не посягал ни на что ценное. По понятным причинам внешний (наружный) ряд книг вообще оставался неприкосновенным. Во втором же, невидимом, ряду также производился тщательный отбор. Не пострадали ни собрания сочинений, ни вообще все новое и интересное. Но и к старью (то есть, к тому, что было написано задолго до Шмуликова рождения – до войны, а то и вообще – до революции) подход был сугубо избирательный. Не подлежали изъятию книги в мягких переплетах с пожелтевшими и полурассыпающимися страницами, по причине их заведомо нетоварного вида. Далее, все что было написано по-русски теоретически могло бы кому-нибудь из членов семьи когда-нибудь понадобиться. А вот написанное не по-русски или не совсем по-русски явно не могло понадобиться никому и никогда. Зато эти тяжелые фолианты в кожаных переплетах (часто с золотым, по большей части соскобленным, теснением) выглядели весьма солидно.

Вначале были проданы две книжки, испещренные теми же крючками, что и бабушкин молитвенник (ушли, кстати, с трудом и

за бесценок). За ними последовали несколько книжек с картинками на других иностранных языках. Эти картинки были на специально вклеенных очень толстых и гладких листах и даже переложены папиросной бумагой. Картинки сами по себе довольно красивые, но в большинстве своем идеологически невыдержанные – сплошная, понимаешь, религиозная тематика. Затем пришел черед книжек, написанных как бы и по-русски, да не совсем. С какими-то неизвестными буквами, которые только мешали чтению, хотя по большей части слова можно было разобрать. На обложках этих книг стояли то ли названия, то ли имена авторов, ничего не говорившие ни уму, ни сердцу Шмулика. Какие-то канты, нитче, будды и заратустры. Все это была глубокая ветхость и старина, в основном начала века, а то и раньше. На многих из них рядом с годом стояла еще таинственная надпись «СПБ».

Словом, после инвентаризации, произведенной Шмуликом, каждая из задних полок приобрела пустоты, зиявшие, как дыры в хорошо пригнанном заборе или во рту на месте выбитых (выпавших молочных) зубов.

Книжки вначале загонялись все на той же толкучке, но вскоре обнаружилось местечко получше – букинистический магазин. Там и платили лучше, да и обстановка была куда приятнее. Главным там был забавный старый еврей в некогда черных, а ныне – в почти белесых нарукавниках. Он был полуслепой. Поэтому с жадностью хватал каждую книгу и подносил ее так близко к лицу, что почти утыкался в нее своим длинным носом. Так что казалось, что он оценивает книги исключительно по запаху. Иногда ноздри его раздувались сильнее обыкновенного. Тогда он подзывал своего более молодого напарника, показывал ему книгу, и они начинали обмениваться абсолютно непонятными словами, среди которых Шмулик запомнил только «антик» и «раритет».

Совершая эти преступные деяния, Шмулик, разумеется, понимал, что разоблачение неизбежно. Он лишь молил (ну, не бога, конечно, а что-то большое и всесильное – что-то вроде Светлого Будущего, наверно), чтобы этот момент наступил как можно позже. Чувствовал он себя при этом прескверно, как герой страшного рассказа Эдгара По про неотвратимо опускающийся маятник.

Если исчезновение отдельных безделушек еще можно было объяснить рассеянностью или забывчивостью бабушки –«и куда я

только подевала эту ракушку (этот коврик)? Сунула куда-то, теперь ищи. Ну, ничего, сама (сам) потом отыщется...», – то ограбление книжного шкафа никаким бабушкиным склерозом объяснить было бы невозможно. Но и тут Шмулику какое-то время «везло». Собственно, набеги на книжный шкаф продолжались всего месяца-полтора. Достаточно было бы, чтобы папа за этот период хотя бы раз открыл шкаф, чтобы воришка был изобличен. Но именно в это время он был настолько занят авральной и ответственной работой, что отсутствовал целыми днями, включая воскресные. А возвращался так поздно и таким уставшим, что ему было не до книг.

Маятник судьбы, тем не менее, опускался все ниже, и Шмулик чувствовал это. И вот настал день, когда все тайное стало явным – день его Ватерлоо.

Примерно за неделю до этого, Шмулик, следуя своей методе – посягать лишь на то, что засунуто как можно дальше, с глаз долой, что свидетельствовало о невостремленности и, стало быть, невеликой ценности данного предмета, решил проинспектировать бельевой шкафчик. И, о, радость! за стопками белоснежных и накрахмаленных простыней и наволочек, в самом углу у задней стенки он обнаружил небольшую и неказистую шкатулку. В ней была куча всякой ерунды: какие-то щипчики, зеркальце, полупустой флакончик выдохшихся духов, нитки и прочая. Лишь два предмета могли представлять известный интерес для его целей – бусы и браслет. Он долго колебался, чему отдать предпочтение, и выбрал браслет по причине своей врожденной хозяйственности. Дело в том, что браслет как две капли воды напоминал те медные браслетики из-за которых год назад просто сходили с ума все Динкины одноклассницы. Браслетики эти с тремя разноцветными стекляшками торговали несколько внезапно появившихся цыганок. Сначала продавали по трояку, затем по пятерке, но через пару дней партия кончилась и цыганки канули в небытие. Половина Динкиных одноклассниц щеголяла в этих браслетиках, а другая половина была готова на все, чтобы их заполучить. Так Динка, только чтобы поносить, заполучила его на неделю в обмен на свои роскошные телесного цвета чулки. Чулки эти – 3 пары – прислала маме ее подруга из советской Германии, где служил ее муж-офицер. Ну, а мама поделилась сокровищем с дочерью.

Так вот, браслет из шкатулки был точно такой же. Ну, разве немного более тяжелый и массивный. И более старинный, оттого выглядел не так празднично, как цыганские браслетики. Ну, и еще одно отличие (и недостаток) заключалось в том, что камешки в нем были не разноцветные, а как обычные стекляшки – прозрачные. Тем не менее, в отсутствие цыганских конкурентов смело можно было рассчитывать на пятерик, а то и червонец. Что, собственно, и требовалось. И, когда спустя несколько дней, очередной друг потребовал срочного вспомоществования, Шмулик достал браслет из шкатулки, а на улице передал «товар» поджидавшему его другу и они отправились на толкучку. Они подошли к знакомому барыге и показали браслетик. Дальше последовал обычный обмен репликами:

– Сколько просишь? – спросил барыга, обращаясь исключительно к другу.

– А сколько даешь? – сглотнул тот, изготовившись к долгому торгу. – Ну-ка дай поближе взглянуть... – барыга заграбастал браслет, недоверчиво и хмуро рассмотрел его, подбросил на руке, полез в задний карман штанов, долго шарил там, а потом вытащил бумажку и положил ее на распахнутую ладошку друга. Это была... пятидесятирублевка. Ладошка, подобно хищным цветам, ощутившим добычу, рефлекторно сжалась в кулак.

«Ошибся! Перепутал!» – эта мысль, видимо, одновременно мелькнула у обоих друзей.

– Пошли, пошли... – зашептал друг, подталкивая совершенно ошалевшего Шмулика. Но не успели они сделать и трех шагов, как услышали голос барыги:

– Эй, пацаны, погодь! Вертухайтесь сюды!

«Ну вот...» – сердца у обоих опустились. Понурился и шмыгая носами, они поплелись возвращать только что обретенный клад.

Но тут произошло уже вовсе немыслимое. Барыга снова полез в карман, извлек оттуда червонец и протянул им со словами: «В другой раз с такими вещичками – сразу ко мне.»

– Конечно, дяденька! – заверили его они и поспешили уйти. Их слегка пошатывало. «Ше-стьде-сят руб-лей! Ше-сть-де-сят руб-лей! Ну, бля!..» – повторял друг, при каждом слоге бия себя в грудь. – «Ты понимаешь, что это? Ше-сть-де-сят руб-лей! Ну, Санек! Ну, дружище! Братан!!»

Это было невероятно! Это было чудо! Это было настоящее богатство!

Но странное, но столь фантастическое поведение барыги надо было осмыслить. Поскольку версия ошибки отпала сама собой после премиального червонца, оставались лишь две гипотезы. Шмулик считал, что просто у барыги праздник сегодня, из-за этого настроение хорошее. Вот он и решил сделать кому-то подарок. Друг, лучше знавший жизнь, придерживался более простого и приземленного мнения: «Да он пьяный был. Или обкурился совсем. Помнишь, как у него зенки блестели? То-то же...» Оба остались при своем.

Но кто бы из них не был прав, это чудесное событие следовало отметить. Немедленно устроили пир – арбузов купили, ситра от пуза, мороженого, конечно, вяленых чебаков, лепешек с творогом, семечек. То есть, расстройство желудка, можно сказать, было обеспечено. Конечно, на пир созвали всех. И отказов, понятно, не было. Явились даже совсем редкие гости – двое братьев Зверьковых. Им было уже 10 лет, они были близнецами, вовсю покуривали, шестерили у окрестной великовозрастной шпаны, а с нами, понятное дело, якшаться брезговали. Но тут и они не удержались. Пришли и терпеливо выслушали восторженный рассказ о невероятном событии. Рассказывал, понятно, друг-напарник. Эту историю он излагал «по новой» каждому вновь пришедшему, но даже сейчас, пересказанная уже в 8 или 9 раз, она в его устах нисколько не утратила эмоционального накала. Скорее даже наоборот. Да и слушатели были рассказчику под стать. Благодарные были слушатели. Каждый очередной пересказ они слушали с неослабевающим вниманием а когда дело подходило к кульминации – обнаружению невероятной щедрости барыги – они замирали, а потом разражались удивленными возгласами и стучали себя кулаком по колену.

Правда, от раза к разу история все больше трансформировалась, равно как и роли каждого из участников. Главным героем становился, понятно, рассказчик, а роль Шмулика скукоживалась, как шагреновая кожа. Он все больше превращался из участника в свидетеля. В последней версии, например, происхождение браслета было охарактеризовано крайне бегло и лаконично, а именно – репликой «мы достали», сопровождавшейся легким кивком в

сторону Шмулика. После этого он был явно упомянут лишь однажды – живописуя процесс торга, друг счел возможным произнести: «Вон он тоже со мной был». И вновь кивнул на Шмулика. Но тот вовсе не был в обиде – он и так заранее готов был отдать все лавры новому «лучшему другу навсегда»... Напротив, Шмулик был совершенно счастлив. Впервые он чувствовал себя почти на равных, почти даже хозяином. Как никак в этом празднестве была и его заслуга. А когда, внимательно выслушав рассказ, один из братьев Зверьковых накопил слюны и исполнил свой коронный плевок (длинная струя вырвалась из его щербатого рта и улетела метра на полтора, ей богу!), а потом одобрительно произнес: «Ну, еврейчик! Ну, шкет!» и надвинул ему панамку на нос, Шмулик вообще ощутил неземное блаженство. Он впервые понял, как приятно созвать настоящих друзей и широким жестом пригласить их к столу. Мол, «я угощаю»! Да, это вам не бабушкины пирожки и штрудели, ведь все заработано своим – тяжелым и рискованным – трудом!

Было поздно, почти девять часов. Стало совсем темно (во Фрунзе темнело рано). Давно было пора домой. Он знал, что дома уже волнуются, а бабушка наверняка совершила несколько безуспешных ходок по окрестностям, шаркая больными ногами и выкрикивая: «Самуильчик! Самуильчик!» Он знал, что дома его ждет нагоняй, но не мог же он уйти первым! Только когда «гости» начали расходиться – они шли по двое, а то и по трое, обнявшись за плечи, от чего казались сросшимися, как сиамские близнецы, пыля босыми ногами по белевшей в наступившей темноте дороге – он тоже позволил себе подняться и поспешить домой. Ожидание неизбежных нотаций нисколько не снижало его окрыленности. Он мчался, все убыстряя шаги, чему немало способствовало предчувствие, что, похоже, придется помучиться с животом. Это предчувствие его не обмануло. Зато о другом – куда более важном и страшном – его интуиция молчала. Шмулик ведь не знал, что беда обыкновенно подстерегает нас на взлете, а еще – что не только в плохих книжках, но и в жизни преступление влечет за собой неотвратимое, а, главное – незамедлительное, наказание.

Словом, когда он распахнул дверь в большую комнату, то обнаружил, что все семейство сидит вокруг стола, а на нем – о, ужас! – валяется раскрытая шкатулка и в беспорядке рассыпано ее содер-

жимое (не считая, увы, одного безвозвратно утерянного предмета). Отчаяние, казалось, парализовало бедного Шмулика, но иная – чисто физиологическая – потребность вынудила его ойкнуть и что есть мочи броситься в сад, в глубинах коего под сенью винограда смутно маячило дощатое сооружение, предназначенное для известно каких целей. Он едва избежал еще одного позора, в последний момент успев опустить шаровары и низвергнуть в черную бездну «очка» последствия несправедливого пира. На несколько мгновений он ощутил облегчение, но потом нравственные и, увы, физические страдания (ибо в животе продолжало крутить) нахлынули на него с прежней силой. Не менее получаса он боролся и с теми, и с другими, но, если с физическими тяготами удалось как-то справиться, то нравственно он был совершенно раздавлен. Он чувствовал, что разоблачен и погиб. Погиб безвозвратно! Что оставалось делать бедному Шмулику? Какой-нибудь гусар в таких обстоятельствах немедля пустил бы себе пулю в лоб. Шмулик же продолжал сидеть со спущенными штанами, машинально созерцая смутно белевшие справа от него обрывки газет, а сквозь щели между досками – сад, казавшийся гораздо светлее мрака, окружавшего его в нужнике, и свет, мирно струящийся из окон дома, который еще совсем недавно казался ему родным и надежным. И вот теперь... Теперь все кончено! Он даже застонал от чувства несмываемого позора. Он, вероятно, продолжал бы сидеть так еще долго. О, он готов был оставаться здесь всегда! Лишь бы отдалить ту минуту, когда ему придется взглянуть в глаза бабушке и маме. А, главное, папе. Но вот он услышал приближающиеся мамины шаги.

– Иди в дом. Немедленно, – тихо и сухо сказала она и, не дожидаясь его реакции, тут же повернула назад.

Посидев еще несколько минут, он безнадежно поплелся следом, скрипнул входной дверью и, потоптавшись перед полуоткрытой дверью большой комнаты, наконец, вошел или, лучше сказать, вполз в нее. Они сидели в тех же позах, что и в первый раз. Он бросил на них быстрый взгляд. Ему показалось, что папа сидит весь черный, и он от испуга и стыда снова опустил глаза. Несколько секунд, которые, как пишут в плохих книжках, показались ему вечностью, продолжалось гнетущее и вязкое молчание. Шмулик шмыгнул носом, чувствуя, как к глазам неудержимо подступают предательские слезы. Но он еще крепился.

– Где браслет? – очень тихо спросил отец.

– Да, скажи, где браслет? – спросила мама, как бы вторя ему, а на самом деле, чтобы не дать снова воцариться этой гнетущей тишине.

Ну, а следом за ней, подобно сирене, вступила бабушка.

– О, готеню, готеню! – заголосила она, не забыв, впрочем, пред-варительно прикрыть форточку, чтобы соседи не слышали. – Где это слыхано? Мой внук – воришка?!

Тут начался подлинный, как выражалась бабушка, гвалт. Все кричали одновременно. Разобрать что-нибудь в этом шуме было крайне затруднительно. Шмулик слышал только отдельные выкрики:

– Семейная реликвия!

– Настоящие бриллианты!

– Диночке на свадьбу!

Папа гудел, мама тихо плакала, бабушка воздевала руки к потолку. Даже Динка что-то пищала и явно всех подзуживала. Как ни странно, от их криков Шмулику стало легче. Ведь он... ведь он... Слезы брызнули у него из глаз, как это бывает только в детстве. Тут ему стало совсем легко. Он плакал, не стыдясь. Он просил прощения. Он искренне раскаивался. Он уже и сам совершенно не понимал, как мог совершить этот ужасный, подлый... нет, все-таки ужасный поступок... Он правда-правда больше никогда не будет!..

Та тяжесть, которая еще минуту назад давила на него, куда-то исчезла. Собрание тоже явно смягчилось. Ему даже показалось, что бабушка протянула руку, чтобы погладить его, но под каменным взглядом отца быстро ее отдернула.

– Все же расскажи нам, так – для интереса – где браслет? – повторил отец.

Шмулик, все еще всхлипывая, начал сбивчиво рассказывать. Папа в некоторых местах глухо постанывал, как от зубной боли, бабушка всплескивала руками, мама хваталась то за голову, то за сердце, но все слушали его, не перебивая.

Только когда Шмулик дошел до торга с барыгой, папа спросил:

– И за сколько же вы его продали?

– За 60 рублей... – даже с некоторой гордостью ответил Шмулик.

– За сколько? За 60 рублей?! – вскричала бабушка, и утихший было гвалт вспыхнул с прежней силой.

– Ограбил!

– Мошенник!

– Идиот! Ты, ты идиот!!

А потом снова:

– Настоящие бриллианты!

– Семейная реликвия!

– 60 рублей! Держите меня!

– Диночке на свадьбу!

Но на таком градусе сцена не могла долго продолжаться, и вскоре вновь наступил естественный спад. Общий крик разбился на отдельные островки, голоса постепенно зазвучали глуше, можно было уже разобрать содержание отдельных партий и т.д.

В конце концов, Шмулику в ультимативной форме предъявили несколько условий. Во-первых, чтобы больше он никогда («слышишь, никогда!») не смел выносить из дома никаких вещей, даже, по его мнению, ненужных. Шмулик обещал. Во-вторых, чтобы он взялся за ум. Шмулик обещал и это. Чтобы слушался бабушку и помогал ей, чтобы до конца доедал рисовую и пшенную кашу, чтобы не забывал перед сном помыть ноги («самостоятельно и без напоминаний» – уточнил папа.) И еще, и еще... Все условия были Шмуликом безоговорочно приняты. Тем не менее, все (и он в том числе) понимали, что содеянное было слишком тяжело, чтобы вовсе обойтись без наказания. И оно – наказание – должно быть суровым. После краткого совещания семейный совет (трибунал?) постановил большинством в три голоса при одном воздержавшемся (бабушка), что отныне и вплоть до сентября (когда надо будет впервые идти в школу – в первый класс) Шмулик будет находиться под домашним арестом. То есть, больше, чем два месяца (ведь только заканчивался июнь!) никаких больше улиц, гулянок допоздна, дружков-бандитов, купания в арыках, набитых всякой гадостью и прочих геройств. А надлежит отныне Шмулику проводить свои дни исключительно дома, ну, и в саду, конечно, в праздности и безделье, в одиночестве, в коммуникативном, можно сказать, вакууме...

– Ничего, ничего. Может быть, наконец, за ум возьмется.

– Поскучать иногда тоже полезно...

– Хоть книжку умную прочтешь! А то ведь совсем читать перестал!..

– И вообще, надо уже о школе подумать. Ничего ведь еще не куплено – ни портфель, ни тетрадки. И учебников нет.

– Да, а Диночка с тобой позанимается...

– Ну вот еще! .

– Позанимаешься, тебе говорят! О тебе, кстати, тоже отдельный разговор будет.

Динка возмущенно фыркнула.

– Ну, что, сынок, понял? Провинился – надо отвечать. Ведь виноват же? – мягко спросил папа.

Шмулик кивнул.

– Согласен с наказанием?

Шмулик снова кивнул.

– Ну вот. Запирать мы тебя, конечно, не будем. Ты ведь человек ответственный, правда?

– Да-а... – протянул Шмулик, все еще всхлипывая.

– Ну вот... – снова повторил отец. – Значит, обещаешь – сам из дома ни ногой.

– Обещаю...

– Слово даешь? – переспросила мама.

– Ага...

– Как же, сдержит он свое слово! – прошипела Динка. – Нет уж, пусть поклянется самой главной клятвой!

– Ну, давай, клянись! – поддержала предательницу мама. – Что сам будешь дома сидеть. И бабушке помогать.

– Пожалуйста... Честное ленинское и... честное сталинское – произнес Шмулик, с обидой и укоризной глядя на сестру. Он ведь знал, что обещания обещаниями, а такую клятву нарушить было никак нельзя.

– Ну, ладно, гешефтмахер! – улыбнулся, наконец, папа, произнеся это непонятное слово. – Времени-то уж... 11 часов. Кушать будешь?

Шмулик только махнул рукой, мол, какой там кушать.

– Тогда умойся и иди спать... И чтобы больше нас не огорчал.

И потекли для Шмулика тягостные дни заточения. Он целыми днями слонялся по дому, выходил в сад, валялся в гамаке, подолгу

стоял у забора, с тоской глядя на пустынную раскаленную от солнца улицу, через которую неторопливо переползали черепахи, да порой проезжал киргиз на ишаке. Его компании видно не было. В это время, т.е. днем, мы прохлаждались в арыке, который протекал по дальней – большой – улице, или пытались с черного хода проникнуть в соседний кинотеатр, и если нам это удавалось, с утра до вечера смотрели крутившийся в тот день фильм – например, «Чапаева», «Фанфан-Тюльпан» или, уже не помню, может быть, «Джувльбарс» – наслаждаясь относительной прохладой и полумраком зрительного зала. Техника была простой – минут за 15-20 до конца сеанса прошмыгнуть через входные двери обратно в фойе (вестибюль), якобы в уборную, пересидеть там несколько минут, а потом, смешавшись с новой порцией зрителей, ожидавших начала следующего сеанса, вместе с ними снова проникнуть в зал. Если черный ход в этот день был закрыт, мы торчали на базаре, тыря у зазевавшихся теток выставленные на продажу плоды полей, садов и огородов. Да и сомлевшие от жары тетки реагировали на грабителей вяло, скорей для вида, поскольку сейчас, в разгар сезона, они и так продавали свой урожай практически задаром.

Иногда мы ходили к Надьке-толстой (так ее звали, чтобы как-то отличать от Надьки-худой, которая по странному совпадению жила как раз напротив, на другой стороне нашей улицы). Надька-толстая работала на ткацкой фабрике, а в свои выходные (а они иногда случались и посреди недели, если она оставалась в ночную смену) часто валялась на раскладушке в своем саду в самом расхристанном виде – то есть, в халатике, под которым из-за жары ничего больше не было. Она жила с матерью, похожей на старую ведьму, которая все время что-то ворчала и шпыняла Надьку. Та же лениво от нее отмахивалась или просто не замечала. Надька пользовалась стойкой репутацией бляди, потому что к ней по вечерам часто захаживал, а по слухам, и оставался на ночь, пожилой, лет сорока, железнодорожник в форме и на деревянном протезе

Мы обыкновенно останавливались около калитки и начинали канючить:

- Надька, покажи!
- Ну, покажи же!..
- Ну, чего тебе стоит...

Несколько минут Надька нас игнорировала. Она чесалась, позевывала, переворачивалась с боку на бок, но потом обычно снисходила к нашим мольбам. Она метала быстрый взгляд на дом – не видит ли ведьма? – а потом – вверх наших голов – на улицу, не идет ли случайный прохожий, и, убедившись, что никто, кроме нас не видит, лениво расстегивала верхнюю пуговицу на халатике, из которого тут же вываливалась грудь, и Надька начинала ее оглаживать и подбрасывать на руке, как бы взвешивая. Грудь у нее была большая и довольно расплывшаяся (Надьке уже было хорошо за тридцать). Но нам она казалась ослепительной и прекрасной. Мы неизменно сопровождали этот «сеанс» громким гоготом и улюлюканьем. Пару раз Надька даже подходила вплотную к изгороди, чтобы мы могли сами потрогать и потеревить набухший, темный и шершавый сосок и большой светло-коричневый и покрытый пупырышками круг, служивший этому соску основанием. После этого халатик запахивался, и никакие просьбы не могли заставить Надьку снова повторить процедуру. Если мы становились слишком назойливыми, она просто уходила в дом. Хотя «сеанс» редко длился больше 2-3 минут, мы потом несколько дней ходили под впечатлением. И даже видели эту грудь в наших тогда еще более или менее безгрешных снах.

Словом, с утра мы уходили на поиски этих и других – не менее упоительных и волнующих – приключений, а возвращались ближе к вечеру и уже до самой темноты носились по улице, гоня обруч, или играя в казаки-разбойники, или в «ножички», или в расшибалку. Днем никого из нас обыкновенно не бывало, а потому Шмулик напрасно вглядывался и вслушивался в звенящую знойную тишину, в тщетной надежде услышать наши приближающиеся крики. Зря потомившись у забора, он уныло брел в дом, где бесцельно слонялся по комнатам, коих было три, подолгу застывал перед книжным шкафом, надеясь выудить какую-нибудь интересную, но почему-то раньше не замеченную книжку. Увы, все хорошие книжки были им уже прочитаны и перечитаны. Оставались только толстые без картинок тома из собраний сочинений. Может быть, они тоже были интересными, но как-то «не по росту». Там все было про любовь и прочие тонкие материи. В общем, скучища...

От тоски Шмулик даже открывал пару раз Диккенса и этого, как его, Филдинга, но после 8-10 страниц дело дальше не шло.

Правда, в какой-то из этих книжек одного из героев звали Сэмюэль. Шмулик даже не сразу понял, что это – его имя. Только на иностранный манер. Тоже, конечно, не бог весть что – слишком напыщенно, что ли, но все-таки не так отвратительно, как Самуил, тем более, Самуильчик.

Там же, кстати, встретилось ему и незнакомое слово «эсквайр». Из контекста он догадался, что обозначает оно какое-то звание или должность. Как, например, товарищ или инженер. Только стояло в странном месте – после фамилии. А по-нашему положено – перед. Товарищ Петров или там инженер Петров, а не Петров, товарищ или там Петров, инженер. Странно, конечно. Шмулик даже примерил это словцо на себя. «Сэмюэль Финк, эсквайр!» – торжественно произнес он. Потом еще дважды повторил. Что ж, звучало в целом неплохо. Но читать от этого интереснее не стало. Шмулик со вздохом закрыл книжку и поплелся в сад. Там он взобрался на гамак и долго лежал лицом вверх, разглядывая сквозь виноградные листья резные кусочки синего неба. Время тянулось бесконечно. Но, наконец, солнце начинало клониться к закату, тени становились длиннее, и Шмулик снова околачивался поблизости от калитки в ожидании нашего возвращения.

Мы возвращались очумевшие от солнца, от бесконечной беготни, от собственного крика. Усталые, но счастливые, как сейчас принято говорить.

З-здорово! – приветствовал нас Шмулик, вцепившись руками в изгородь. Кто-то ничего не отвечал, поглощенный интересной беседой, кое-кто откликнулся:

– Здорово!

Иногда то один, то другой отделялся от нашей плотной стаи и приближался к узнику, чтобы перекинуться парой слов.

– Ты чего не выходишь? – обыкновенно спрашивал он.

– Д-да вот не пускают... – запинаясь Шмулик.

– Наказали, что ли? – догадывался подошедший. – А то пошли. Мы щас в расшибалочку будем.

– Я, н-нет, не могу... – уныло отказывался Шмулик.

– А чего, боишься? Мамка заругается?

– Д-да нет, н-но... – пускался было в объяснения Шмулик, но находившийся по другую сторону забора обыкновенно не дослушивал, произнося веско:

– Смотри, тебе жить.

После чего бегом бросался догонять вперед ушедших, оставляя Шмулика в совсем уже постылом одиночестве.

Да, несладко приходилось Шмулику «под домашним арестом». Более всего его удручало, что он лишился свободы именно в тот момент, когда наконец-то обрел, как ему намечталось, столь чаемые им братство и равенство.

К счастью, через несколько дней его вынужденная коммуникативная депривация была прервана и даже сменилась кратковременным, но несомненным триумфом. Дело в том, что бабушка сама извелась, глядя на страдания юного Шмулика, и все настойчивее стала требовать смягчения наказания. «Нальзя же так, ребенок целый день мается...» – говорила она. Мама под ее влиянием тоже стала проявлять некоторую амбивалентность. И только отец оставался неумолим. В конце концов, вся ответственность оказалась возложена на него.

– Я согласна, отменять собственные решения не педагогично, но так ведь тоже нельзя... – сказала мама. – Надо придумать ему какое-нибудь развлечение.

– Да, Гриша, если ты так уперся, то хоть придумай ему какое-нибудь развлечение. – поддержала бабушка.

Отец задумался. Сначала ему ничего не приходило в голову, но затем, видимо вспомнив собственное детство, он кое-что придумал и поздно вечером, сразу после работы, даже не поев, удалился в сарай. Там у него был сооружен верстак и хранились разные столярные и слесарные инструменты. Отец с детства любил мастерить. Правда, в последнее время делал он это все реже (уж больно уставал на работе), разве что возникала настоятельная необходимость починить что-нибудь по хозяйству. Через полтора часа он появился и, судя по его лицу, явно не считал, что потерял время зря. Шмулику (и всем другим желающим) был торжественно предъявлен некий механизм, на первый взгляд выглядевший не слишком казисто. Более всего это было похоже на крайне примитивный пистолет или, лучше сказать, гарпун. Это был довольно толстый деревянный брусок, являвшийся как бы стволом. В нем было просверлено отверстие, в которое была вставлена пружинка. С помощью специального рычажка, оттягивавшегося назад, она сжималась до отказа. С помощью нажатия того же рычажка конструкция приводилась в

действие – пружинка распрямлялась, ударяя в легкую пластинку. Раздавался резкий щелчок, и из «дула» вылетала иголка, соединенная с этой пластинкою ниткой. Дальнобойность этого «орудия» была невелика – от силы 5-7 сантиметров. В первый момент Шмулика даже охватило разочарование. Но, после краткого объяснения и демонстрации принципа действия, оно сменилось восхищением и энтузиазмом.

– Это такая штука, – начал отец, – похожая на гарпун. Знаешь, что такое гарпун?

Шмулик отрицательно покачал головой.

– Ну, как же, мы же еще в кино недавно смотрели, как на китов охотятся. Помнишь? – спросила мама. Шмулик вспомнил, как в журнале «Новости дня», который показывают перед настоящим фильмом, совсем недавно они видели сюжет про китобойную флотилию и как они охотятся на этих гигантских китов, добывая ценные продукты – жир, китовый ус и что-то еще непонятное, чего Шмулик не запомнил.

– Ну, на китов с этим гарпуном вряд ли получится, – продолжил папа, – а вот поохотиться на насекомых вполне можно. На мух, на ос и так далее. Вот смотри, я тебе покажу....

С этими словами отец осмотрелся, увидел муху, нагло усевшую на одну из клубничен, лежавших в миске в центре стола, прицелился и нажал на «курок». Он, конечно, промазал. Муха успела увернуться и стала с невероятной скоростью кружить по комнате, возбужденно жужжа. Зато гарпун вонзился и пронзил клубничную мякоть чуть ли не насквозь (только иголочное ушко торчало снаружи). Отец потянул за нитку, вытащив «окровавленную» иголку, из клубничины брызнул сок, а Шмулик даже зааплодировал.

– Можно я?! Д-дай, д-дай мне пульнуть? – в крайнем возбуждении затараторил он.

Папа протянул ему гарпун, предупредив:

– Только, пожалуйста, осторожно...

Шмулик, дрожа от возбуждения, схватил гарпун и направил его на другую муху, сидевшую на стене.

– Нет, нет! – предостерег отец. – По твердой поверхности не стреляй, а то иголка быстро затупится. И, вообще, может отскочить, и в глаз!..

Тут уж бабушка, заслышав о таких ужасах и опасностях, попыталась протестовать. Папа заверил ее, что это практически безопасно.

– И потом – так ведь нехорошо... Им же больно... – выложила бабушка свой последний аргумент. Но как-то вяло. И то – память о войне еще была свежа. Нравы по тем временам были еще суровые, не смягченные ни абстрактным гуманизмом, ни заботой о братьях наших меньших... Мучить кошек еще не казалось тогда серьезным грехом. Не говоря уж о насекомых. Мух же – разносчиков всяческой заразы – никак нельзя было считать друзьями человечества. Тем более, ос, которых бабушка панически боялась. Короче, Шмулик сделал-таки два-три выстрела «в молоко» и, после долгих уговоров, отправился наконец спать, прижимая к груди свое сокровище. Он еще долго не мог уснуть в предвкушении завтрашней «охоты».

Наутро, наскоро умывшись и что-то проглотив на завтрак (он даже не помнил что, ибо делал это машинально), Шмулик выскочил в сад. Было еще рано и основная армия насекомых еще не начинала свой набег. Наблюдалось лишь небольшое количество мух и мотыльков. Но для начала Шмулику и этого было достаточно. Он самозабвенно стрелял по всему, что движется. Он подкрадывался к своей ничего не позревающей добыче, чувствуя себя индейцем на охоте за бизонами, и тщательно целился из своего страшного оружия. Мухи и мотыльки оказались неудачными объектами для охоты. Хотя и по противоположным причинам. У мух была слишком хорошая реакция, потому они были неуязвимы для Шмуликова гарпуна. Мотыльки же – наоборот. В них было очень легко попасть. Если гарпун не попадал в тельце, то уж в крыло – наверняка. Гарпун пронзал одно, а то и оба крыла насквозь. Несчастный мотылек оказывался как бы нанизан на нитку. Он начинал биться, трепыхать крылышками, но освободиться, разумеется, не мог.

Нитка начинала разрывать крылышки и через несколько секунд от них оставались лишь жалкие лоскутки и ошметки. Изуродованный обескрылевший мотылек еще пытался позти, волоча за собой нитку с иголкой, а потом затихал. При виде мучений второго или третьего мотылька, ставшего его жертвой (на первого он не обратил внимания, захваченный охотничьим азартом), нечто вроде жа-

лости кольнуло сердце Шмулика. Он не стал раздумывать о милотности бытия, о преходящести земной красоты, померкшей от его руки и у него на глазах. Нет, он просто решительно занес мотыльков и бабочек в свою личную «красную книгу», добровольно наложив на себя запрет на их отстрел.

Но этот запрет ни в коей мере не распространялся на ос, пчел и даже роскошных черно-желтых бархатных шмелей. Техника охоты была чрезвычайно проста – насекомые жужжали над цветами и время от времени замирали на каком-нибудь из них. Особенной популярностью пользовались цветы в виде раструбов (Шмулик не знал их название), росшие на кустах вдоль забора. Глупые пчелы и шмели заползали в них головой вперед, оставляя полностью открытым и незащищенным свой тыл. Оставалось только прицелиться и загарпунить их. При особо удачных выстрелах пронзенным оказывалось не только тельце, но и сам цветок. Пчела или шмель оказывались как бы пришипленными к нему. В большинстве случаев гарпун поражал только само насекомое. Если глубина проникновения была невелика, раненой жертве иногда удавалось освободиться и улететь. Но, как правило, насекомому освободиться не удавалось. Пронзенное иглой, оно бессильно повисало на нитке. Только шмели оказывали бешеное сопротивление – они жужжали, кружились, неся в себе гарпун и ощутимо натягивали нитку, так что иногда казалось, что она вот-вот порвется. Жалости к ним Шмулик не испытывал, ведь осы и пчелы были сильными и коварными врагами, в прошлом приносившими немало неприятностей в виде болезненных укусов и самому Шмулику, и другим членам семьи. Бабушка, так та вообще их панически боялась. Так что они, в сущности, получали по заслугам. К тому же это не была бойня, как в случае с бабочками. Ведь существовала вероятность, что раненный зверь попытается атаковать охотника. Хотя это ни разу не произошло, но ТЕОРЕТИЧЕСКИ такая возможность существовала. Это ощущение потенциальной опасности подстегивало Шмулика. Как ни крути, но шансы были хоть и неравными, но обоюдными.

Как бы там ни было, но за несколько часов Шмулик достиг в искусстве охоты если не совершенства, то, во всяком случае, степеней высоких. Свои немалые трофеи Шмулик складывал в специально приспособленную для этого стеклянную и высокую банку

из под компота. К полудню тела уничтоженных или умирающих врагов полностью покрыли ее дно. Бабушка, у которой он выпросил банку, при виде этих подвигов неодобрительно качала головой.

– Самуильчик, им же больно!.. – укоряла она внука. Но тот оставался к увещаниям глух.

Шмулик снова крался по саду, всецело поглощенный выслеживанием очередной добычи. Он даже не сразу услышал призывный свист из-за забора. Да, мы все – пацаны – с утра, как обычно, отравились по своим делам. Но одному из нас (теперь уже не важно – кому) в тот день было запрещено отправляться «в город» из-за накануне порванных штанов.

Страдалец маялся от скуки и, за неимением лучшего, готов был общаться даже со Шмуликом. Но тот, как назло, его не замечал. Надеясь привлечь его внимание, один из нас уже трижды демонстративно продефилировал по улице, поковырял палкой в пыли, но все тщетно. Шмулик находился в саду, но что-то искал где-то в другом конце сада. В конце концов, отчасти удивленный и задетый таким поведением пацан все же решил, что, если гора не идет к Магомету, то... Он подошел к забору вплотную и снова, на этот раз громче, свистнул. Наконец, Шмулик заметил его и вприпрыжку бросился к забору.

– Слышь, Санек?! Ты чево делаешь-то? Своих не замечаешь?.. – как бы небрежно завел тот разговор.

Шмулик, конечно, немедленно поведал ему о своем увлечении, продемонстрировал гарпун и банку с трофеями. У того загорелись глаза.

– Ух, классно! Вот умат! – восхищенно промолвил тот, открывая калитку с явным намерением войти. – Дай-ка и мне!..

На какое-то мгновение Шмулик застыл в смятении. Он понимал, что смысл, т.е. дух наказания, которому его подвергли, заключался в том, чтобы он не общался с этими «гадкими детьми». С другой стороны, буква закона была бы соблюдена, ведь на улице он не выходит. Словом, перед Шмуликом встала вечная проблема: что соблюсти – Дух или Букву? Как это часто бывает, он сделал выбор в пользу буквы.

– З-заходи, конечно... – сказал он, отбросив колебания, и протянул гостю свое сокровище. Тот почти с урчанием схватил гарпун и бросился в самую гущу кустов.

Бабушка, перед которой возникла та же дилемма – Дух или Буква, поступила в точности так же, как и внук. Она удовлетворилась соблюдением буквы. Она и так сочувствовала ему, а теперь, видя его радостное лицо, когда он крутился вокруг гостя, который был полностью поглощен охотой и время от времени, поразив мишень, раздражался восторженными воплями, она была вполне довольна. Она накормила обоих обедом. Гость моментально проглотил и первое, и второе, и третье – бабушкин знаменитый компот, попросил добавки, после чего удовлетворенно отрыгнув, снова поспешил в сад, сопровождаемый Шмуликом.

Ближе к вечеру гость расчувствовался окончательно:

– Санек, ты настоящий друг! Другой бы пожидился дать пострелять, а ты... Ты, хоть еврей, а не жадничаешь.

И вообще, – добавил он, похлопывая себя по животу, – жратву твоя бабка готовит, что надо. Я прям обожрался. Завтра с утра снова приду. Ты жди...

После чего исчез в сгущающихся сумерках. Шмулик и бабушка, не сговариваясь, сочли за благо не сообщать родителям о состоявшемся визите.

Наутро вчерашний гость снова явился, как и обещал. Да не один. Он привел еще троих, которые уже были слышаны о новом развлечении и жаждали тоже принять участие в восхитительной охоте. О, это был чудесный день! Каждый вновь прибывший получил доступ к гарпуну, и, хотя на каждого доставалось лишь ограниченное число выстрелов, ибо желающих было много, никто не был в обиде. Все терпеливо ждали своей очереди.

Охота продолжалась часа три. Но постепенно все наши противники – осы и шмели – то ли были истреблены, то ли у них наступил послеполуденный отдых, который мы нынче называем иностранным словом «сиеста». Да и мы сомлели, ибо день был на редкость жарким даже по фрунзенским понятиям. Бабка Шмулика дважды выносила нам большую кастрюлю с ледяным компотом, но мы быстро ее осушили, а когда затребовали у Шмулика еще компотца, бабка сказала, что мы все выпили. Ну, ничего, она

сейчас собирается на рынок, и завтра всех друзей Шмулика будет ждать новая порция. С этими словами она потащилась на рынок, несмотря на жару.

А в саду у Шмулика росло огромное черешневое дерево. Которое склонялось как раз над невысоким сарайчиком, в котором его отец, как уже говорилось выше, иногда что-нибудь мастерил. Кто-то из нас предложил забраться на крышу сарая, чтобы полакомиться черешней, которой, как мы видели снизу, оставалось еще много, хотя птицы уже славно над ней поработали. В сарае как раз лежала лестница, которую мы приставили к сараю и быстренько залезли наверх. Крыша была покрыта черным толем, который так разогревался на солнце, что стоять на нем было все равно, как на сковородке. По счастью, большая часть крыши была в тени того самого черешневого дерева, и мы с комфортом в этой тени расположились. Ветви черешни, усыпанные огромными, тускло отсвечивающими, запыленными и сладкими-пресладкими ягодами, лежали прямо у наших рук. И мы придирчиво отбирали самые лучшие из еще непоклеванных птицами ягод и лениво сплевывали косточки прямо в кусты, окружавшие сарай. Словом, блаженствовали. А Шмулик явно чувствовал себя на седьмом небе. Ведь он лежал на крыше, как равный среди равных, впитывая сладость не только черешни, но и настоящей мужской дружбы.

Но все хорошее рано и ли поздно кончается. Вот и мы через какое-то время слезли с крыши и от нечего делать стали бродить вдоль грядок. Кто-то из нас поднял дощечку, валявшуюся тут же, и стал этой дощечкой землю на грядке рыть-ковырять. И тут же обнаружил кое-что интересное. Это были черви. Да какие!.. Никогда за всю свою последующую жизнь я больше таких не встречал. Омерзительные, жирные, с палец толщиной, белого цвета. Даже какие-то полупрозрачные, а внутри них переливалась какая-то отвратительная жидкость. И если нажать посильнее, эти черви (а, может быть, и личинки чего-то?) лопались, и белесая жидкость обрызгивала все вокруг. В общем, даже притрагиваться к ним было противно. Но пришлось, потому что мы заметили, как Шмулик смотрел на этих червей – не только с омерзением, как и все мы, но еще и с явным страхом. Чего же еще надо? Мы сразу оценили перспективу этого нового развлечения и стали бросать червей прямо в него, а потом и запихивать ему под майку. А Шмулик вел

себя, как и подобает, чтобы мы могли всласть повеселиться. Он стал отбиваться, уворачиваться, а потом по-девчоночьи скрючился, прикрывая лицо и все тело локтями. Да к тому же зарыдал, а потом вообще у него началась истерика. Он упал на землю, сжавшись клубочком, и только повторял сквозь слезы: «Робя, не надо. Ну, пожалуйста, не над-д-до...»

Но тут раздался просто душераздирающий крик. Это Шмуликова бабка вернулась с рынка. Она побросала у калитки тяжелые сумки и с какой-то удивительной скоростью, учитывая ее возраст и полноту, бросилась спасать своего внука. Мы же, конечно, тут же кинулись врассыпную.

Это потрясение не прошло для Шмулика бесследно. Бабка жаловалась любопытствующим соседкам, что он три дня пролежал с высокой температурой и вроде как в бреду. И его все время тошнило. Дважды пришлось вызывать врача. Но потом Шмулик потихоньку оклемался. Соседки поахали и тут же разнесли эту информацию по окрестным домам. Так что она очень скоро дошла до наших родителей. Нас, естественно, выпороли. А на очередном совете в семействе Шмулика было постановлено, что он не будет выходить даже в сад, а на улицу – только вместе с бабушкой или с Динкой. А по вечерам, когда родители вернутся с работы, «мы будем гулять, ездить в город и, вообще, всячески развлекаться. А через месяц примерно мы съездим на недельку на Иссык-Куль. Хорошо, Сашенька?» Шмулик уже не возражал.

Так он стал выходить из дому исключительно с бабушкой (ну, или с сестрой, что случалось редко). Куда они, туда и он. Они в город – и он в город, они на рынок – и он на рынок.

А еще примерно через две недели ехали мы с ребятами на автобусе в город по каким-то нашим неотложнейшим делам. Почему-то автобус остановился и довольно долго не двигался дальше. Мы решили даже, что он сломался. Но нет, просто ему перегораживала дорогу довольно большая и плотная толпа. Мы прильнули к стеклам и разглядели с высоты автобуса, что в центре толпы мелькают какие-то фигуры в одеждах ярких цветов – зеленых, красных, белых.

«Клоуны! Смотрите, клоуны! Робя, айда туда!» – крикнул кто-то из нас. Идея, конечно, была вполне безумная. Откуда было взяться « в рабочий полдень» клоунам, да еще посреди довольно

оживленной по фрунзенским масштабам городской магистрали? Но мы как-то мгновенно в это поверили и с криками «Клоуны, клоуны!» выскочили из автобуса, благо водитель уже давно открыл входные двери. Мы юркнули в толпу и очень быстро протолкались в первый ряд зрителей, которые плотным кольцом окружали совершенно пустое и круглое, на манер цирковой арены, пространство, на котором что-то происходило.

Ну, конечно, это были вовсе не клоуны, а совсем даже наоборот. Мы не сразу поняли, что в центре сидит – прямо на земле – бабка Шмулика, держит на руках самого Шмулика, и молча раскачивается из стороны в сторону, как будто его баюкает. И все ее зеленое платье заляпано кровью. А рядом стоит Динка, тоже в зеленом платье, что-то кричит и рыдает, и тоже вся перепачкана в крови. А сам Шмулик лежит на руках у бабки. Лицо белое-пребелое, глаза закрыты, как будто спит. И тоже весь в крови. Вот откуда все эти яркие пятна, которые мы углядели из автобуса. А еще в нескольких метрах от них стоит «Победа». Ее дверцы распахнуты. А рядом с ней, и тоже на земле, сидит, должно быть, водитель, обхватив голову руками, И тоже раскачивается.

Потом приехала «Скорая» Выскочило несколько человек в белых халатах, хотели взять у бабки Шмулика, но та так вцепилась в него, что пришлось унести их вместе. Потом и Динку посадили в ту же машину, и они уехали. Толпа потихоньку стала редеть и распадаться.

Кто-то из очевидцев в сотый раз пересказывал опоздавшим, как все произошло: «Ну, девчонка-то перебежала дорогу. А малой-то за ней. А бабка на другой стороне осталась и кричит, чтобы он возвращался, малой-то. А он как раз посередь улицы стоит. А машины уже едут в обе стороны. Ну, он и заметался, и как раз угодил во-он под ту «Победу».

Как потом выяснилось, он угодил под машину «очень удачно», т.е. умер тут же на месте. «И хорошо, что так. Хоть не мучился, бедняга...»

Через несколько дней Шмулика похоронили. Для большинства из нас сам процесс похорон был еще в диковинку. Хотя на войне очень многих поубивало, но это ж на войне. А в нашей мирной жизни пока еще царило бессмертие и никто не умирал. Поэтому

многие из нас в обязательном порядке намерены были присутствовать на похоронах.

Но накануне похорон отец Шмулика, весь черный, как нам показалось, обошел все дома, в которых мы жили, и просил родителей, чтобы мы на похороны не приходили. Нас и не пустили, мол, «да-да, конечно, мы понимаем». Хотя эта просьба отца вызвала все-таки неоднозначную реакцию общественности. Я сам слышал, как одна соседка с неудовольствием говорила другой: «Уж больно эти... Финки... нос задирают. Уж и на похороны к ним не приди...»

А через несколько дней мы узнали, что Финки собираются продавать свой дом. Но они, видимо, не стали дожидаться покупателей, а просто заколотили дверь и ставни дома, оставив на заборе объявление «Продается». А сами тихо съехали, так что никто из нас не заметил. Только через полгода, уже зимой, в доме Шмулика появились новые жильцы.

Мы продолжали жить, как и прежде. А вскоре начался новый учебный год. А потом еще один. И мы все реже вспоминали и Шмулика, и его нелепую смерть. Ну, разве что, когда проходили мимо бывшего дома семейства Финков. А потом жизнь и вовсе всех нас закружила. Детство кончилось. Наступила мятежная юность. Новые дружбы, первые, вторые и десятые любви, мечты и планы. А потом, как водится, пришла и скучная взрослая пора. Где теперь все эти сорванцы с фрунзенской окраины? Разметало нас по бескрайним просторам родины, а то и закинуло за ее пределы. И вся эта история с нашим бедным недобриателем, казалось, совсем выветрилась из памяти. Словом, все забылось. И, казалось, навсегда. Но со временем мне все чаще вспоминается Шмулик и вся эта грустная история из моего в целом очень счастливого детства. И все чаще я испытываю что-то похожее на чувство собственной вины. Хотя вроде бы какая тут личная вина? А вот поди ж ты...

Давид Шехтер

ПРИНЦ И НИЩИЙ

Б. – второму сыну и второму мужу

Небо за окошком почернело, дождь бил в толстое стекло с такой силой, что были слышны удары капель. Рав Кнингл покачал сокрушенно головой, на которой даже в самолете красовалась черная шляпа, и с треском задернул пластмассовые жалюзи.

– Если так будет продолжаться, мы просидим здесь еще очень долго, – сказал он и откинулся на спинку кресла.

– Да, вот уж, действительно, разверзлись хляби небесные, – подхватил его сосед, Йошер.

Некоторое время молоденький хасид с курчавой, иссиня черной, будто крашеной бородкой и почтенный раввин просидели в тишине, каждый погруженный в совсем не веселые мысли. Самолет, летевший из Тель-Авива в Нью-Йорк, вот уже три часа пережидал плохую погоду в Нью-Арке, и, судя по всему, ожидание затягивалось надолго. А значит – летели в тартарары все планы, так тщательно разработанные в Израиле.

Весь многочасовой перелет рав Кнингл и Йошер почти не общались друг с другом. Несколько ни к чему не обязывающих фраз, да совместное участие в молитвах, в хвосте самолета. Конечно, они представились друг другу и даже выяснили, что не имеют общих знакомых. Но на этом все и закончилось.

И вот теперь, желая как-то скоротать время, которое после вынужденной посадки застыло, как жена Лота, рав Кнингл начал разговор с молодым соседом. Он вытащил из-за уха полуседую пейсу, расправил ее во всю длину, внимательно осмотрел и стал аккуратно наматывать на указательный палец правой руки.

– Хотите послушать историю, случившуюся у нас в Реховоте? – обратился он к Йошеру. Тот радостно закивал – перспектива просидеть сиднем, и без всякого общения еще несколько часов в самолете явно его не радовала.

– Хочу сразу же подчеркнуть – она произошла не со мной и даже не с моими знакомыми. Вообще, вся эта история стала известна мне совершенно случайно. Когда я расскажу ее, вы сами поймете, почему почтенные люди не очень-то стремились о ней разглагольствовать.

Синагога “Коах Иешурун” – одна из самых древних в нашем городе, если, конечно, можно применить слово «древний» к синагоге, насчитывающей чуть больше девяноста лет. Хотя, впрочем, и сам наш город молод – Реховот основали в конце девятнадцатого века студенты, приехавшие в Эрец-Исраэль после первого погрома.

Как известно, тайная организация, организовавшая убийство русского царя, отстранила от всякого касательства к покушению поляков и евреев. Тем самым, считали они, удастся предотвратить гонения на национальные меньшинства. Какая наивность! Едва по стране разнеслась весть об убийстве, первой же реакцией на нее стали погромы. И тогда еврейские студенты из Харькова и Одессы решили, что больше ждать нельзя – следует начать строить еврейское осударство.

Так появились поселения Ришон ле-Цион и Реховот. “Коах Иешурун” не была первой синагогой Реховота, но когда ее строили, с трех сторон простирались пески, а с четвертой тянулись к раскаленному небу тоненькие деревца апельсиновой рощи. Со временем поселение превратилось в город, и вплотную к синагоге подступили дома.

Ну, дома-то ладно, чем они ближе, тем больше людей приходит на молитву. Беда в том, что разросшаяся с годами апельсиновую рощицу выкорчевали. А на ее месте построили стадион. Да так, что одну из его трибун отделяли от синагоги считанные метры.

Нормальная жизнь в “Коах Иешурун” прекратилась. Да и какая жизнь, если каждую субботу очередной матч, и болельщики местного “Бейтара” неистовствуют так, что в синагоге не услышать не то что хазана, а собственного голоса?

Реб Янкл Магид рассказал, что в Одессе была аналогичная ситуация. Там специально соорудили вплотную к синагоге танцевальную площадку, динамики которой выли как демоны. Но в Одессе такое глумление устроили гои, и не просто гои, а большевики, весь смысл жизни которых заключался в борьбе с религией. А здесь, в Реховоте, это учудил муниципалитет, депутаты которого чистокровные евреи, а некоторые даже носят на голове кипу!

Разговаривать с болельщиками бесполезно – только начинался матч, они превращались в настоящих демонов: размахивали флагами, танцевали – от радости, если “Бейтар” выигрывал, и выли – от горя, если проигрывал. С децибелами их воплей не мог бы сравниться самый мощный динамик. Мы так и прозвали их – демоны.

Рав Кинигл замолчал, размотал свою пейсу, снова замотал ее на палец и продолжил.

– Мы, я имею в виду все религиозное население Реховота. Конечно, само прозвище придумали в “Коах Иешурун”. И никто иной, как тот самый Янкл. Он, вообще-то, человек странный. Работает кладовщиком на военной базе и от скуки составляет шахматные задачи.

Я не большой любитель шахмат, считаю занятие ими чистой потерей времени. Чем просиживать часы над доской и передвигать фигурки, лучше выучить еще один лист Гмары. Или сделать еще одно доброе дело. Не знаю, не знаю... Не судья я любителям этой игры.

Как и не судья Янклу, который от составления задач не то чтобы тронулся умом, но погрузился в другой мир и большую часть времени пребывает именно в нем. Так он и коротает дни – пыльный склад, докучливые сослуживцы, крикливые дети. Но есть у этого Янкла редкое свойств – как скажет что-нибудь про кого-нибудь, будто припечатает. И приклеится эта кличка навсегда. Так и с болельщиками было – как прозвал он их в сердцах демонами, так и прилепилось это к ним.

– И никто не возмутился, не подал в суд?– осмелился прервать плавную речь рава Кинигла сосед. – За подобное оскорбление этот Янкл мог здорово поплатиться.

– Ничуть не бывало,– усмехнулся рав Кинигл, – болельщикам прозвище так понравилось, что они стали писать на своих футболках и знаменах – “Желтые демоны”. Поэтому Янкла никто не

тронул. Да и что с него взять, мягко говоря, человек странный, даже в Йом-Кипур в синагогу не заходит. Шахматы ему заменили Всевышнего...

– А чем же ему болельщики тогда помешали?– спросил Йошер.

– Да живет он просто рядом с синагогой, и рев этих демонов не давал ему спокойно предаваться сочинению шахматных задач.

– М-да, демоны – это серьезно. Шутить с ними нельзя,– сказал Иойшер. – Написано ведь у Раши со слов рава Пинхаса, что в шестой день были созданы шесть существей: мужчина, женщина, пресмыкающиеся, домашние животные, дикие звери и бесы, то есть – демоны.

– Совершенно верно, молодой человек, совершенно верно, – покивал головой рав Кинигл. – Но все, что я до сих пор рассказал – это только прелюдия. А главное заключается в том, что буквально в нескольких сотнях метров от “Коах Иешурун” находится просторный пустырь. Не застроили его в нашем Реховоте, так нуждающемся в жилье, лишь потому, что принадлежит он муниципалитету, а там никак не могут решить под что его лучше использовать.

Расположен пустырь чрезвычайно удачно – недалеко от синагоги, за тремя высокими домами. И дома эти столь мощная преграда для воплей демонов, что на пустыре их практически не слышно. Поэтому у одного из руководителей “Коах Иешурун”, назовем его, скажем, реб Зайц возник дерзкий замысел: отдать старую синагогу городу – пусть власти делают с ней, что хотят – а взамен получить пустырь и возвести новое здание. Тем самым никто из прихожан старой синагоги не будет потерян, а в новом здании воцарятся, наконец, благословенные покой и тишина, каквые и приличествуют дому Господню.

– Знаете, к счастью я совсем немного столкнулся с муниципальной бюрократией, но даже на своем скромном опыте убедился, что любое маленькое дело она способна тянуть годами. А что уж говорить про такую серьезную операцию! – воскликнул Йошер.

– Именно это все и повторяли в один голос автору замысла. Но тот оказался человеком упрямым, совершенно уверенным в своей правоте. К тому же, и об этом критики не догадывались, у него имелся точный план реализации своего на первый взгляд безум-

ного замысла. Дело в том, что этот реб Зайц был, хоть уже и в летах, но завидный жених.

Двадцать лет он прожил в любви и согласии со своей женой Klarой, пока Всевышний в одночасье не призвал эту святую женщину к себе. Реб Зайц остался один, дети выросли и уже не нуждались в опеке. Ему вполне хватало на достойное существование – реб Зайц имел магазинчик по продаже религиозной литературы, который приносил устойчивый доход. Это вам не шахматные задачки, с продажи которых Янкл Магид мечтал разбогатеть. Магазин – это магазин, а на религиозные книги, благодарение Всевышнему, спрос всегда будет.

Продажей книг он занялся не сразу, посвятив до этого много лет юриспруденции. Но адвокатские дела хоть и приносят неплохой доход, но уж очень хлопотны. А реб Зайц после стольких лет занятий практической юриспруденцией хотел тихой жизни, размеренного распорядка дня, который позволял бы ему с чувством молиться утром, вздремнуть после обеда, а вечером, не отрываясь на суету сует, посидеть час-другой за Гемарой.

Дела в магазине шли по давно заведенному распорядку, и свое время и силы реб Зайц посвящал синагоге, где был одним из ведущих помощников раввина. Когда раввин умер, то прихожане из уважения к памяти покойного (к кому?) не выбрали нового. И получилось, что всеми делами стал заправлять габай, которого никто, собственно, не выбирал и не уполномочивал. Безобразие, конечно, форменное безобразие!

Поэтому в голове у реб Зайца и созрел многоступенчатый план, который должен был одним махом решить много проблем – дать семейное счастье реб Зайцу, сделать его официальным главой синагоги, а ее прихожанам обеспечить нормальную обстановку во время молитв. И надо тут сказать, что от этой перспективы у реб Зайца голова немного того, закружилась. Мало того, что он уже фактически руководил синагогой, он теперь мог стать и ее законным раввином. Но соответствовал ли наш реб Зайц столь высокому званию? Честно говоря, он и сам не раз задавался этим вопросом. Ведь раввин – это не просто человек, обладающий определенным набором знаний в Талмуде и Галахе. Он не только должен уметь разобрать сложный момент в Гемаре и разрешать многочисленные бытовые вопросы, с которыми к нему бегают каж-

дый день прихожане. Раввин, ведь это пастырь, да-да, пастырь своей общины. И его не только интеллектуальные, но и моральные качества должны соответствовать. А если нет, то – горе пастве, горе и раввину.

– И как же понять, соответствует человек такому званию?– спросил Йошер.

– Всевышний посылает испытание. И по тому, как человек это испытание проходит, становится ясно...

Вдруг рав Книггл остановился, отпустил свою пейсу и поднял вверх указательный палец правой руки.

– Вы чувствуете, мы поехали? – радостно воскликнул он. – Или мне это кажется?

Рав Книггл поднял пластмассовые жалюзи и приник лицом к окошку. Самолет, действительно, двигался, мягко покачиваясь из стороны в сторону. Но движение происходило в абсолютной тишине. Похоже, аэродромный тягач вытягивал лайнер с полосы куда-то в сторону.

Предположение казалось верным, дождь ничуть не утих. Наоборот, тучи приобрели свинцово-мрачный цвет, спустились и нависли над аэродромом. Одна из них заполонила весь оком и из ее рыхлого, одутловатого брюха то и дело вылетали изогнутые желтые молнии. Туча походила на гигантскую медузу, тянувшую свои раскаленные щупальца к аэродрому. Самолет явно отгоняли подальше от этих молний. Ни о каком взлете не могло быть и речи.

Рав Книггл разочарованно опустил жалюзи.

– По-видимому, нам суждено провести здесь еще немало времени, – сказал он. – Хотите узнать продолжение истории?

– Конечно, вы ведь остановились на самом интересном!

– Что ж, тогда слушайте. План реб Зайца заключался в том, что он должен был жениться. Невесту он присмотрел уже давно – хорошую девушку из приличной семьи. Так получилось, что хоть и не обладала она никаким пороком, но засиделась в невестах. И не потому, что была некрасива. В молодости с ней произошла неприятная история.

Как и полагается религиозным девушкам, Мирьям – так ее звали, обручилась, окончив школу. По хасидскому обычаю, а отец ее был истовым хабадником, в синагоге созвали гостей. Выпили, закусили и жених, высоко подняв гартл, дал обещание жениться.

Все шло хорошо почти до самой свадьбы. Но за несколько дней до хупы, когда уже был снят зал и разосланы приглашения, жених исчез.

Конфуз ужасный, девушка несколько месяцев стыдилась выйти на улицу. Потом как-то всё успокоилось, но женихи начали обходить ее стороной. Рассуждали так: если её суженый решился на подобный шаг, наверное, увидел в будущей жене очень серьезный недостаток. Потом, правда, выяснилось, что этот самый жених оказался не совсем вменяемым и, в конце концов, угодил в сумасшедший дом. Но об этом мало кто знал, и вину за случившееся возлагали на Мирьям.

А реб Зайц знал, и потому дурная молва его не смущала. Он ничуть не сомневался, что эта девушка, несмотря на разницу в возрасте почти в пятнадцать лет, будет ему прекрасной женой. Хотя бы в благодарность за то, что он спас ее от судьбы старой девы, которая везде не сладка, а уж в обществе ортодоксальных евреев...

Вы спросите, какое это имело отношение к синагоге? А самое прямое. Отец Мирьям был видным функционером одной из религиозных партий и много лет занимал пост вице-мэра Реховота. Его связи помогли бы протолкнуть в муниципалитете решение о переводе “Коах Иешурун” на новое место.

Итак, все складывалось как нельзя лучше. Реб Зайц сделал предложение, и оно было с благодарностью принято. Дело шло к свадьбе, как вдруг случилось страшное событие.

Несколько месяцев в Реховоте свирепствовал таинственный насильник. Несколько женщин стали его жертвой – в кустах городского сада, на пустыре одной из окраин. А одно изнасилование произошло в доме жертвы – злодей проник через балкон и надругался над женщиной среди бела дня, прямо на супружеском ложе. Насильник оказался столь изощренным и осторожным, что полиция, несмотря на все усилия, не могла его изловить. Ну, в самом деле, невозможно ведь держать полицейских на каждой улице и на каждом пустыре! Единственное, что оставалось делать полиции – это извещать население о каждом случае насилия и просить граждан соблюдать максимальные меры предосторожности.

Реховот объяла паника. Женщины опасались появляться в одиночку на улицах не только в вечерние часы, но и днем. В некото-

рых районах даже были созданы добровольные дружины, которые патрулировали улицы. Эти меры принесли плоды – насилия прекратились. Но все понимали, что маньяк никуда не исчез, а затаился и выжидает удобный момент для следующего преступления. Эти предположения, увы, оказались верными. И очередной жертвой стала Мирьям.

За несколько недель до свадьбы Мирьям возвращалась вечером домой от ребетен, дававшей ей уроки по законам соблюдения семейной чистоты. Глава хабадской общины Реховота жил в нескольких минутах ходьбы от дома Мирьям и девушка не чувствовала никакой опасности. Кто может напасть в религиозном районе, где на улицах всегда полно людей? Но в тот вечер, как назло, в квартале, который нужно было пройти Мирьям, чтобы добраться до дома, прохожих не оказалось. Злодей затащил девушку в темный подъезд и беспрепятственно сделал свое дело.

Все планы реб Зайца рухнули. Даже если бы он проявил великодушие, а реб Зайц был очень добрым и великодушным человеком, и забыл бы о том, что случилось, то преступить заповедь он никак не мог. Реб Зайц был козном, и жениться мог только на девственнице. Казалось, что все кончено, и злой рок, преследовавший Мирьям, в очередной раз встал на пути к ее семейному счастью.

Но тут с реб Зайцом захотел поговорить отец Мирьям – реб Кливленд. Он позвонил ему и предложил встретиться в городском парке. Появление реб Зайца в доме у бывшей невесты могло вызвать пересуды, а в парке они могли столкнуться как бы случайно.

Реб Кливленд был явно смущен. После нескольких фраз о здоровье и о погоде он замолк, снял шляпу и долго вытирал платком мокрый от пота лоб. «Мне очень жаль, – думал реб Зайц, глядя на своего несостоявшегося тестя, – но все эти разговоры бесполезны. Я не могу отступить и перестать быть козном».

И тут, решившись, реб Кливленд заговорил. Осторожно, словно горячие камешки, перебирая во рту слова, он произнес несколько фраз, приведших реб Зайца в замешательство. Несмотря на насилие, Мирьям осталась девственницей.

Как раз в момент нападения она пребывала в ситуации, которая случается у каждой женщины ежемесячно, и злодей совершил с ней содомский грех. Поэтому, несмотря на всю горечь, боль и унижение, в соответствии с галахой девушка не была запрещена

козну. Проблема заключалась теперь в другом. Женившись на ней, реб Зайц не перестанет быть козном. Но доказать это другим ему будет весьма затруднительно. Не будешь же всем рассказывать, что на самом деле произошло!

– Да, реб Зайцу не позавидуешь, – сочувственно пробормотал Йошер. – И как же он вышел из этого щекотливого положения, какое решение принял?

– А вот этого я пока не знаю, – ответил рав Кинигл. – Известно только, что отец Мирьям посоветовал ему обратиться к Ребе.

Любавичского Ребе уже давно нет в живых, но существует способ получить от него ответ – надо написать записку с вопросом и вложить ее в одну из книг Ребе – «Игрот ха-кодеш». Как ни странно, способ работает – многие люди получали ответы на самые сложные вопросы.

Конечно, все равно, где написать записку и засунуть ее в книгу. Но, как говорят знающие люди, самое лучшее – это приехать на могилу Ребе в Нью-Йорке. Пойти в микву, хорошо помолиться на могиле и попросить Всевышнего в честь заслуг праведника помочь решить твою проблему. Хабадники оборудовали прямо на кладбище небольшое помещение, и в нем есть все необходимое для того, чтобы написать квитл.

Я не знаю, что решил реб Зайц, не знаю, какой ответ он получил или получит. Но до сих пор Мирьям живет в доме отца. А синагога, понятное дело, стоит на своем месте и каждую святую субботу ее стены сотрясаются от неистовых воплей желтых демонов.

Рав Кинигл отпустил свою пейсу и она, соскользнув, повисла, покачиваясь в воздухе и почти доставая до его плеча. Он посмотрел на нее, быстро смотал и заправил за ухо, а оставшийся длинный конец убрал под большую ермолку из черного бархата.

– Вот такая вот история, – сказал он, не глядя на собеседника.

– Да, ничего не скажешь, история так история, – ответил Йошер. – Но, вы не знаете самого важного!

– Что такое?! – подкинулся рав Кинигл.

– У меня тоже есть история. Я тоже еду на могилу к Ребе, чтобы задать ему вопрос.

– Неужели? – с облегчением вздохнул Рав Кинигл. – И вы?

Йошер перегнулся через сиденье рава Кинигла, поднял жалюзи и посмотрел в окно.

– Я вижу, ничего не изменилось,– сказал он.– Хотите послушать?

– Конечно, – воскликнул рав Кинигл, – конечно!

– Человек, которого вы видите перед собой – начал Йошер, – то есть – я, внешне ничем не отличается от любого ортодоксального еврея моих лет. Та же черная шляпа, с загнутой по хабадскому обычаю передней тульей, черный костюм и белая рубашка в будни, капота в шабес койдеш. Днем я работаю – перевожу с русского, иврита и английского, вечером учусь в нашем Бейт-Хабаде. Семья, дом, дети в “Бейт Хана” и в “Томхей Тмимим”. Но все это не пришло само собой, как у большинства моих сверстников и нынешних единомышленников. Я преодолел длинный и тяжелый путь, прежде чем понял – кто я, что я, чего хочу в этом мире, и что он хочет от меня.

– А, так вы баал-тшува... – протянул рав Кинигл.

– Да нет, не совсем. Этот термин в моем случае не совсем точен. Вернуться можно к тому, где ты когда-то был или к чему-то, что у тебя когда-то было. А что еврейского было у меня – воспитанника вильнюсской спецшколы?

В нашей среде особое значение придают такому понятию, как обычай отцов. Особенно в Хабаде. Хасиды, жившие в Советском Союзе, совершали чудеса веры и преданности Всевышнему. Вы слышали, конечно, о подпольных ешивах, существовавших в СССР, о тайных хедерах, о хасидских детях, не переступавших порог советской школы и никогда в жизни не пробовавших некошерной еды. И это в условиях советской власти! А какие обычаи достались мне от отца? Посещение профсоюзных собраний? Участие в ленинских субботниках – если вы понимаете, о чем я говорю?

Хуже того, мой отец не был оболванен и превращен в послушного робота, как многие советские граждане. Он был человеком думающим. И поэтому искал правду, смысл жизни. Искал долго, ошибаясь, ушибаясь, получая удары, от которых еще долго оставались синяки – и на теле, и в душе. Он дошел, в конце концов, до понимания того, что мир наш создан Творцом и управляется им. Но, Б-же мой, каким же извилистым был этот путь. Чего только он не перепробовал!

Йошер замолчал и некоторое время теребил свою небольшую густую бородку.

– Прекрасно помню, как в нашем доме висела большая икона, освященная на Афоне, под ней курились восточные ароматические палочки, а возле них стояла фотография Любавичского Ребе.

Отец даже какое-то время попал под влияние суфистов. Шарлатанов, наживавшихся на наивных искателях правды. Таких искателей в Вильнюсе собралась целая компания, и они по несколько раз в год летали к своим гуру. Каждая поездка в Среднюю Азию стоила немалых денег – билеты и, понятное дело, подарки гуру. Все это было за счет семьи, детей, но отец и не думал об этом. Он находился в каком-то дурмане и не мог спокойно говорить о своих среднеазиатских баях, которых считал духовными учителями. А баи умели привязать к себе, да так, что человек – вроде бы нормальный, с высшим образованием, инженер – становился их духовным рабом.

Потом уже я узнал, что они отправляли мужчин просить милостыню на базары. А женщин насиловали каждую ночь. И все это происходило под видом “ломки гордыни”. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не мой дядя Давид.

Он тоже искал Бога, но нашел его очень быстро – там, где и полагается. Как-то раз он приехал навестить нас из Мариуполя, где жил с моими бабушкой и дедушкой, и когда увидел, что творится с отцом, то сперва ужаснулся, а потом начал чистить ему мозги, засоренные баями. Давид был старшим братом, и отец прислушивался к его мнению. К тому же Давид уже успел кое-чему научиться у заезжих раввинов, да и у таких столпов Хабада в СССР, как реб Ури Мышов, которого Давид, а вслед за ним и отец, называл просто – адмор. И на все побасенки суфистов, которые отец выкладывал перед ним, как высшие проявления человеческой мудрости, у Давида были готовы быстрые и точные ответы, показывавшие всю незатейливость этих побасенок, рассчитанных на людей с неразвитым интеллектом.

Перед отцом открылся новый мир, и он с головой ушел в иудаизм. Но вот тут случилось нечто непредвиденное. Моя мать, которая до той поры спокойно переносила все духовные поиски мужа, вдруг встала на дыбы. Иудаизм, в отличие от других религий, не ограничивается философскими беседами, да ни к чему не обязывающими умозаключениями. Он требует действий, причем во всех сферах человеческой жизни. А менять привычную жизнь мать не

хотела. Отношения с отцом начали ухудшаться, и полный разрыв произошел, когда отец решил подать документы на выезд в Израиль.

Мать заявила, что литовская природа и русская деревня ей намного ближе ближневосточных пустынь и гетто в Бней-Браке. От женщины с фамилией Йошер это было слышать несколько странно. Правда, девичья фамилия матери – Бринская, была чуть благозвучней для русского уха, но, как шутили евреи в СССР, бить будут не по паспорту, а по морде. В этом смысле моя мать должна была стать одной из первых жертв будущего погрома. И все же она уперлась с такой пылкостью, переходившей чуть ли не в ненависть, что отец развелся.

Вот так и вышло, что я с отцом оказался в реховотском центре абсорбции “Ошиот”. Мать с моей младшей сестрой осталась в Вильнюсе. Но ненадолго. Налетела послеперестроечная буря, и мать очутилась в Чикаго. Там она и коротает теперь свою одинокую старость. Зачем ей понадобилось ломать жизнь себе и отцу – не понимаю до сих пор. Но и не спрашиваю. Во время редких визитов к ней рассказываю о своих детях, об их успехах и планах и не ворошу прошлое.

Все это длинное отступление я сделал для того, чтобы рассказать о странном соседе, однажды вселившемся в соседнюю с нами квартиру центра абсорбции. Уже сам факт того, что ему – одиночке, дали трехкомнатную квартиру в «Ошиоте», предназначенном для семейных, говорил о том, что у этого соседа или имелись большие заслуги перед Израилем или он обладал серьезными связями.

В нашем центре абсорбции, или мерказухе, как мы ее называли, жили репатрианты из СССР, Ирана, Румынии, Аргентины. А вот из Англии оказался только один – наш сосед Вильям. От других обитателей мерказухи, вечно озабоченных то изучением иврита, то трудоустройством, то поисками квартиры, Вильям отличался самым разительным образом. Во-первых, он никуда и никогда не спешил. Во-вторых, человек он был молчаливый.

Целыми днями бродил он по апельсиновым садам, окружавшим с трех сторон мерказуху и наполнявших воздух таким ароматом, что, казалось, кто-то разбрызгал в воздухе духи. В ульпан Вильям не ходил, резонно посчитав, что и с одним английским он

сумеет прекрасно прожить в Израиле. А английский был у него просто потрясающий!

Я как один из лучших учеников лучшей вильнюсской школы с английским уклоном мог оценить это в полной мере. Вильям был не просто из Англии, а из Лондона. И не просто из Лондона, а самым настоящим кокни. То есть он родился в центре Сити и вырос под звуки колоколов церкви Святой Марии на Боу. Евреи здесь не жили, но отец Вильяма работал закройщиком в знаменитом ателье Равенскрофт, которое уже несколько столетий шьет костюмы королевской семье, членам парламента и палаты лордов. Это и позволило семье еврейского портного снимать квартиру в самом сердце того, что принято называть “старой, доброй Англией”.

Благодаря и произношению кокни, которое вызывает у англичан чувство благоговейного если не восторга, то уж точно уважения, и связям отца Вильям поступил в военно-морскую академию и стал офицером королевского флота. О своей карьере он много не распространялся, но просил всех называть его “капитан”, предпочитая этот титул своему имени. Впрочем, я порой называл его «дядя Вили». Я был единственным из обитателей мерказухи, с кем капитан подружился. Наверное, потому, что остальные по-английски говорили с трудом.

А меня капитан привлек романтикой моря. Передвигался он, как и все люди, проводившие большую часть жизни на качающейся палубе, в развалку. Голос у него, как мне тогда казалось, был стариковский, дребезжащий. И этим голосом он постоянно распевал морские песни – про соленые брызги, срывающиеся с верхушек волн, одиночество ночной вахты, прекрасную девушку, не дождавшуюся моряка и выскочившую замуж за тупоголового, но обеспеченного фермера.

Из всего его обширного репертуара лишь одна песня была на идиш, но пел он ее постоянно. Она была такая же длинная и грустная, как и его морские песни. Но о чем говорилось в ней, я не знал, поскольку из всего богатства идиш я владел тогда одним ругательством – киш мер ен, ну, сами понимаете, куда. Из идишистской песни капитана я запомнил только одну фразу, по-видимому, припев – “Фуфцен хахомим ойф зйн масехес”.

Сперва я просто выполнял его небольшие поручения – проверить в офисе мерказухи не пришла ли ему почта (чего, кстати, не случилось ни разу), сбегать в киоск за “Джерузалем Пост”, купить пару баночек темного пива “Гольдстар”. Его капитан почему-то предпочитал другим напиткам. Я приносил ему пиво, он со смаком открывал баночку, сразу же выплескивал ее содержимое в рот, закуривал длинную, черную, очень приятно пахнущую сигару и открывал вторую баночку.

Но когда я пытался начать с ним разговор, он только буркал сквозь зубы – “спасибо, малыш”, свистел носом, как корабельная сирена в тумане и бросал на меня столь свирепый взгляд, что вопросы застыли у меня в горле. Точно так же он вел себя и с другими обитателями мерказухи, когда они пытались начать с ним разговор. Поэтому все очень скоро научились оставлять его в покое.

Но со мной отношения у него постепенно наладились и он начал рассказывать мне истории из своей жизни. Сперва – короткие, а затем все более длинные. Это были, без преувеличения, ужасные рассказы. Судя по ним, капитан провел всю свою жизнь на море, среди грубых, жестких людей. Не знаю, были ли они такими на самом деле, но из его описаний они представляли самолюбивыми карьеристами, думающими только о чинах и наградах, да о приключениях за счет казны Ее величества.

Единственное, о чем с теплом и нежностью говорил дядя Вили, – это о своем детстве, о доме, где все любили друг друга, об отце, бравшем его по пятницам в синагогу “испанцев”, находившуюся прямо в Сити, и о матери, всегда припасавшей для него пятничным вечером какое-нибудь лакомство. Он часто вспоминал, как отец каждый вечер садился к нему на кровать и повторял вместе с ним перед сном “Шма Исраэль, А-донай Элокейну, А-донай Эхад”.

Детство было, похоже, единственным светлым моментом в жизни капитана. Все остальные его рассказы были полны описаний людской ненависти, злобы, подлости и жадности.

Но самыми жуткими были истории о Фолклендской войне, в которой капитан принимал непосредственное участие. Его эсминец “Шеффилд” был потоплен аргентинской ракетой, и капитан чудом спасся, получив небольшое ранение. Несколько часов он болтался на спасательном плотике в открытом море, то и дело про-

валиваясь в забытие от холода и потери крови, пока его не обнаружили. Когда капитана доставили на Фолкленды, бои там только что закончились и в одном госпитале в течение нескольких дней, пока их не вывезли, лежали раненые англичане и аргентинцы.

Койка капитана оказалась рядом с аргентинским офицером, тяжело раненым в последний день боев. Бедняге разворотило всю грудь осколком снаряда, и он страдал от страшных болей, которые не облегчали даже наркотики. Офицер то приходил в себя и тогда затихал, то проваливался в забытие и что-то кричал по-испански.

Капитана его крики страшно раздражали, и он попросил убрать его подальше от беспокойного соседа. Но места в другой палатке не было, и медсестра попросила потерпеть буквально несколько часов, пока капитана и всех остальных англичан не переведут на подходящий к островам плавучий госпиталь.

Аргентинец продолжал кричать что-то на своем языке. Но вдруг он странно затих, а потом во весь голос произнес фразу, заставившую капитана подскочить на койке – “Шма Исразэль А-донай Элокейну, А-донай Эхад”. Капитан еще успел увидеть, как тело аргентинца изогнулось, глаза выкатились из орбит, а рот искривился в усмешке. А потом он обмяк, и его неподвижные глаза уставились на капитана.

В этот момент Вилли понял, что больше не желает служить на английском флоте. Вскоре он вышел в отставку – благо выслуги лет у него хватало с избытком, да еще и боевое ранение прибавилось. А затем оказался в мерказухе “Ошиот”.

Через несколько месяцев я уже чувствовал себя в квартире капитана как дома. А он стал пользоваться моими услугами не только для покупки разных мелочей, но и по уборке квартиры. Убирать он не хотел, да и не умел, и договорился, что я буду делать это раз в неделю. Капитан платил щедро, и всегда после завершения уборки усаживал меня в одно из двух казенных мерказушных кресел, стоявших в салоне, сам садился в другое, угощал ароматным чаем и очередным рассказом из своей жизни.

В один из дней, когда я, вернувшись из ульпана, слонялся без дела во дворе мерказухи, ко мне подошел незнакомец. Мерказуха находилась на самой окраине Реховота, и через нее почти никто не проходил. А физиономии всех жителей соседних домов я уже

давно знал наизусть. Незнакомец был бледен, с землистым лицом. Одежда его была чистая, но новая настолько, что было понятно – достал он ее из коробки совсем недавно: рубашка на нем не успела обмяться и складки, оставшиеся от фабричной упаковки, проходили через всю спину и грудь. На левой руке у него не хватало двух пальцев, но этого он ничуть не стеснялся, а, наоборот, все время размахивал ею, словно выставляя напоказ свое увечье.

Я видел, как незнакомец обращался к нескольким жителям мерказухи, и как они разводили руками. Наконец один указал ему на меня. Он подошел и спросил на довольно корявом английском: – Извините, я хотел бы знать, обретается ли в этом доме мой товарищ Вильям?

Я ответил, что капитан пошел погулять.

– А куда, сынок? Куда он пошел?

Я показал ему апельсиновый пардес, в котором ежедневно гулял капитан, и сказал, что он, верно, скоро вернется

– А когда точно?

И, задав мне еще несколько разных вопросов, он проговорил под конец:

– Да, мой товарищ Вильям обрадуется мне.

Но, вопреки этому заверению, я не заметил на лице дяди Вилли особой радости, когда он увидел незнакомца. Пожав ему руку, дядя Вилли предложил незнакомцу зайти в соседний магазин и приобрести чего-нибудь покрепче, чтобы отметить встречу. Я удивился, почему он не послал, как обычно, меня, но промолчал. Едва незнакомец удалился, капитан схватил меня за плечо и усталым голосом сказал:

– От прошлого нельзя так просто избавиться. Даже сменив паспорт. Оно липнет к тебе, как портовая девка, и требует отчета с настойчивостью волн, разбивающихся о пирс. Идем быстрее, мне нужна твоя помощь.

Мы поднялись на лестничную площадку, капитан долго не мог попасть ключом в замок, так у него дрожала рука. Оставив меня в салоне, он прошел в спальню и вернулся с небольшим кожаным портфелем.

– Возьми его, мой мальчик, – сказал капитан, – спрячь где-нибудь в своих игрушках. И никому не говори, что я тебе его дал. А

теперь иди да постарайся, чтобы никто тебя не увидел с этим портфелем.

Сделать это было вовсе не сложно – нашу дверь отделяли от двери капитана десять сантиметров. А дома никого не было. Я положил портфель на пол, набросал на него школьные учебники и вещи, а сам стал у окна салона, из которого была видна улица, ведущая к магазину, и площадка перед домом.

Незнакомец показался через несколько минут. Он пребывал в прекрасном настроении – шел быстро, чуть пританцовывая, держа в правой руке целлофановый пакет, а левой размахивая в воздухе.

Когда дверь в квартиру капитана хлопнула, я прокрался на лестничную площадку и прижался ухом к двери. Но усилия мои оказались тщетными – капитан и незнакомец, похоже, не остались в салоне, а прошли на кухню, расположенную в другом конце квартиры.

Долгое время, несмотря на все старания, я не слышал ничего, кроме невнятного говора. Но мало-помалу голоса становились все громче, и, наконец, мне удалось уловить несколько слов, главным образом ругань, исходившую из уст капитана.

Раз капитан закричал:

– Нет, нет, нет, нет! И довольно об этом! Слышишь?

Шум нарастал, собеседники явно перешли в салон. Потом что-то грузно грохнулось на пол. Я метнулся в свою квартиру. Когда раздались быстрые шаги на лестнице, я выглянул на лестничную площадку. Дверь в квартиру капитана была приоткрыта. Я просунул голову в образовавшуюся щель и увидел капитана, который во всю свою длину растянулся на мозаичном полу салона. Глаза его были закрыты, из уголка рта тянулась тонкая струйка слюны.

Я попытался поднять капитана, но он был слишком тяжел. Тогда я бросился в офис мерказухи и вызвал скорую помощь. Амбуланс приехал буквально через несколько минут – больница “Каплан” находится на расстоянии двух километров от “Ошиота”.

Врач сразу же поставил диагноз – обширный инсульт.

– Он что, сильно нервничал, перенапрягся? – спросил меня врач.

Что я мог ему ответить! Амбуланс отвез капитана в “Каплан” где он и умер, не приходя в сознание. Его немногочисленные пожитки сперва забрали в полицию, а потом вернули в мерказуху – на случай, если объявятся родственники. Но они так и не объявились.

– А что же было в портфеле?– спросил рав Кинигл.

– В тот же вечер, когда стало известно о смерти дяди Вили, я полез в портфель. Но там не оказалось ни денег, ни драгоценностей. Только какие-то бумажки. Я в них ничего не понял и бросил портфель в свой шкаф. Угрызений совести не было – если вдруг приедут родственники, я отдам им портфель. Но, как я уже сказал, они не приехали.

Абсорбция моя проходила совсем не просто, и про портфель я начисто забыл до тех пор, пока мы не переехали через несколько лет из мерказухи на свою квартиру. Я вновь полистал бумаги и понял, что это акции, приобретенные капитаном, а также бумага о передаче их в полное владение, в которой было все – и подпись капитана и печать адвокатской конторы. Оставалось только вписать нужное имя в пустую графу. Но капитан сделал очень неудачное вложение своим нескольким десяткам тысяч долларов – приобрел акции компании, разыскивавшей газ у северных берегов Израиля. Компания занималась поисками уже несколько лет, но никаких признаков газа обнаружено не было. Эти акции не стоили ничего.

Потом, при нескольких переездах, и по мере того, как мой отец под влиянием дяди Давида становился все более и более благочестивым евреем, пока, наконец, не поселился вместе со мной в Бней-Браке, я несколько раз подумывал о том, чтобы выбросить этот портфель с бесполезными бумажками. И каждый раз что-то останавливало меня – скорей всего память о несчастном еврее, попытавшемся найти счастье на Родине, но трагически заплатившем по старым счетам.

Несколько месяцев назад все израильские газеты вышли с громадными заголовками – компания известного израильского миллионера нашла на морском шельфе возле Хайфы крупное месторождение газа. Я вновь пролистал бумаги – капитан в свое время купил акции именно этой компании. Первый же биржевой маклер, которому я показал их, предложил мне за акции миллион долларов, причем был готов расплатиться на месте и наличными.

Я оказался перед серьезной проблемой. Один росчерк пера – пустая графа в купчей будет заполнена моим именем, и я превращусь в миллионера. Но вправе ли я это сделать? Из рассказов капитана я знал, что он был единственным ребенком в семье, а его

родители давно скончались. Начать розыски его родственников? Или взять эти деньги и отдать большую часть на цдаку? Чтобы избавиться от сомнений, я решил приехать в Нью-Йорк, помолиться на могиле Ребе и спросить у него совета с помощью “Игрот ха-кодеш”. Вот так я оказался в этом самолете.

Лицо Йошера озарилось светом. Он заморгал глазами и прикрыл глаза рукавом черного пиджака. Солнце пробилось через тучи, и кабина самолета засияла, заискрилась от сотен маленьких светлых лучиков, отражавшихся в лужах, собравшихся после ливня на бетонном покрытии аэродрома.

– Ну, вот и все, – судорожно вздохнул, как всхлипнул Кинигл, – теперь с Божьей помощью скоро будем в Нью-Йорке.

И он от всего сердца поблагодарил всемилостивого Творца, что Он все прошедшие годы берег его от соблазна.

В свое время капитан Вильям обратился к адвокату Киниглу и он оформил тот самый документ на передачу акций. Уставясь в иллюминатор, Кинигл вспомнил, что копия этой бумаги хранилась в его адвокатской конторе. Когда он отказался от практики, то свалил весь архив в подвал своего дома и с тех пор ни разу не прикоснулся к папкам.

– Г-споди, Хозяин Мира, – молился Кинигл, – ведь денег этих и на синагогу хватит, и мне на всю жизнь. Да что мне – детям, внукам. И не надо будет жениться непонятно на ком, и не надо будет мучаться – коэн не коэн, чиста не чиста...

Избави же меня от этого испытания, оно еще страшней, еще мучительней, чем прежде... Господи, чтобы Ты ни ответил мне через “Игрот ха-кодеш”, первое, что я сделаю, вернувшись домой – сожгу весь свой архив. Господи, я сделаю это, сделаю, сделаю непременно! Только Ты помоги мне, укрепи меня, дай устоять, дай выдержать, дай силы...

ПОЭЗИЯ

Александра ЮНКО

ПРОВОДЫ

Не спится, не спится минутами долгими
от милого дома вдали,
пока проплывают под окнами
красоты заморской земли.

На родине скучно, и грустно, и холодно,
и солнца не хватит на всех,
но мы, как библейские голуби,
уже покидаем ковчег.

В холмы упаду, как в перины с подушками,
укроюсь зелёным листком,
я сплю, не разбудите пушками,
а всё остальное потом.

Летает марля у двери открытой,
стрижи на треугольники кроят
квадрат, на солнце греется корыто
и тяжелеет дикий виноград.

Но и во сне не донесу – куда мне? –
два переполненных ведра
до той черты, где не осталось камня
от моего двора.

Слепым щенком по следу память рыщет,
беспомощно скулит среди руин,
а ветер свищет, как на пепелище,
раскачивая клочья паутин.

По лесенке трухлявой скачут пятки –
взлетаю на чердак, в углу газет
истлевшие подшивки за пять лет,
сухие кукурузные початки,
помёт мышинный, пыль и горы хлама.

За домом, в окровавленной траве,
базарного курёнка режет мама
и плачет по его пропащей голове.

Золотая пора Диониса
и лесов золотое руно.
Молодых пообсыпали рисом,
а из бочек повыбили дно.

Но бунтует в крови беспокойство,
если Бахус в деревню зашёл,
от стакана кагора пропойца
захмелел и свалился под стол.

Уложили его на телегу,
поплывёт он, быками влеком,
по холмам...

И по первому снегу
трезвый ангел пройдёт босиком.

Вечереет, и у краеведа
тщательно записаны в журнал
признаки конца земного света,
жизни окончательный финал.

Вот поэт лежит на чердаке –
и вперил мечтательные очи
в непроглядный мрак бессрочной ночи,
чтоб рассвет увидеть вдалеке.

В ореоле солнечных лучей
бродят куры и играют дети,
весело им жить на белом свете
без метафизических идей.

Проводы, поводы...
Правота
тех, кто однажды –
и навсегда,
так нам тогда казалось.
Длинный сквозняк вокзала.

Всё уже сказано, помолчим,
рот искривляя туго,
как бы из разных двух чужбин
всматриваясь друг в друга.

Поезд ту-ту, уходить пора.
Холодно в лёгком платье.
Пустим по кругу, из горла,
больше не надо, хватит.

Город поблёк и опустел.
Тихо, как на поминках.
Утром встаёшь среди голых стен,
выцветших фотоснимков.

Всё, как всегда, но надежды нет,
разве что ехать следом.
Так нам казалось – всему конец –
тем бесконечным летом.

Зиновий Вайман

ДИПТИХ

From: VAY Zusilo [vayman@ya.ru]
Sent: Wednesday, April 26, 2017 6:19 PM
To: Verica Zivkovic
Subject:

Плывут под облаками облака,
в весеннем ветерке как будто ласка;
и, если солнца вспышка коротка,
пожалуй, что дотянут до Дамаска.

Привет, привет! Великий город сир:
евреев нет... Армянки старо-юной
и след простыл. Но будет, будет мирь—
мірянамъ горбиться над сунной.

Вернутся персы в дивный Исфаган,
там ждут газели-сросшиеся брови;
шииты снова перейдут в Ливан—
забудут о засохшей крови.

А мне идти в свой старый стих-даршан,
Хинном-Геенна, Силоам Сиона,
пускай там турок гладит ятаган,
уже опущен он во время `о н о.

И я сойду в долину твёрдых слёз,
где погребён один писака;
он под свою ошибку как бы вполз...

Ну, ладно, помогли, однако.

И в Верхней Галилее побреду
по каменному ложу шляха...

Ой, ирисы на нём так на виду!

Вплоть до ворот моих, для моего же праха.

И коррелирующий верлибр:

Заходит облако под облако,
но всё же нижнее плывёт от нас,
спрятанных в пещерках Цфата,
в сторону Сирии.

Если не расползётся, не разлетится
то через три часа Дамаск.

Город сир, но не пуст,
и армяне, и марониты
длят свои жизни,
а дети играют в войну.

Мусульмане-сунниты читают Коран.
Скоро мирь.

Персы-арии вернуться к невестам с бровями как чайки над внут-
ренним морем, заливом и озером Резайе,
забывая бои, алавитов и друзей.

Поселюсь в старой строфе
об оживлении в Гихоне,
по руслу Иордана взойду
к моей мамлюкской стене,
где спал невечным сном

Но тянет сойти вниз, в долину,
где есть место успокоения моему телу,

вернувшему анестезированную душу в кромешную пустоту.

Там, у нашедшего последнее пристанище соседа, плита с риф-
мами

и сбоем ритма.

Прямо у ворот, на цельнокаменном

ложе дороги, перед сумерками раскрыты ирисы галилейские, как
они сумели найти щелочки для корешков?

А выдолбленную щель для тщедушного тела зальют бетоном.

Мягкость скальных пород...

Напишите на песчанике как на туфе:

«Был бездуховным и бездушным-бездушным».

Валерий Скобло

ГРУСТНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Алке

Если желать по-вашему – типа: до 120-ти,
То ты, дорогая, конечно, где-то на полпути.
Но отсюда, из Питера – с наивною простотой
Скажу: Все это кажется несбыточною мечтой.
Не обижайся... Ведь если бы так, как я пожелал,
То и 120-летний срок показался бы мал.
Но, знаешь, любовь и преданность в этом мире пока
Мало меняют что-то существенно... даже слегка.
Но ты для меня такая же, как полвека назад,
В городе, канувшем в Лету, по имени Ленинград,
В стране, которой в помине на карте более нет
Что-то около трети срока прожитых нами лет.
Желаю... что тут придумать? ... счастье, здоровье, покой...
Но смысла в этом так мало, что я лишь махну рукой.

НА 50-ЛЕТИЕ ВЫПУСКА МОЕГО КЛАССА

Тот город, в котором мы жили,
звался тогда Ленинград...
Когда мы окончили школу
полвека тому назад.
Нас так разметало по свету,
уже не собрать... никак.
По телефонам забытым
не звони – попадешь впросак.

В который уж раз в этот список
заглядываю... Зачем?
Про пятую часть я не знаю
совсем ничего... совсем.
А друзей из ближнего круга, –
скажу, приемля укор, –
Хорошо покинуть бы первым,
первым – и весь разговор.
Да, пора подводить итоги,
такие вот, брат, дела...
И пятая часть уехала,
а пятая – умерла.

Михаил Юдовский

ОТЧАЯННЫЙ ТЕБЯЛЮБЕЦ

* * *

Три яблока, один стакан с вишневой
наливкой. Мне хочется по новой,
разбрасывая точки и тире,
прислушаться к осеннему сигналу,
сворачивая время, как сигару
катает негритянка на бедре.

Холстом украшен жертвенный треножник.
Твой рыжий и бессовестный художник,
лишенный окончаний и корней,
я ничего, наверное, не значу.
Но посмотри, с какой самоотдачей
я высекаю звезды из камней

и поджигаю спичкою, как порох.
Прости мои полотна, на которых
катаются во всей своей красе
спокойно и уверенно, как Будда,
ветра на крыльях мельницы, как будто
на чертовом вращаясь колесе.

Тебе, должно быть, тесно в этой раме?
Обманутая здешними дарами,
ты губ приподнимаешь уголки,
спеша улыбку на лицо натянуть,
и дергаешь за ниточки на память
завязанные мною узелки.

* * *

Мое сердце прошлось, как осенний странник,
по густым полям, по пустым задворкам,
по поверхности лужи, в свой многогранник
заклучившей небо, по черствым коркам
прокаженных листьев, по рваным звеньям
мимолетностей, возданных мне сторицей.
Я хотел, чтобы время рычало зверем,
откликаясь во мне перелетной птицей.
Я хотел быть раздет до последней нитки,
ощущать опасность, предвидеть гибель
и подсчитывать гордо свои убытки,
как ненужный хлам расточая прибыль.
Я хотел желтоглазой луны лампаду
зажигать под вечер в безлюдном сквере
и под ней пророчествовать до упаду,
ни на грош предсказаньям своим не веря.
Наблюдая, как мир надо мною меркнет,
и готовый верить, что он несметен,
я себя ощущал до смешного смертным –
потому что, наверное, был бессмертен.

* * *

Посиневшими от алкоголя ночами,
она видела смерть у меня за плечами
и у смерти из рук вырывала косу,
осыпая такую сердечную бранью,
что, укрывшись под облака шкуру баранью,
зимний месяц тощал и дрожал на весу.

И плескалась смущенная жидкость в стакане,
и осколками льдинок звенела о грани,
и невнятным осадком ложилась на дно.
И светлело окно, и, прямая, как шпала,
неприятно оскалившись, смерть отступала,
на бесцветных обоях оставив пятно.

Но однажды, когда ничего не осталось –
только наша зима, только наша усталость –
растворившись в одной на двоих темноте,
мы шагнули совпавшими стрелками в полночь.
И напуганной птицей, зовущей на помощь,
выкипающий чайник свистел на плите.

* * *

Октябрь еще на грани беспредела,
еще на придыхании тоски,
когда готово собственное тело
упасть и разлететься на куски.

Когда деревья выгибают скрипки
с чернеющими прорезями эф,
и фонари, плывущие, как рыбки,
над головой зажгутся буквой «Ф».

Когда невольно спящих и неспящих
бросает от безвыходности в дрожь,
и за окном созвучием шипящих
бормочет заикающийся дождь

о том, что жизнь давным-давно разлита,
как из лампы выплеснутый свет.
И речь его настолько посполита,
что ты шипишь невнятицу в ответ.

* * *

Не всё коту матрица – есть и периферия.
В сердце моем сумятица – сколько себе ни ври я,
к дьяволу в зубы катится московская джамахирия.

Верю или не верю я, барственно или смердно –
пух полетит и перья от глядевшегося несметно.
Так умирает империя – все империи смертны.

Падают камнем соколы, бьются о землю символы.
Быстро века процокали, взлетевшие хиросимою.
Останется лишь на цоколе трехбуквие негасимое.

Кузня грохочет молотом, в чане играет сера.
Я говорю: «Ну, скоро там?» Дышит темно и серо
осень в моем расколоте сердце легионера.

Ирина Маулер
“БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ”

Издательство “Время”, Москва, 2012
Серия: Поэтическая библиотека

Ирина Маулер - самобытный, необычный художник слова. Краски у нее обязательно сливаются со звуками, и возникает тончайшая, проникновенная поэтическая цветомузыка. Рождаются поразительно одухотворенные стихи - отринув вечное верчение тяжких жерновов жизни, они парят над повседневностью. Творчество это очень светлое и буквально заряжено солнечным талантом автора. Книгу можно приобрести, обратившись по электронному адресу : mauler13@mail.ru

Денис Соболев

АНАБАСИС

« 1 »

Памяти Константина Кикоина

Белесый парус на горизонте, почти не виден.
Море бьется и разбивается прибрежной пеной,

Голубые чайки скользят над водой неспешной,
А корабль расправляет снасти, сушит якоря.

Где же линия горизонта, за которой врата зенита?
Где же звезды полями, немеркнувшие, как ноты?

Позади заката, позади столпов, бесконечно море,
Там луны и солнца звездопадом восходят звуки.

Не качайте ж якорем при прощанье, не спускайте
Парус. На ветру без тени еще будут бухты и будут

Скалы. Уходящий на запад корабль еще встретят
Циклопы с глазами, спрятанными в ладонях.

Вдоль лукавых лагун еще будут танцевать русалки
Со светящимися глазами в теплеющем счастье ночи.

И пройдут по обрывам тысячеглазые лотофарги.
Все, что не было, еще не забыто, но уже возможно.

Если и вправду, как они говорят, земля кругла,
То и дорога к закату за морем ведет к восходу.

Так не верьте боли, не прощаясь, раскройте парус,
Оглянитесь на океан у краев песка под ногами.

Оставшиеся на берегу прощально бросают камни.
Корабль тает. Легкими парусами, полными ветра,

Он уже в пути, по ту сторону заката.

« 2 »

Вой шакалов в воздухе, где один.
Где туман пуст и прозрачен, сер
И никого. Где слова не сказать,
Не услышать звука, обращенного.

Как холодно в мире без зимы,
Как холодно в земле страстей.
Как жарко без прикосновенья,
Как жарко в городе без любви

Между холодом и жарою тени.
Тень, как скорлупа, спрятана и
Полна, безжизненна, напряжена;
Одиночество, в ожидании, в не-

Сбывшемся. Заунывный шакалов
Вой и чашка кофе на краю стола
В душе без людей. Откроются
Пряные ворота памяти, дыхания

Слез. Вьется канат души, натянут,
Напряжен, до крови. Что же есть
Один? Боль, пустота, полнота,
Рвет. Подойди. Но не сказать. Это.

« 3 »

Пространство шума полно движением,
Приходят, уходят, одеты, блестят полы.
Здесь не восходит мысль, не восходит
Чувство. Пустыми шагами шумят поля.

Пылью и стружкой, железом, взглядом
Машины, потные, сквернословящие,
Тяжелые, и за прилавком, улыбающиеся
Хищно. Вечером стены, выпить, забыться.

Улицы без улиц, имена без имен, бетон
Без дома, без голоса шум. Бесчисленных
Экранов слова без памяти, без значения.
Где место для глаз в городе без земли?

Но здесь же взглядом прорастает мысль,
Здесь любовь возможна, хотя и забыта,
Здесь данное уже не дано непреложным.
Город ничто звенит надрезом на сердце.

« 4 »

Среди столпов, среди столбов, среди ветвей,
Там, где счастливые тени стоят волной,
Где руки протянуты, браслетов и ног длинней,

Ступни высоки и упруги, горят золотой наготой
Легки глаза, и сверкают всплески шагов.
Горечь еще не мертвит, а радость полна весной;

Шепотом плачут восходы; рядами оленьих рогов
На банданах, хоровод ведут на полянах;
Шагами густыми по стенам, уханьем пьяных сов.

О, магия легких шагов, пустых слов, в этих странах,
Недолгим влеченьем открытых, теплою
Близостью губ, бахромою ветров в весенних ладонях,

Нежным и полым желанием глаз. Наполнено силой,
Дрожанье потного тела бьется в руках.
Ночи в огнях, слова без мысли, сменяются пустотой.

Все ли в хороводе откинутых волос, пальцев, сосков
И бедер было жаждой и пустотой? Волною
Тщеславия, маской скуки, светлым голодом тела?

Было ли в ладони что-нибудь кроме пепла? Только ли
В памяти живет радость? Или в горсти смеха?
Теплые тела дышат на островах. Вспыхнувшая искра,

Горит ли еще, помнит ли себя среди пустошей памяти?
Мелькнувшая нежность не всегда посереет
Прахом. Остается ли смех тела на косогорах души?

А посветлевший воздух скользит за лодкой, между.

« 5 »

Тропа петляет, сумерки ветвятся,
Деревья в тумане, черные без снега.
Ты думаешь, что день; но, наверное,
Это ночь. Ночь голосов, рук и зубов.

Голоса, еще голоса. Они зовут, кричат,
Шумят, визжат, кажутся тебе знакомы.
К тебе ли они, ко мне? Или беснуются,
Безликие, в пустоту? Выкрикивают ее.

Тени скользят в тумане, ты не один,
Не один никто. Сколько их вокруг,
В исступлении бьющихся, сопящих:
«Ненавижу», «смерть». Здесь страшно.

А вот и тени любви, выпрыгивающие
Из-за сосен, вспыхивают на мгновенье.
Как полны они слов легкости, доверия,
Благородства и красоты. Приблизятся.

Ты берешь в ладони руку, теплеющую
Как снег. Накрой ее второй ладонью,
Поднеси к губам. В твоих руках кости
Трупа чужой души. Призраки смеются,

Раздваиваются, исчезают. Тени друзей,
Протягиваешь к ним руки, пытаешься

Обнять, задержать. Они не знают тебя.
Проходят в ночи, ночные огни без слез.

Когда душа их рвалась, они приходили
К тебе; твои карманы все еще полны
Их слез. Но они сыты, твое имя забыли.
Скользят в темноте, меньшие, чем тени.

Страшно или пусто – там где ничего?
Призраки в призрачном, спрятавшиеся
В тени и тумане душ. Как их разглядеть?
Тропа ветвится, как дерево над землей.

Пой же, труба, голосом разгони сумрак.
Пой о всех тех, кто не хочет убивать.
Пой же о вере и самообмане, потому
Что они прекрасны. Пой о тех, кто

Не призрак. Кто человек.

« 6 »

После огней, боли и ночи, остаешься один.
Горька ошупь серого; здесь дорога пуста,

Широка и неощутима, краем и навсегда.
Полет сквозь чужой воздух, вёрсты нигде.

Позади, где пенится чувство, свет и отчаянье,
Падает тень забытого счастья, будущего «нет».

Позади, где пляшут бесстыдные черные рыла,
Должен и совесть ноют надрезом на сердце.

Но не так по ту сторону скалистого ущелья,
Не так впереди дороги, где нельзя вернуться.

Одиночество коже, нагой, холодом на морозе;
Так оно лежит болванкой пустоты, где гаснет

И дальний свет. Прекрасно и пусто мерцание
Бессловесных звезд. Бьется вода о край лодки.

Тихий плеск за бортом, где уже нет слова ты.
Тихий плеск за вселенной, где я – лишь горечь.

« 7 »

Черно-белое

Белые глаза пространства не боятся тьмы,
Я не буду слушателем пустоты.

Встать, проснуться,
Забыть во сне.
Черные: калечат,
Белые: ко мне.

Грязная белая пена скользит, по волне,
Огни пропадают в темноте воды,

И я снова слышу, как цветет миндаль
И еще...

« 8 »

Белая, рассветная, уходящая к невидимым холмам и дальним озерам;
Здесь и дорога: прекрасно сотворенное. Вот оно рядом, наполнено
Дыханием: здесь и зовет. Так тело мира лежит перед глазами души.

Прекрасны снега севера; разве можно забыть их, тепло их воды.
Прекрасен жар Индий, его дожди; что сравнится с потоками пота,
Скатывающимися по телу. Прекрасны пустыни и прекрасны горы.

Но и страшны они. Ледяные поля без края, за их горизонтом лежит
Лишь смерть. Города людей, распухших от голода, отчаявшихся.
Джунгли людей, распухших от сытости и довольства; равнодушных.

Дорога, открытое! Дорога протягивает руки, но как собрать ее?
Мироздание изобильно и изобильно страданием. Говорят, оно создано
Чтобы хвалить Тебя, но не это ли значит наполнить сердце? Горам

Со склонами без берегов не коснуться неба, но неба коснется аорта.
Разбитое сердце ближе к синему, и в страдании Твои руки ближе.
Но почему Ты молчишь? Ты создал мир, чтобы говорить с тобой,

Но где Твой ответ? Ты протягиваешь дорогу удивления и страданий,
Но здесь ли на ней любовь? Выше лугов и гор, снега и пота, счастья и
Отчаянья, выше тела, прозрачное увидит белое, дорога вернется к на-
чалу.

Так славься же Ты, сотворивший каменных зайцев из породы сло-
новых,
Сотворивший многоголовые тела, полные счастья и пота, сотворивший
Раскрытую книгу, перед глазами, от нее начинаются шаги удивления.

Сотворивший дорогу.

« 9 »

Как волны низкие стремятся к берегам,
Пологим и пустым, высоким и просторным;
Как аиста полет к огням и облакам
Кружится над землей далекой нитью черной;

Так памяти земли горит обетованье.
Горит и там, где прошлое тускнеет в полутьме,
Уже неуловимое в ладонях, но живущее в огне;
Шумит и среди темных льдов очарования

Страстей; настойчиво звенит в надежде и в золе,
В густой воде ручьев и на тугом ветру залива.
Но больше чем на льду, в пыли, песке, в долинах,
Душе, раскрывшейся и в милосердьи, и в тоске,

Свеченье вечности откроется, пребудет на рассвете
И во тьме, в пыли сердец, склоненных в состраданье.

Где время светится, там отступает темный страх;
Где вьется долгий путь надежды, зацветают на горах

Кусты сирени, бугенвиллии, любви и воскрешенья.

Евгений Витковский

ИЗ КНИГИ «ГРАД БЕЗНАЧАЛЬНЫЙ»

БОБРУЙСКОЕ ГОНЕВО. ОММАЖ ЭФРАИМУ СЕВЕЛЕ.

Черта оседлости – вполне плавильный чан.
Сама себя за хвост история поймала.
Возьмите бобруйчан, возьмите жлобинчан –
поймете сразу же, что сходства очень мало.

В Бобруйске не у всех дворянские гербы,
не каждый подкупить Рокфеллера способен,
но помнят старики, как некогда жлобы
приплыли по Днепру и заселили Жлобин.

Соседу нервному история нужна,
однако хочется его спросить сурово:
что было б, откажись питать Березина
речушку, что ползет на юг от Бочарова?

...Какой найти предлог, какой найти глагол,
как ныне объяснить тунгусу и вогулу,
что составляло мир бобруйских балагол,
как называли тут любого балагулу?

Попробуйте взглянуть в магический кристалл,
но вряд ли вам понять, уж сколько ни вникайте,
тот легендарный дух, который процветал
в незабываемом бобруйском идишкайте.

Он меньше слаще был, чем сахар и сироп
но много ли того, о чем припомнить стыдно?
Не зря же круглый год благоухал укроп,
и даже попадья жила на Инвалидной.

Здесь православный знал, зачем кусочки хал
перед субботой сжигали в печках тётки;
здесь тот, кто свитки рвал, от тифа подыхал,
а кто кресты ломал – тот подыхал в чахотке.

Здесь протекала жизнь, как струйка в решето,
и только имена переставляла драма
всегда по несколько, чтоб не держал никто
Абрама-Хаима за Хаима-Абрама.

Попробуй поискать – везде найдется перл,
Тевье какой-нибудь, или скрипач на крыше.
Легендой балагол был Арбитаила Берл,
который, так сказать, чуть шире был, чем выше.

Чтоб отравиться вам, какой он был атлет!
Теперь таких найти не думай даже назло.
А если кто и есть – о том и мысли нет,
чтоб он не победил какого-то шлемазла.

Кто мир без балагол тогда представить мог?
Печально, что песком любая станет глыба,
а в городе давно не сорок синагог,
но ведь одна-то есть, вот и на том спасибо.

Былое возратить и думать не моги:
халястра все-таки совсем не дом культуры,
и в вечность убрели былые битюги,
в потемки увозя давно пустые фуры.

Посмотришь в небеса – и не увидишь дна,
и не найдешь в стогу пропавшую иголку,
и в Иордан течет река Березина
и в море Мертвое уносит треуголку.

МИСТИКА ВАГОНА-РЕСТОРАНА

Все фигуры стоят не на своих местах <...> Это совсем другая партия. Это...

Стефан Цвейг. «Шахматная новелла»

Здесь холодных закусок не меньше пяти
и супов тут не менее двух ежедневно,
и четыре вторых можно тут обрести,
и легко растолстеет любая царевна.

И похоже на полный горячечный бред
что не надо стесняться поганой привычки,
что спокойно тебе принесут сигарет,
и бесплатно дадут драгоценные спички.

У бригады ночной – превосходный улов,
и ни в ком никогда никакого протеста,
хоть всего-то в вагоне двенадцать столов
и за каждым – четыре посадочных места.

И неважно, что цен не бывает в меню,
и волнуются зря заграничные тетки,
что на завтрак приносят одну размазню,
что ни стерляди нет, ни кеты, ни селедки.

И сомнительный блеск в баклажанной икре,
и в графинах сырая вода из колодца,
и когда молока не нашлось для пюре,
то и масла с гарантией в нем не найдется.

Но зато по секретной полночной тропе,
за целковый, полтинник. а то и полушку.
принесут без вопроса в любое купе
поллитровку, а если попросишь – чекушку.

У кого-то припрятаны чай и лимон,
и буханка всего лишь вчера зачерствела,

и рыдает бариста, ночной ихневмон,
и похоже, что это другая новелла,

Он прикован у стойки, едва ль не распят,
он стоит, обреченные плечи ссутулив,
и молчит ресторан, лишь печально скрипят
сорок восемь навеки оседланных стульев.

Этот сейф на колесах – удар по глазам,
тут становится каждый герой паникером,
и шипит, словно тигр, уссурийский бальзам
собираясь сцепиться с немецким ликером.

Развалиться не может никак эшелон,
лишь грозит балаганом картин леденящих
этот самый шикарный на свете салон,
этот ржавую плесенью съеденный ящик.

Не вагон уползает – уходят года,
вспоминаясь и реже, и хуже, и меньше.
А в плацкартных, давно не спеша никуда
сухарями чуть слышно хрустят унтерменши.

Здесь не ад, здесь не рай, не Олимп, не Аид,
не удача матроса, не горе солдата,
то ли поезд спешит, то ли вовсе стоит,
пробираясь откуда-то, как-то, куда-то.

Место возле окна потеплей облюбуй,
и, быть может, услышишь, припавши к стакану,
как свистит паровоз возле станции Буй
на далеком пути от Москвы к Абакану.

ЛИРИКА ДВУХ СТОЛИЦ

Тянется пятидесятый псалом,
еле мерцает лампада.

Перекрестились под острым углом
два Александровских сада.

Кружатся призраки двух городов,
кружатся в мыслях и датах
вальс петербургских двадцатых годов,
вальс москворецких тридцатых.

Ветер колеблет листву и траву,
и проступает ложбинка,
та, по которой неспешно в Неву
перетекает Неглинка.

Тени и света немая игра,
приоткрывается взору
то, как по Яузе ботик Петра
переплывает в Ижору.

Это два вечных небесных ковша,
это земная туманность,
это не то, чего просит душа,
это бессмертная данность.

Можно стремиться вперед или вспять,
можно застынуть угрюмо,
можно столицы местами менять –
не изменяется сумма.

Вот и рассвет, просыпаться невмочь,
и наблюдаешь воочью,
как завершилась московская ночь
питерской белою ночью.

Память неверная, стершийся след,
временность и запоздалость –
то, чего не было, то, чего нет,
что между строчек осталось.

Белая ночь обошла пустыри,
небо курится нагое.
Две повстречавшихся в небе зари
движутся на Бологое.

ОТТО ЛИНДГОЛЬМ. РУССКИЙ МОБИ ДИК. 1866

Ни шашек здесь, ни пешек, ни фигур,
ни флейт, ни саксофонов, ни гобоев,
не Нантакет, а крошечный Тугур,
пристанище воров и китобоев.

Катран, сивуч, косатка и дельфин.
По морю мчится дикая охота:
два негра, два якута, с ними – финн,
романтик-финн, тридцатилетний Отто.

Простор освободился ото льда,
и рвется растерзать морское лоно
прилив пятисаженный в час, когда
звучит тяжелый вздох евроклидона.

И за кормою птичий шум и гам,
и воздух прян и сладок, как наркотик,
и котики лежат по берегам,
и человека не боится котик.

А капитан в подсчетах и в мечтах,
он окоем осматривает синий,
он знает много больше о китах,
чем знал о них философ Старший Плиний.

И капитану думать не впервой
что море повинуется мужчине,
и что киту от шхуны паровой
не схорониться ни в какой пучине.

Ни для кого сегодня не секрет
что капитан от мира не оторван,
он ищет амбру, кожу, спермацет,
и если не китовый ус, то ворвань.

Гребцы отлично ведают о том,
что правит капитан нетерпеливо
туда, где лупит по воде хвостом
чудовище Шантарского залива.

И этот кит к сражению готов,
он белого, неправильного цвета,
и он к тому же больше всех китов,
и это очень скверная примета.

Любые люди для него – враги,
и знают китобои на Тугуре,
что древних гарпунеров остроги
еще торчат в его бесцветной шкуре.

Вот – разворот, и снова – разворот,
плавник взметнулся на огромном теле,
удар хвоста – но ускользнул вельбот,
летит гарпун – и снова мимо цели.

Не соберет богатырь богатыря,
противник силой равен китобою,
здесь повстречались два морских царя
почти что с одинаковой судьбою.

Исхода нет сражению владык,
у каждого из них – своя держава,
не победит зловещий Моби Дик
зловещего шантарского Ахава.

Вельбот не приближается к киту,
пусть покидают силы кашалота,
но он опять ныряет на версту,
и вновь его не загарпунил Отто.

И капитан опять спешит на дек,
не в силах сдаться ни душой ни плотью,
не ведая, что романтический век
обрушился в утробу кашалотью.

Этот кит посещал Шантарскую бухту всегда один, никогда не пуская фонтана и только высовывая из воды дыхательное отверстие и часть головы; только один раз, когда автор почти что ударил его гарпуном, он ушел, сделав прыжок, который поднял большую часть его тела из воды. Цвет его был желтовато-серый, и на его спине было несколько белых пятен, одно из которых делало белым его дыхательное отверстие, что и давало возможность его узнавать. Множество уткородок виднелось на его коже и передняя часть головы была покрыта щетиною. Размеры его были громадны и вид его производил впечатление не кита, а скорее морского чудища прошедших веков.

Отто Линдгольм

Вышла новая книга

Феликс РАХЛИН – "Афулей Первый и Шлёма Иванов".

Лирика, юмор, сатира.

Издательство "Достояние", Израиль, 2014.

С фотографией и автопортретом автора. Художественное оформление обложки Нинель Шаховой (Афула)

Автор книги - лауреат израильской литературной премии имени Виктора Некрасова (2014). Живёт в г. Афула.

Цена книги - 25 шекелей (включая стоимость пересылки).

Обращаться к автору по тел. в Израиле 04-6528488,
из-за рубежа - +972-4-6528488.

Проект «Большой Литературный клуб» (БЛК) существует с 2009 года и уже восемь лет проводит ежемесячный многоступенчатый конкурс поэтических произведений.

Состав редакторов и номинаторов постоянно меняется, что дает возможность участникам клуба показать свои работы экспертам самых разных литературных направлений, особенно перед подачей на международные премии. В финале БЛК 2016 года приз симпатий журнала «Артикль» получили Ирина Рыпка и Анастасия Винокурова.

Ирина Рыпка

я ли тебе не ялик

я ли тебе не ялик сон твой и колыбелька
яблоки опадали сахарные поспели
вихри над нами охры шелесты под ногами
ахи и охи вздохи всё что случилось с нами
город сусальным золотом украшен в этот месяц
я ли тебе не лада мир под ладонью тесен
пахнет домашним хлебом мятным имбирным чаем
я ли тебе не ева та что была вначале

Анастасия Винокурова

СКРИПАЧКА

Т. Л.

Когда-то у Лины были огромные залы,
бесспорный талант и волшебная скрипка Амати.
Едва ли кто понял, зачем она вдруг сказала:
«Пожалуйста, хватит!»

Едва ли кто слышал, прозрачный финал профукав,
как мир под смычком незаметно, но явно треснул:

так много фальшивых улыбок, друзей и звуков –
что больше неинтересно.

Амати вернулась в родную свою Кремону.
В письме прилетело: «Grazie, Violina!» –
у мастера Пьетро, прославившего неугомонным,
играют четыре сына,

и – вроде – второй обещает стать знаменитым...
а Лина теперь выступает на перекрёстке.
Смешной пяточок, дождям и ветрам открытый,
отныне – её подмости.

Она поднимает руки в привычном жесте
(пусть нет инструмента больше – волнение то же).
Невидимый взгляду, нервный смычок трепещет,
и струны внутри всё тоньше.

Случайный прохожий думает по ошибке:
«Такая худая – хоть пару монет на ужин...»
Но Лина ворчит, не глядя: «Опять фальшивки!» –
швыряет их прямо в лужу.

Умы в магистрате задумчиво репы чешут:
– И что нам с ней делать – никак не сообразим мы!
– У каждого города собственный сумасшедший.
Скрипачка – отличный символ!

Проходят недели, годы, идут туристы.
И лишь горожане сердито несутся мимо:
«На что тут смотреть? Хотя бы одета чисто...
Нелепая пантомима!»

Но вдруг раздаётся, небесного пенья краше:
«Ну, мама! Постой! Неужели не слышишь – Моцарт!...»
И скрипка летит, захлёбывается в пассаже –
и, наконец, смеётся.

Илья Корман

СТИХИ ИЗ СТАРОЙ ТЕТРАДИ

ДИАЛОГ

Я откинусь, холодея,
Лоб ладонью сжав.
– Что, трудна теодицея,
Если Я неправ?
– Прокусить аорту крови
Или яд лизнуть,
Если Ты неправ в основе
Или в чём-нибудь.
– Облака – Мой белый китель,
Радуга – Мой флаг;
Я – Господь, Творец, Вершитель...
– И антропофаг.

Не напиться, не топиться, и не для свидания –
Я хожу вокруг колодца вот с каким желанием:
У Творца не заслужил я – что ж! – аудиенции,
Но хотя бы гляну в прорезь для корреспонденции.

Про меня не сложат песен
И уйдут,
Только окна занавесят
Там и тут.
Кто-то глянет мимоходом,
Просто так –
Всё останется, как было,

На местах.
И улыбка, словно тина –
По лицу.
И сотрут меня с холстины,
Как пыльцу.

Смотрит на гнутый ковыль
Глаз Волопаса,
Носится ржавая пыль –
Пепел Клааса.
Края не видно беде,
Сноса – колодкам...
Скоро я выйду к воде,
Кину щепотку.
Стану свирелью ночной,
Записью нотной.
Стану холодной звездой –
Тайной, болотной.

Что письмо? Листок в конверте
С росписью чернил.
Ты же так заждался вести,
Что лишился сил.
Но очнись! – несёт награду
В сургуче и хлястике
Фея лестничных площадок
И почтовых ящиков.

И вот, подвязавшись бантом
И запахнув халат,
Странного арестанта
Велел привести Пилат.
Махнувший на всё, пресыщенный,
Познавший, что всё – вотще,
Не знающий, что есть истина
И есть ли она вообще.

То ли сад бормочет-кается,
Что не выучил урока,
То ли ветер спотыкается
О колено водостока.
Чтобы саду впредь не хмуриться,
Не дрожать понурым франтом,
Сорок тысяч белых жужелиц
Налетят ночным десантом.
И зима опустит, скромница,
Белые свои ресницы.
Белым сном кусты наполнятся
И согнутся в поясице.

Ветка нагнулась лазутчицей грустною,
Глянула в форточку – и распрямилась.
И донесение бросила устное
Ветру – на гнев его или на милость.
Сразу ударили градины свежие,
Бисер посыпался на мостовую –
И побежал сумасшедшим невежею
Взапуски с ветром и напропалую.
Вот наскочил на кого-то в воротах
И за грудки ухватил простофилю:
Хвастает на ухо и в отвороты,
Как его встретили и проводили.

Не для вящей глухой молвы,
Не грядущего эха ради –
Я зареюсь в листья травы,
Как в неизданные тетради.
И, как будто бы стянут в жгут
Слуха, шороха и волненья,
Как глухие читают с губ,
Я прочту Твоё откровение.

Виктория Лепко

Но вот сбылось! Я вновь на воле!
Брожу одна среди полей, Пишу стихи, и лучшей роли
Мне не сыграть на склоне дней.
А сколько судеб самых разных
На сцене я прожить смогла!
Но вольности священной праздник Сегодня праздную одна.
Какой спектакль даёт Природа!
Ежеминуто, день за днём,
Всегда, в любое время года – Премьера за моим окном. Здесь
каждый роли получает Из рук Великого Творца.
И без суфлёра жизнь играет, Не ведая её конца.

Я пью холодное вино
Осенней утренней прохлады.
Я в опьянении давно
От разноцветья листопада. Мне праздник осени милей
Всей летней зелени цветенья.
Лишь осень в душе моей
Любви рождается смятенье,
Когда вечерний свод небес
Так полон звёздными плодами, Как будто яблоневый лес
Растёт у нас над головами.
И так и тянется рука
Сорвать тот плод, извечно грешный.
И так желанна и близка
Летит звезда сквозь мрак кромешный.
Но дождь печально зарядит
Свой монолог неутомимый,
И всё, что манит и пьянит,

Туманом станет или дымом.
Но эта грустная пора
Неторопливого прощанья Всегда надеждами полна,
Как будто встречи обещанье.

Я – дерево, несущее плоды.
И пусть они ничтожны и малы,
Но я все силы, что мне дал Господь,
Вложила в них, и кровь свою, и плоть.
Я их кормила соками души.
Надеялась, что будут хороши.
Что не напрасен будет этот труд,
И семена на землю упадут,
А там листва опавшая моя
Их будет греть, от холода храня.
И соки, что текли в моём стволе,
Дадут им силы прорасти в земле, Чтоб радостною солнечной весной
Из тьмы пробиться жизнью молодой.
Я – дерево. И все мои плоды
Вокруг меня раскинули сады,
Чтоб снова повторять из года в год Таинственный любви круговорот.

ЗРЕЛИЩЕ

Мне довелось пройти пути
Среди лукавых игр и масок.
И в отражении найти
Лицо, не знающее красок.
Оно зияло пустотой
В зеркальном преломленье света. И образ каждый раз иной
Являло зеркало портрета.
И вечер замыкался в круг,
И сцена занавес вздымала,
И упоительный испуг
Дышал из темноты провала!
Игра, как омут забытья,

Влекла, и сил нет отказаться.
И жизнь чужая, как своя,
Должна на сцене состояться.
И каждый день, как в первый раз,
Прыжок из глубины портала,
И на распятыи сотен глаз, Глядящих на тебя из зала.
И если сможешь ты отдать
Им жизнь и душу на потребу. К тебе снисходит Благодать, А зрителю не нужно хлеба!

ПОЭТ И МУЗА

Поэт и Муза – два лица?
Или одно? Вопрос извечен, Как тот цыплёнок из яйца.
Где здесь начало? Кто конечен? Когда рождается Поэт,
Когда к нему приходит Муза?
А может, Муза с детских лет Поэту страшная обуза?
Она души его изъян,
Порочный круг его мышлений.
Поэт и Муза, вот капкан,
Где жертва ищет наслаждений. Поэт без Музы – пустоцвет,
Не дав плода, он погибает.
А Музе нужен ли Поэт?
Что их союз объединяет?
Но Муза без него нема,
Лишь он её напевы слышит. И лишь в его игре ума
Она живёт, пока он пишет!

Патриархальные приметы –
Записки, письма от руки.
И телеграфные приветы,
И телефонные звонки.
Всё канет в прошлое однажды,
В забытость, в давние века.
А я держусь за лист бумажный,
Пока не дрогнула рука.

Пока живёт воображенье
И вдохновенье сердце жжёт,
И белый лист, как вождельенье, Моих прикосновений ждёт.
Писать, зачёркивать и снова,
Кроша в руке карандаши,
Искать единственное слово
Для обнажения души.
И ночью вскакивать от дрожи,
Чтоб в темноте найти тетрадь,
И те слова, что всех дороже, Рукой в тетради написать.

Все лики женские – всё я!
Во всех картинных галереях.
Я здесь веками жду тебя, Свиданье каждый день лелея.
Однажды мой зовущий взгляд
С твоим восторженным сольётся, И время повернёт назад,
И сквозь века любовь прорвётся. И среди глазеющей толпы
Мы в одиночестве пребудем.
В пространстве, где лишь я и ты, Течение времени забудем.
И в этот сокровенный миг
Откроются все тайны девы,
И ты увидишь сквозь мой лик Лицо единственное Евы.

В преддверии вечерних встреч
И разговоров полуночных
Я тишину хочу сберечь, Чтобы её растратить ночью.
Я, как скупой, коплю слова,
Себя в молчанье одевая,
Но только ночь придёт едва, Предстану пред тобой нагая.
Я сброшу свой дневной обет,
Как Саломея покрывало,
Чтоб всем твоим словам в ответ Речь моя музыкой звучала.
Чтоб голос твой меня ласкал
Словами нежными, как ветер, Чтоб шёпот твой принадлежал
Лишь мне одной на белом свете.

ВОКЗАЛ ЖИЗНИ

В темноте полуночной вокзальной сброды,
Где светились, как праздник, детские лица,
Ты искал меня долго, пока непогода Продолжала о стёкла вокзальные биться.

Мне казалось, что Вечность легла между нами.

Поезда отправлялись с гортанным криком. И пока у них в чреве горело пламя, Можно было ехать по рельсам с шиком.

А наш поезд дышал туманом морозным.

Он так долго стоял на запасном пути,

Что когда ты нашёл меня, было поздно — Наш поезд последний успел уйти.

И тогда, позабыв обо всём на свете,

И, как мусор, отбросив стыд,

Мы по шпалам бежали за ним, как дети, Об ушедшей жизни рыдая навзрыд.

ИЗРАИЛЬ

Ветер под вечер приблизился к морю

В землю упал и зарылся в песок.

И среди звёзд, во Вселенском просторе, В море смотрелся задумчивый Бог.

В шорохе, в шёпоте нежном прибоя

Слышен молитвы печальный напев. Где-то звезда одинокой свечою, Падает в море, ещё не сгорев.

В неге слиянья души и природы Нету начала и нету конца.

И все желанья смирились, как воды.

Перед великим молчаньем Творца.

Вне времени, вне срока, вне страны Рождается божественная Вера.

Как созревают осенью плоды,

Так жизнь нужна, чтобы душа созрела. Незрелая душа, как кислый плод,

Ни радости не даст, ни насыщенья.

А может вызвать лишь, наоборот, Своим примером к вере отвращенье.
Но если с детства, не смыкая глаз,
Трудиться над душою постоянно, Она однажды расцветет у вас
И даст плоды прекрасные нежданно. Все рухнет в прах: богатство,
суета, Развеются сомнения химеры.
И пред душой откроются врата
Любви, Надежды, Мудрости и Веры.

ГОЛОС КРОВИ

Как к океану, к сердцу моему Стремятся реки множества сосудов.
Они несут живительный поток,
Что продлевает жизнь и будит разум И пищу дивную даёт воображенью.
Порой я слышу в собственной крови
Татарских жён печальные напевы
И тихий шёпот старческих молитв
У Храмовой стены Иерусалима.
А с берегов Днепра многоголосье Казачьих песен не даёт уснуть.
И шелестящий шёпот польской речи, Порой я слышу в собственной крови.
И вот когда все слившись в океан, И на волнах любви меня качая,
Мне бабушкиным голосом споют:
“Спи, моя радость!”
Лишь тогда пойму я, Каким великим языком единым, Со мною
голос крови говорит!

СТЕНА ПЛАЧА

Стена устояла в стенаниях, Насквозь пропитавшись от слез. От
просьб, от молитв, от рыданий, От жертв, что принес Холокост!
Стена лишь сильнее сжимала
От боли зубцы своих глыб.
Она день и ночь поминала
Всех тех, кто за Веру погиб! Ее вековое терпение
Вселяет надежду в людей.
И смело идет на сражение,

К Стене прикоснувшись, еврей.
И белою стаей, как птицы,
Записки несутся к Стене,
Чтоб там навсегда поселиться, Как птицы в родимом гнезде.
Ни время, ни враг не нарушит Стены горделивый покой.
В ней символ Израиля – души, Нам жизнь подаривших с тобой!

Прости меня, мной сорванный цветок!
Ты распустился на моей дороге.
Ты был как я печально одинок.
И ты любовь свою дарил немногим. Я принесу тебя к себе
домой,
Чтоб ты украсил скромное жилище. И чтобы красотой своей
немой, Моим стихам ты дал живую пищу. Ты расцветешь в фан-
тазии моей
На клумбе мной придуманного сада.
Там нет ни мрака, ни холодных дней.
Там лето вечное, за жизнь твою награда!

НОҢ-ФИҚИШ

Меирман Алибекулы

К 100-ЛЕТИЮ «АЛАШ ОРДЫ»

Алашская автономия – существовавшее в начале XX века на территории современного Казахстана автономное государственное образование, под управлением правительства, именовавшегося «Алаш Орда». История Алаш Орды напрямую связана с развитием государственной и политической мысли, культуры, науки и образования всего казахского народа начала XX века.

Предлагаем вашему вниманию переводы стихотворных произведений активистов движения «Алаш» Ахмета Байтурсынова и Магжана Жумабаева.

Ахмет Байтурсынов – поэт, ученый, тюрколог, переводчик, педагог, публицист, общественный деятель, лингвист. В 1913 году Байтурсынов вместе с Алиханом Букейхановым и писателем Миржакипом Дулатовым открыл в Оренбурге газету «Казах». В 1917 году участвовал в создании казахской партии Алаш, был одним из организаторов и руководителей правительства Алаш Орды.

Созданная им и названная его именем графическая система позволила быстрее ликвидировать неграмотность. Новый алфавит, получивший название «Жана Емле» («Новая орфография»), до сих пор применяется казахами, живущими в Китае, Афганистане и Иране.

В июне 1929 года, во время творческой поездки в Кызыл-Орду, Ахмет Байтурсынов был арестован. В 1931 году ученого отправили в трехлетнюю ссылку в Архангельскую область. В 1937 году его арестовали во время новой волны репрессий. 8 декабря 1938 года Ахмет Байтурсынов был расстрелян как враг народа.

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ КАЗАХОВ

перевод Мухамет-Халела Сулейманова

Мы были белыми гусями,
Едиными и равными в строю,
Парили вольными над чистыми лугами,
Ныряли в родниковую струю.

Невесть откуда взявшийся пожар,
Огнем всю нашу доблесть, честь слизал.
Лишь у немногих тлеет сердца жар,
У большинства – пожар его пожрал...

Сегодня много бьющих в грудь себя,
Свою предусмотрительность хваля.
Умишка лишь на то хватает им,
Чтобы хватать себе в ущерб другим.

Сегодня стало много болтовни,
Делячества, снобизма напоказ,
Но деловитость, только пальцем ткни,
Как пыль с кошмы, слетит бесследно враз.

Богатых также много развелось,
Но толк от них – напиток горьких слёз,
А больше всех – любителей поспать,
Носителей пустых мечтаний, грёз...

Увы, нет больше ценностей у нас,
Богатым нужен скот,
Ученым – власть,
И мало уж кому – народ...

(1908 г.)

СОВРЕМЕННОЕ БЫТИЕ КАЗАХОВ

перевод Мухамет-Халела Сулейманова

Мы в утлой, старой, ветхой лодке
Сидим без весел, без ветрил.

Дёрем мы, споря, свои глотки,
Плыдем... А сумрак путь затмил.

Плыдем туда, куда нас волны,
Как щепку могут отнести.
Одни проклятия и стоны
Никак не смогут нас спасти.

И до судьбы такой плачевной
Мы не сегодня добрались,
Уже давно, единство предав,
Мы по лачугам разбрелись.

Сшибаясь, грызлись мы друг с другом,
Считали сена каждый стог...
Устав терпеть вражду и ругань,
Другим угодыя отдал Бог.

Вот тут-то мы и прослезились:
“Пристать бы к берегу, вот-вот...”
Но с мыслью многие смирились:
“Что отнял Бог, то Бог вернет”.

(1909 г.)

МОЕМУ НАРОДУ

перевод Мухамет-Халела Сулейманова

Дружно взяться ты за дело
Неспособен, мой народ,
Там, где прямо ходят смело,
Ты идешь – спиной вперед.

Как вороны, дружной стаей
Любишь празднества чинить,
Ловко выклянчив у баев,
Нищенский “зякат” делить.

Уравниловку ты любишь,

К даровитым нетерпим.
Все брюзжишь да брови супишь,
Дескать, что неймется им?

Энергичных и толковых
Норовишь ты сбить с пути.
Любишь серых, безголовых,
Чтобы медленней идти.

А когда дойдет до дела,
Суетишься, как дитя,
Правишь лодку неумело,
Навыков не обрета.

Если знающий подскажет –
Возопишь, как на хулу.
Опыт творчества не нажит,
Не привык ценить заслуг.

Разве в том мы заводные,
Чтоб друг другу насолить?
Оттого нас бьют чужие,
Что готовы им служить...

(1908 г.)

После февральской революции Магжан Жумабаев был введен в состав областного комитета партии Алаш. На Втором Всекиргизском съезде в Оренбурге избран вместе с Ахметом Байтурсиновым в комиссию по составлению школьных учебников. В начале 1918 года поэт был арестован и около 7 месяцев просидел в тюрьме Омска. Эстетические и художественные взгляды Жумабаева формировались в годы общественной активности и противоборства. Им было задумано создание литературного объединения казахских писателей, которое он назвал «Алка» («Коллегия») и написал программу организации. Данное намерение было расценено большевиками как признак национализма, попыткой алашординцев реанимироваться и вредить советскому строю. Идея Жумабаева объединить поэтов и писателей Каза-

хстана впоследствии выразилась в создание Союза писателей Казахстана летом 1934 года. Магжана Жумабаева, как алашординца, пантюркиста и японского шпиона, арестовали в Петропавловске, а затем осудили на 10 лет лишения свободы. В 1936 году, благодаря ходатайству Максима Горького, он был освобожден досрочно. 30 декабря 1937 года Жумабаев снова подвергается аресту, а 19 марта 1938 года был расстрелян НКВД.

МОЕ ЖЕЛАНИЕ

Слышишь, судьба, не хочу подаяний!
Полною мерой отмерь мне страданий,
В огненном вихре сжигая дотла.
Пусть этот вихрь мое тело корежит,
Испепелит, до золы уничтожит
Так, чтоб из глаз моих соль потекла.

Волю мою ты повяжешь тюрьмою –
Я свою горе слезами омою
Будешь пытаться ты разлукой меня.
Рваться сквозь стены к возлюбленной стану
Да под недреманным оком охраны
Губы кусать, безысходность кляня.

Слышишь, судьба, не хочу подаяний!
Полною мерой отмерь мне страданий,
Жги на огне, в три погибели гни!
Если народ разбужу я стихами,
Горе отступит, и жаркое пламя
Высушит слезы, к чему мне они!

Анна Файн

ОСТРОВ МИФИЧЕСКОГО ПИВА

травелог

Из серии “Пивные рассказы”

1. Эстер

В груди у Эстер клокочет неумная энергия. Она всегда бежит. Если не бежит, то разговаривает. Дробно и часто, взхлеб и не-удержимо. Если не разговаривает, то молится – с молитвенником и без, вслух, полусшепотом и про себя.

Иногда Эстер одновременно бежит, разговаривает и молится. Это случается, если на ее пути попадает еврей, которому нужна помощь. Впрочем, с точки зрения Эстер, скорая помощь нужна всем евреям. Увидев потерянного собрата, она сначала бежит, на ходу молясь о его здоровье, а потом говорит, говорит, говорит... Очень быстро разговор принимает дружеский характер, как будто Эстер и встречно-поперечный еврей знакомы тысячу лет.

– Так вы – госпожа Векслер из Нетании? А госпожу Векслер из Ашкелона вы знаете? Как, у вас нет родственников? Все погибли? Может быть, та госпожа Векслер – ваша родственница? Хотите, я вас познакомлю? Она была у нас, высчитывала код судьбы по недельному разделу Торы. Да, мой муж – цфатский каббалист. Мы определяем коды судьбы. Нет, это не наша выдумка. Это традиция от рабби Моше бен Нахмана.(1) Он писал, что судьба человека связана с недельным разделом, который читали, когда он родился. Хотите, я дам вам визитную карточку мужа? Приезжайте, мы и ваш код судьбы высчитаем. А я вожу экскурсии по Цфату, а еще сдаю комнаты..

Не подумайте, будто Эстер какая-нибудь махерша, корыстолюбивая и жадная. Во-первых, именно женщины у нас кормят семью, и Эстер – не исключение. Во-вторых, таки да евреям нужна помощь. В-третьих, Эстер не поехала бы на Родос, если бы не деловая необходимость. Ведь еврею нельзя покидать священную родину его предков без особой причины.

Если вокруг нет евреев, Эстер помогает гоям. Им еще хуже, бедняжкам – у них нет Торы. И вообще, они все скоро станут иудеями. Так всегда случается в рассказах Эстер. Пишет она и повести, и романы. И во всех ее произведениях гои дружно принимают иудаизм. Иногда рассказы Эстер печатают в том же тель-авивском журнале, где и я публикую мои опусы. Так что мы встречаемся под одной обложкой, как свет и сосуд, как ха и тха, как инь и янь.

Однажды Эстер бежала-бежала, а на ее пути вдруг стою я. И мне, конечно же, нужна помощь. Я очень устала, ведь кругом такая жара, и хочется за границу. Но съездить туда можно только по дешевке, и только в тур, обеспечивающий кошерное питание.

– Так давай поедем на Родос с группой Йоси Дрейдла! – говорит Эстер. – Три молитвы в день, кошерное питание два раза в сутки, обед в виде сэндвичей, экскурсии, хорошая гостиница. Поехали!

И мы поехали.

2. Полет

Рядом со мной в самолете оказалась милейшая семейная пара – бухарские евреи. Муж, смуглый человек с яркой золотой улыбкой, спросил:

– Вы случаем не из Маргилана?

– Нет.

– Ну, тогда из Ташкента?

– Нет. Это у вас растет знаменитая маргиланская редька?

– Ага, у нас.

– Мой муж по ней страдает. Он без нее не может варить плов.

– Так мы вам пришлем целый ящик! – он тоже был из тех, кто всегда бежит на помощь.

Как только мы заняли свои места, бухарец вскочил и побежал смотреть, кто у нас пилот (и не нужна ли ему помощь).

– Религиозный еврей с бородой, в черной кипе, в цицит, – сообщил он.

“Все, смерть моя пришла, – ужаснулась я про себя, – непременно свалимся в Средиземное море”.

Профессионализм не входит в систему ценностей ультраортодокса. Когда у него спрашивают, чем он занимается, человек в черной кипе обычно отвечает: “Учу трактат “Ущербь”. “Ну, а работаешь-то ты где?” “Аааа, заработок... Немного помогаю тестю продавать недвижимость”.

Он учил Тору с трех лет, Талмуд – с девяти. И более не учил ничего и никогда. (Всевышний позаботится о преданном Ему человеке). Будьте уверены: если он взялся торговать недвижимостью, то ничегошеньки не знает ни о градостроительстве, ни о проверке качества жилья. Все это он освоит, с Божьей помощью, на ходу, дайте только срок. В этом пейсатый бизнесмен похож на пионеров-халуцим, которые превратили Израиль из сухой пустыни в цветущий сад. Они были городскими жителями без опыта сельского труда. Но у них, как ни странно, получилось.

Мы взлетели, пронеслись над Средиземным морем. Прошло чуть больше часа. Самолет вступил в плавный вираж.

– Как красиво на посадку заходит! – восхитился маргиланец.

Мы мягко приземлились в крошечном аэропорту Родоса у самого синего моря. Как в этом тесном сарае не происходит давки и прочего бардака, мне непонятно до сих пор. На Родос ежегодно прибывает около миллиона двухсот тысяч туристов, а местных жителей – сто тысяч. Но все сработало. Нас быстро впустили внутрь, и мы получили наши чемоданы. В автобусе уже ждал молодой бизнесмен Йоси Дрейдл, выпускник одной из ешив ХАБАДА. Он никогда раньше не работал ни турагентом, ни гидом, ни сопровождающим группы за границу. В этом путешествии Йоси решил совместить в себе одним три эти разные функции. Мы были его первой группой и приняли удар на себя. В итоге я прозвала его “Йоси-гусь-за-все-берусь”.

3. Морская кошка

– Смотри, – закричала Эстер, – олеандры, кипарисы, лавры!

В окне автобуса проносились турецкого вида дома с балконами-галереями вокруг всего этажа, палисадники, парки и цветники. Но и там, где рука человека не облагородила природу, все аккуратно цвело и эстетично зеленело. Без всякого компьютера и капельного полива. Само. Как это у них получается?

На Родосе я поняла, что Греция – это Средиземноморье, а вот Израиль – все-таки Ближний Восток. У нас суше из-за соседства пустыни, а в прибрежной низменности, наоборот, слишком влажно, но это никак не помогает растениям. Поэтому у нас капельное орошение и другие технологии. А еще у нас шумно, крикливо и местами грязновато. А Греция – Европа. По утрам жители выходят из домов мыть и без того чистый город. Один поливает из шланга сверкающую машину, другой моет промытую кафешку и заодно – тротуар перед ней. Лязгающие мусоровозы не ездят по городу в пять утра, мрачные абиссинцы не ходят с ведрами, метлами и совками. Просто никто не бросает бумажки мимо урн.

Правда, по вечерам родосцы ведут себя точно как израильтяне. Пять-шесть мужиков собираются в районной забегаловке перед экраном телевизора, смотрят футбол, грызут горячий попкорн, сопровождая каждый гол то восхищенными, то возмущенными криками. Отличие одно: кричат они по-гречески. Нет, есть и второе: по сравнению с горластыми израильтянами орут они довольно тихо.

Непонятно только, как трудолюбивые и организованные греки живут в стране, скупаемой вечными экономическими трудностями, а их правительство то и дело клянчит деньги у Евросоюза. А шумные, наглые и плохо организованные мы, наоборот, обитаем в экономически стабильном Израиле, где курс шекеля к доллару и евро уже давно стоит, как хвост – пистолетом.

Оказалось, что Йоси Дрейдл не знает, что комнаты на двоих бывают double (одна большая кровать), и twin – две кровати. Мы с Эстер получили одну кровать на двоих и должны были оказаться не только под одной журнальной обложкой, но и под одним одеялом. Однако я, в отличие от Дрейдла, не страдаю администра-

тивной бледной немочью. Порывшись в шкафу, я нашла и второе одеяло.

– Как, вам не годится одна кровать? – спросил Йоси. – Разве Эстер – не твоя дочь?

Эстер младше меня на пять лет. Родить ребенка в пятилетнем возрасте не может даже ультра-ортодоксальная еврейка, хотя, наверное, очень хочет.

– Я что, выгляжу такой старой? – спросила я.

– Нет, это она выглядит молодо, – не растерялся Дрейдл, но было уже поздно. Я затаила злобу. Из всех многочисленных ошибок Йоси-гуся эта была самой ужасной.

В рейсе на Родос не кормят – уж больно он короткий. Мы не ели с самого утра. Ужин ожидался в восемь вечера. Йоси решил вместо обеда напоить нас кофе с пирогом. Кофе с пирогом он собирался подавать в библиотеке, которую с разрешения гостиничного начальства загодя переделал в синагогу и даже завез туда свиток Торы. Но оказалось, что в синагоге нет розетки. Еще оказалось, что самовар нечем наполнить, поскольку Йоси и его помощница Сарочка боялись микробов в воде из-под крана. Тогда они приняли зрелое административное решение раздать пироги без кофе, но оказалось, что нет ножа. Все же после некоторой возни мне удалось откромсать себе кусочек пирога. Потом появился кофе, но пропали одноразовые стаканы. Я дождалась появления новых. Налила кофе. Хотела закусить его пирогом, но пироги успели закончиться.

Ужин был назначен на восемь. Однако в восемь официанты прогнали нас из ресторана, объявив, что кошерный ужин для нашей группы еще не прибыл.

Представьте, как в восемь тридцать голодные туристы рванули в ресторан, как пытались набрать себе салаты вилками (раздаточных ложек не было), как толкались в тесном закутке, отведенном под наше хозяйство. Как в итоге стали набирать снедь одноразовыми стаканчиками... Как кончились одноразовые стаканчики, когда все захотели пить... Обычные туристы смотрели на нас с нескрываемым ужасом. Все страшные предположения о диком и необузданном нраве еврейского народа подтвердились в одночасье.

После ужина, окончательно одичав, мы отправились знакомиться с дикой природой в местном морском музее. На первом этаже музея разместилась большая плочка, изображающая морское дно. Она была заполнена водой, а на дне лежала камбала. Камбала дышала и меняла покровительственную окраску. Ну, то есть, оттенки она не меняла – оставалась цвета песка, но песчаные кольца на ее спине все время медленно перекладывались в новый узор. Рядом с камбалой валялось еще одно разляпистое существо черного цвета.

– Морская кошка, морская кошка, – заговорили все разом. Экскурсовода, понимающего толк в этой кошке и прочих обитателях моря, Йоси Дрейдл не предусмотрел.

И вдруг раздался ужасный мяв. “Ни фига себе мяучит эта морская кошка!” – подумала я. Потом выяснилось, что мяв издавал девятимесячный сын одной из туристок.

4. КОФЕ СО СМЕРТЬЮ

Наутро я помолилась и отправилась вниз испить кофе. Вот, чуть было не написала “побежала искать кофе”. Нет, это Эстер бежит. А я тащусь. Я тащусь в прямом и в переносном смысле слова. Медитирую на каждую вещь, которую беру в руки. Медитирую на каждое производимое мною действие. Эстер – заяц, а я – черепаха. Я везде таскаю на спине домик из воспоминаний, умозключений, сравнений и размышлений. И я твердо уверена, что всякая черепаха когда-нибудь да обгонит зайца.

Конечно, в организме Эстер все калории сгорают, как сухая трава в костре. Да она и не успевает позавтракать, потому что вместо завтрака бежит исследовать город и море. А в моем теле калории не сгорают совсем, оседая там навсегда.

Я уже стояла на выходе из номера, когда в комнату вбежала Эстер, непрерывно молясь и разговаривая.

– Вот, гляди, что нашла!

Оказывается, на Родосе не нужно рыться в земле. Каждый сам себе археолог. Посмотрел под ноги, поднял и принес. Эстер успела смотаться на Акрополь и теперь демонстрировала бронзовую ноздрю довизантийской эпохи и терракотовый черепок, тоже древний.

А мне нужно было срочно выпить кофе. Именно кофе, а не нефть – основное топливо Ближнего Востока. У нас все работает на кофе – и люди, и машины. Когда Хамас окончательно довел сектор Газы до ручки, у них случился энергетический кризис – окончился бензин. И тогда они залили в бензобаки кофе. Таки вы будете смеяться, но машины поехали. Правда, пришлось наливать кофе без сахара. Сахаром эти говнюки начинают самодельные ракеты – он увеличивает вес тринитротолуола.

К тому же кофе – сильный афродизиак. Наши ловеласы не спаивают намеченную жертву, а тащат ее в кафе.

Я спустилась вниз и пошла в ту часть ресторана, где стояли кофейные чашки, бак с кипятком, кофе и сахар. Кофе, как и пиво, – кошерный напиток, а для чашек существует облегчение закона, так как попадают в них только кофе и чай. Я схватила чашку и понеслась к баку с кипятком. Не тут-то было.

– Мадам, – ко мне приближался лысый метрдотель с сильными чертами лица, очень похожий на актера Филиппенко в роли Смерти, – мадам, что вам угодно?

– Мне бы кофе, – взмолилась я.

– Вы не можете получить кофе, – сказал Смерть.

– Хорошо. Нет, так нет.

– Нет, вы постойте. Я вам объясню. Вы заплатили только за комнату. Room rent only. Поэтому вам не положена никакая еда. Когда придет вся ваша группа, вы получили свой кофе, из вашего бака с кипятком, и вашей посуды.

Наконец, наступило намеченное время завтрака, которое Йоси, как всегда, профукал. Я села у пустого стола и уставилась в пустую одноразовую чашку.

Смерть заметил это, и ему вдруг стало жалко меня. Он свистнул пузатого официанта, тот подкатился и замер, как бильярдный шар у лунки. Смерть что-то сказал ему по-гречески. Официант взял со столика в углу кофейник и подкатился ко мне.

– Мадам хочет кофе?

Я величаво кивнула. Мне налили немного черной сладкой жижи. Теперь я могла потихоньку просыпаться и ждать, пока Йоси соизволит подать завтрак.

На следующий день за завтраком и ужином Смерть уже улыбался мне, как родной.

Еще одно пояснение: сколько бы звезд ни было на израильской гостинице, хоть ноль, хоть две, хоть четыре, и сколько бы вы ни заплатили за нее – кофе вам подадут всегда. Бесплатно, за счет заведения. А вероятнее всего, просто поставят в вашей комнате чайник и поднос с пакетиками чая, кофе, сахара и сахарина. Да, наши гостиницы не дешевы. Но они очень, очень гостеприимны. Не то, что в Европе.

5. Линдос

Йоси опоздал с завтраком, но велел всем немедленно собираться и рвануть к пристани, потому что кораблик ждать не будет.

– Куда мы плывем? – спрашивали все.

– На Линдос, – туманно отвечал Йоси.

Что такое Линдос, он не удосужился объяснить. Чего там объяснять? У всех смартфоны. Если надо, погуглят и сами увидят.

Смартфоны были не у всех. Особенно их не было у двух дам в возрасте за восемьдесят, которые никогда в жизни не пользовались интернетом. Эстер познакомилась с обеими и душевно поговорила на идише (она знает шесть языков). Оказалось, что у старшей старушки уже есть праправнук.

Мы сели на белый кораблик под названием “Дискавери” и вышли в море. Родос омывается двумя морями – тихим лазурным Средиземным и бурным Эгейским, бирюзовым у берега и ультрамариновым ближе к горизонту. Мы двинулись по Средиземному прямо на юг. Погода стояла ясная, солнечная, не сулящая никаких приключений.

При посадке мои сотоварищи по экспериментам Дрейдла над живыми людьми резво побежали вперед, чтобы занять места на открытой палубе. Там виды виднее, и ласковый ветерок ласковее. Я со своей черепашей скоростью уселась в кают-компанию. Дискавери проплывал мимо гор, на каждой из которых высился то Акрополь, то средневековая крепость, то монастырь. Глядя на зеленые склоны гор, я вновь спросила себя: ну, почему у них все растет без компьютера?

В пути туристы проголодались. Сарочка предложила нам консервированного тунца из большой миски, выставленной на барной стойке кают-компания. Все принялись накладывать тунец в кошерные багеты, испеченные в Доме Хабада. Кораблик качался на волнах, люди с трудом удерживали равновесие, тунец летал по

воздуху, приземляясь в самых неожиданных местах. Когда подошла моя очередь, на меня набросился матрос из команды корабля.

– Что это такое? – грозно спросил он.

– Тунец, – отвечала я.

– А вот это, вот это что? – спросил он, тыча пальцем в горки комковатой рыбьей плоти на барной стойке и на полу.

“Да, вот мы все жалуемся, что нас не любят, – подумала я, – а за что нас любить? Куда бы мы ни вперлись с нашим кашрутом, нашими особыми запросами и привычками – везде мы создаем “а ганцер тарарам”.

Пока я рассуждала таким образом, резвая Эстерка сбежала в трюм, принесла из бара салфетки и с их помощью убрала места, куда приземлился летающий тунец.

А меж тем над нашими головами сгущались тучи. Небо и море потемнели, и вдруг хлынул серьезный такой ливень. Не стало ни эллина, ни иудея – всех заштриховали косые линии дождя. “Так вот почему у них все растет! – поняла я. – Просто сезон дождей длиннее!”

Наш гусь-за-все-берусь сховался в углу. До поездки он уверял, что погода на Родосе такая же, как в Израиле в это время года – ясная и солнечная, так что зонтики и плащи мы оставили дома. Йоси был уже на волосок от вспышки народного гнева.

Туристы, которые двумя часами раньше боролись за места на открытой палубе, рванули в кают-компанию, где важно расселись я и две бабушки, не знающие интернета. Теперь все зайцы столпились в проходе и с завистью поглядывали в сторону вальяжных черепашек.

Мы причалили к дрожащему от дождя Линдосу. Городишко белым ожерельем опоясывал гору, на самой вершине которой неясно обозначалась то ли крепость, то ли монастырь – никаких пояснений мы так и не дождались. Я сползла вниз по мокрым мосткам и, оскальзываясь, полезла вперед. Там, на деревянных настилах, по которым упруго скакали дождевые капли, мокли столики прибрежных кафешек. Я пробралась сквозь них и нашла, то, что нужно – киоск со складными зонтиками и курортной дребеденью, одинаковой в любой стране. Счастливая гречанка продала мне зонтик за пять евро – должно быть, она благословляла

этот дождь, как Одиссей – попутный ветер, мчащий его к родной Итаке.

Чуть выше, в двух рукотворных пещерах, вырытых в мягком склоне глинистой рыжей горы, прятались от дождя милые ухоженные ослики.

– Мадам, такси! – крикнул погонщик.

– Я для твоего осла слишком тяжелая. Жалко бедное животное.

Он заулыбался и потрепал меня по предплечью – обычный для грека знак дружеского расположения.

Я лезла вверх по мокрой дорожке, а позади меня питомцы Дрейдла спорили с погонщиками ослов. Дрейдл пообещал бесплатный проезд на живом транспорте до центра Линдоса, но никто из ослководов ничего не слышал ни о каком Йоси, и никаких денег не получал. Сам Йоси затаился где-то, боясь показаться на глаза обманутым туристам.

Дождь закончился, и мир просох так же внезапно, как и намок. Я шла по белым улочкам Линдоса, а дождевая вода стекала мне под ноги. На что же это похоже? Да на старый Самарканд, только выкрашенный в белый цвет! Те же узкие извилистые улочки, те же глухие стены почти без окон. Так же журчит мостовая, только здесь это дождевая вода, а там – канализация в арыке.

Все дети спорят, какой цвет самый главный на свете. Мои дети когда-то тоже спорили о цветах. Сын уверял, что главный цвет – черный, а старшая дочка отстаивала права белого и голубого. Тогда я подумала, что выбор идеологического направления не зависит от моральных или интеллектуальных соображений. Человек, скорее, делает эстетический выбор. Одним нравится черное, другим – белое и голубое.

Наверное, если спросить у маленьких греков о главном цвете, то они выберут белый. Белые дома, белые корабли, набережные Родоса, мощенные белесыми камушками-голышами и украшенные мозаикой из мелкого черного гравия. Белые облака, белая пена на пиве (сегодня же попробую), и даже голуби приспособились к окружающей среде и выкрасили сами себя в белый цвет.

Ослы под пассажирскими седлами с восседавшими на них туристами ходили по улицам Линдоса вместо такси. Машины просто не разошлись бы на проезжей части такой ширины. Я еле успе-

вала отскакивать от встречного ушастого транспорта. Как-то осел шел мне навстречу, а из боковой улочки выбежал подросток, толкавший трехколесную садовую тачку. Осел испуганно шархнулся в сторону, чуть не размазав меня по белой стенке. Погонщик еле успел удержать его, схватив под уздцы.

Вечером Эстер сказала: “У меня на этом Линдосе образовался синдром Билама”. Странно, и я тоже вспомнила Билама, пока гуляла по Линдосу.

Напомню: царь Балак нанял пророка Билама-Валаама проклясть сынов Израиля. Билам ехал к месту исполнения заказа на ослице (самый дорогой в древние времена вид транспорта). Ослица шла по тропе, с одной стороны которой тянулся обрыв, а с другой стена. Дорогу ей преградил ангел, которого видела только она, но не Билам. Чуткая тварь шархнулась в сторону и прижалась к стене, едва не размазав Билама, за что была нещадно бита. И тогда Валаамова ослица заговорила человеческим голосом и объяснила, почему жметя к стенке. Но Билам считал, что он, типа, крутой пацан, раз едет на новой модели Мерса. И поперся дальше проклинать сынов Израиля. Но Всевышний превратил его в мегафон. Билам раскрыл рот, однако вместо проклятия из него вырвалось благословение. “Как хороши шатры твои, Яаков, жилища твои, Израиль! – воскликнул Билам.

Представляю, как ту же историю рассказали бы греки. Царь мийцев решил проклясть ахейцев. Он нанял пророка Валаама, а тот купил себе на базаре осла по кличке Апулей. В это время бессмертные боги решили, что примут сторону ахейцев, потому что те регулярно радовали их хорошими и щедрыми жертвоприношениями. Зевс послал навстречу Валааму свою дочь Афину, превратившуюся в орла. И вот едет Валаам на Апулее и вдруг видит – над дорогой нависает ветка, а на ней – орел. Ну, натурально, Апулей – не просто осел. Он сын нимфы, принявшей вид ослицы, и Зевса, принявшего вид золотого дождя. (За это его и зовут золотым ослом). Апулей видит в орле Афину, а Валаам думает, что это просто птичка на веточке, и хочет проехать вперед, а Апулей – ни тпру, ни ну. И тут Афина принимает свой обычный облик и заворачивает пророка обратно, потому что так решили бессмертные боги на Олимпе.

Глухие улицы без окон кончились, и начались торговые кварталы Линдоса, больше похожие на беленый Цфат (настоящий, как

и все древние города Израиля, золотисто-желтого цвета). Распахнутые двери лавчонок, товар, вывешенный на дверях и в окнах, расставленный на низких прилавках вдоль стен. Стоит проявить интерес к сувенирам, как тебя приглашают внутрь, да так вежливо, так обходительно и учтиво, что отказаться просто невозможно. Я познакомилась с симпатичной лавочницей, которую сразу же прозвала про себя Далилой. Дело в том, что филистимляне, по-нашему, плиштим, были древним племенем эгейского происхождения, прибывшим на Ближний Восток с территории архипелага Додеканес, где находится Родос. Недавно археологи нашли под Ашкелоном череп филистимлянской женщины, которую, конечно же, прозвали Далилой. Ее внешний облик восстанавливали двое – скульптор и компьютер. Получилось у них примерно одно и то же: круглые щечки, круглые глаза, длинный чувственный рот, изогнутый наподобие лука. Вот так и выглядела эгейская гречанка, у которой я купила нитку крашеных бус из местных пород дерева.

– Как на вашем языке “спасибо”? – спросила она.

– Тода.

– Такое короткое слово? А по-нашему – эвхаристо. Никто не может запомнить.

Но я, конечно, запомнила, потому что в моем словарном бардачке завалялось церковное слово “евхаристия”, неизвестно как залетевшее туда в период беспорядочного девичьего чтения.

Близилось время отхода корабля назад к столице. Я заторопилась в гавань. Мне снова нужно было пройти через кафешки и бары у пристани. Бдительные официанты были начеку.

– Мадам! – крикнул один из них.

– Пиво у вас есть? – спросила я.

– Ха-ха-ха! Вы еще спрашиваете! Хотите бутылку?

– Нет, хочу светлое, длинное, бочковое пиво. Просто shot.

Я уселась за столиком с видом на идеально полукруглый залив. До отплытия оставалось полчаса, мне некуда было торопиться. Официант принес пива. Я попробовала и была страшно разочарована.

Ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Просто газировка с алкоголем, закрашенная сиропом цвета сусла. Мне вспомнилось жигулевское пиво советских времен – его резкий горький вкус, который мне не нравился по тогдашней моей дурости. На второй день уже выпала

дал осадок – темные хлопья пивных дрожжей, и это – верный признак натуральности продукта. А израильские пивоварни-бутики? Джемс, Шапира, Аяла! Наверное, греки не умеют варить пиво. Ведь Греция – страна вина.

Гусь-за-все-берусь не поднялся на борт “Дискавери”. Вероятно, он нашел погонщика, которому заплатил за наше коллективное катание, и покатался на осле на все деньги. А может быть, и он с голодухи решил выпить пива, и, захмелев, упал на белый пляжный лежак под белым полотняным зонтом, да так и уснул на чужом берегу.

6. СРЕДИ ТОРОСОВ И ПЕНИСОВ

На вечер Йоси запланировал необычное для хабадника мероприятие – посещение местной “атмосферной” таверны. Он не объяснил, что именно мы будем делать в таверне, и люди строили самые разнообразные предположения. Там будет живая музыка. А может, Йоси приготовил кошерную закуску к пиву.

Я примкнула к кучке туристов, сплотившихся вокруг единственного среди нас гурского хасида. Это был технологически продвинутый хасид со смартфоном. Он раскрыл приложение ways, забил туда название улицы, которое ему прислал Йоси – улица Гаврилы. Приложение не нашло в городе Родосе никакой Гаврилы. Мы бестолково слонялись по набережной, гурский хасид ковырялся в смартфоне, а потом на нас наткнулась молодая женщина с огромной копной кудрявых волос. Она заговорила на иврите.

– Вам нужна помощь?

Оказалось, что улица называется Грива, а не Гаврилы, и женщина знает ее, потому что там находится Дом Хабада.

– Меня зовут Меликсена, – сказала кудрявая дама, – я израильтянка, но постоянно живу на Родосе и знаю греческий. Я работаю в израильской туристической компании. Сейчас позвоню в Бейт Хабад, к вам придет кто-нибудь из сотрудников. Ну ладно, я пошла.

– А как же сотрудник нас узнает? – испуганно вскричал гурский хасид, одетый в длинную черную капоту, черную кипу, талес на выпуск и средневековые башмаки с пряжками. Довершали картину туго закрученные пейсы и полуседевая борода.

– Да уж как-нибудь узнает, – хмыкнула Меликсена.

Сотрудником оказался молодой грек. Как положено греку, он путал шипящие звуки.

– Ну сто, хотите кусать? Да, там много хоросей еды. Посли шо мной, цто ли.

Когда мы дошли до таверны, оказалось, что половина группы уже расселась на низких диванах в полутемном зале, а таверна совсем крошечная, так что более удачливые наши попутчики заняли все свободные места. Они бестолково смотрели друг на друга, не понимая, зачем пришли в это странное гойское место. Только двое решились заказать себе пива. Другие то ли не любили пиво, то ли боялись, что пивная посуда мылась в раковине вместе с некошерными тарелками. Гуся, придумавшего всю эту катавасию, не оказалось на месте.

– Передавайте Йоси горячий привет! – рассвирепела я. – Такой горячий, как в печке!

В предпоследний день на Родосе, накануне отъезда я решила еще раз пройти по улице Грива. Она шла от Средиземного моря к Эгейскому, поперек узкого мыса, которым оканчивается северная часть острова. Вдоль всей улицы тянулись киоски и лотки, а на них были горами навалены какие-то фольклорные по виду деревянные изделия. Я взяла одно в руки и поняла, что это очень реалистично выполненный фаллос. То есть, реалистично было все, кроме расцветки: зелененькая в красный цветочек. Остальные изделия тоже оказались фаллосами и пенисами. Маленькие, детского размера, служили брелоками для ключей, большие – ручками для штопоров и консервных ножей. Зеленые, розовые в красный горошек, натурально-деревянные, отлакированные и угрожающе черные – во всех лавках, на всех лотках и витринах. Может быть, Родос в древности был центром фаллического культа, о чем умолчали путеводители? Или это специально для Йоси: если туристы пошлют его на три буквы, он просто пойдет к себе в Дом Хабада?

Через несколько сотен метров лотки с пенисами кончились, оказалась таверна, стоящая строго напротив Дома Хабада. Затем потянулись магазины совсем другого содержания: с витрин строго смотрели маленькие темные иконы в тяжелых золоченых окладах, в окружении деревянных крестиков. Стиснутый со всех сторон

фаллосами и крестиками, Дом Хабада стоял на страже одиноко, как вулканический еврейский остров в чужом море.

Вечером я встретила Эстер в холле гостиницы и тут же радостно поделилась:

– А на улице Грива продаются фаллосы!

– Тише говори, – ответила она, – фаллос – греческое слово.

7. ПОКОЛЕНИЕ СМАРТФОНОВ

Наутро Йоси провалил очередную экскурсию. Он собирался посадить народ на квадроциклы и покатать по берегу моря вокруг острова. Но оказалось, что фирма, у которой он арендовал транспорт, допустит к рулю только тех, у кого есть водительские права. Половину группы составляли молодые девчонки-хабадницы, которые успели окончить семинарии, но не успели еще выйти замуж. Водительских прав у них не было. Не было прав и у нас с Эстеркой, и у тех двух старушек, которые не пользовались интернетом. Две свежеиспеченные выпускницы семинарий потребовали у Йоси возврата денег за экскурсию. “Мы сами себе все организуем, – заявили они, – только деньги верни”. Остальные терпеливо ждали, пока Сарочка посадит их на городской экскурсионный автобус: она пообещала заплатить за экскурсию из денег, неизрасходованных на квадроциклы. Подошедший автобус оказался забит, следующего ждали через час.

В моем мозгу мелькнула странная догадка: Йоси – аутист. Я уже пыталась говорить с ним и давать какие-то советы на основе личного опыта организации семинаров за границей. Йоси смотрел либо поверх моей головы, либо сквозь меня. Через минуту возникло ощущение, что он слепоглухонемой, и у меня кончались слова.

Невзирая на то, что смартфоны были не у всех, Йоси упорно пытался держать связь с группой через воцап. Это был представитель нового, малоизученного поколения ортодоксов: ортодокс со смартфоном. Так же, как кочевники монголы уверены, что сотовую связь изобрели специально для них (пастух может разговаривать со стойбищем, одно племя общаться с другим), так же и осмартфоненный религиозный еврей твердо знает, что это изобретение сделано лично ради него. Теперь он может не грешить,

взирая на клиенток, но общаться с ними по смартфону, и так оно как-то кошернее выходит. Ему не надо носить с собой молитвенник и книгу Псалмов: есть мобильное приложение “Молитвенник” и мобильное приложение “Псалмы”. В результате покупки Йосинога тура я теперь получаю эсэмэски с рекламой мобильного приложения, напоминающего о времени зажигания субботних свечей. Смартфона у меня по-прежнему нет, и оттого я ощущаю себя еврейкой, неполноценной в ритуальном отношении.

8. ПРИНЦИП ЯБЛОНЬКИ

Оставив взмыленную и измученную Сарочку на автобусной остановке, я потащила в город, не разбирая дороги. В столице Родоса живет всего 42 тысячи человек – раз в пять меньше, чем в нашем Бней-Браке. “Не заблужусь”, – решила я. Вскоре я налетела на парк, внутри которого обнаружила детскую площадку и просторное, совершенно пустое летнее кафе.

С первого дня я выработала стратегию общения с греками. Называется “поешь моего яблочка”. Помните историю про девочку, у которой Баба-Яга украла братца? Чтобы получить у яблоньки и одиноко стоящей печки нужное направление (они работали вместо приложения ways), девочка должна сначала съесть яблочко, а потом – горячий пирожок. Вот так же действовала и я. Заходила в кафе или в магазин, покупала грошовый сувенир или чашку кофе за три евро, и получала разъяснение, куда идти, а также искренние уверения в любви к Израилю и израильтянам. “You are very good people!” – говорили греки. Кто б сомневался! Нет, часть Йосиных подопечных нашла на Родосе антисемитов, но эти сами виноваты: хоть и называются “подопечные”, а пирожка из печки не едят.

Я села за столик в пустом кафе. Официантка не говорила по-английски, а это означало, что кафешка лежит в стороне от туристической тропы. Она принесла мне бутылку пива Mythos. Пиво оказалось вполне сносным, лучше поила, которым угощали в Линдосе. К пиву была приложена алюминиевая вазочка на высокой ножке, наполненная соленым арахисом. В парке Сокольники времен моего детства в таких подавали мороженое. Я огляделась вокруг: и вправду похоже на Сокольники. С площадки раздаются

детские голоса, кругом колыхается широколиственная европейская зелень. Ну, разве что как-то слишком чисто. Ни крошек на столах, ни остатков еды в проходах. И поэтому воробьи не слетают с веток, не галдят на столиках и не устраивают шумных драк в проходах. Вот и вся разница.

– Where is the Castle? – спросила я у официантки. Это была ошибка. Средневековый замок, построенный на Родосе рыцарями, называют просто Старым городом. Девушка не поняла меня.

– Castro? – переспросила она и махнула рукой вверх, в гору. Как оказалось потом, в сторону Акрополя. А до Акрополя просто так не дойдешь. Даже неутомимая Эстер сломалась и в итоге доехала на такси.

Я шла очень долго. Забегая вперед, скажу, что на Родосе я побывала, а Акрополя так и не видела. Это к лучшему. Веничка Ерофеев не видел Кремля, а как увидел, так и смерть его пришла. Впрочем, со Смертью мы друзья. Теперь, если я снова окажусь на Родосе в той же гостинице, он по старой дружбе нальет мне кофе.

Я сменила направление, поползла вниз и относительно быстро дошла до земляного вала, поросшего лесом. За лесом, через невысокую ограду открывался вид на мощную крепость, построенную рыцарями-иоаннитами, называемыми также госпитальерами. Между леском и крепостью зиял ров, такой глубокий, что в него было страшно заглядывать. Позже я прочитала, что госпитальеры пытались наполнить ров водой, но она просачивалась сквозь почву и утекала в Средиземное море, расположенное ниже крепости.

Внутри крепости находится Старый город Родоса, где до сих пор живет пять тысяч человек. Они живут в домах, полученных в наследство от отцов и дедов, и, глядя на них, можно вообразить, какими были бы евреи Старого города Иерусалима, если бы никто и никогда не изгонял их оттуда.

Войдя в Старый город, я первым делом купила путеводитель. Теперь нужно было сесть где-нибудь и почитать, наконец, историю места, куда нас занес Йоси-гусь, не объяснив, где мы находимся, и чем славен Родос.

На уютной площади в густой тени лиственных деревьев, которые не знаящая ботаники я для простоты назову платанами, располагалось кафе. Зазывала крикнул “Мадам!”, и я без спора

присела за столик. Мне принесли горячий турецкий кофе и стакан ледяной воды. Потягивая то густой кофе, то хрустально-искрящуюся воду, я углубилась в чтение.

Еще накануне я заметила, что новые знания роятся вокруг головы моей подружки Эстер, как воздушные шарик. Она ловит их и подвязывает к уже имеющимся сведениям о том же предмете. Только так можно навести порядок в картине мира, если ты получил широкое и поверхностное русское образование, суть которого сформулировал еще Наше Все: “понемногу, чему-нибудь и как-нибудь”. И я поступала аналогичным образом: получив новое знание, запихивала его в уже имеющийся карман сознания, как запихиваю предметы в карманы моей сумки: ключи – сюда, телефон – туда, электронный билет на автобус – еще куда.

В карман под названием “Исход из Египта” я запихнула начало греческого поселения на Родосе. Те, кого мы сегодня называем греками, прибыли на Родос лет на сто раньше Исхода. До них здесь жили племена, которые я условно называю “хананеями”, потому что о них греки говорили, что они дикари, не почитающие богов. Первое греческое государство на Родосе легко попадает в карман “государство Саула, Давида и Соломона”, так как все это имело место в десятом веке до новой эры. Период ранней античности, который в еврейской истории называется периодом Первого Храма, я опускаю: Родос тогда не играл значительной роли в хозяйстве Средиземноморья. А вот период поздней античности, он же наш период Второго Храма, был ознаменован славными делами. Родосцы построили статую бога Гелиоса, иначе Колосса, высотой в 37 метров. Колосс затем свалился и лежал на земле аж до десятого века новой эры. Еще Родос был славен морским кодексом, который так и называется “Родосским”. Римский период в истории острова я запихнула в карман под названием “Иудея под властью Рима” – и там, и здесь случилась потеря независимости и упадок. Средние века, когда на Родосе правили рыцари, легко упаковались в карман под названием “Иерусалим в средние века и крестоносцы”: Иоаннитский орден, он же орден госпитальеров, возник в Иерусалиме и должен был помогать христианским паломникам в Святом городе. Затем орден укрепился благодаря крестоносцам, а изгнали его из Иерусалима завоеватели-мусульмане. После чего иоанниты обосновались сначала в Акко на севере

Израиля, а затем переселились на Родос. На острове они выстроили ту самую мощную крепость, внутри которой я теперь сидела и попивала турецкий кофе с холодной водой.

Рыцарей с Родоса выгнал султан Сулейман Великолепный (в этом кармане помещается стена вокруг Старого города Иерусалима и сериал “Великолепный век”). После этого рыцари переселились на Мальту, и орден навеки получил название мальтийского.

Я заплатила три евро, обрела взамен направление на музей археологии, и решила еще посидеть и поглазеть на людей вокруг, а также почитать путеводитель. Заполнение карманов продолжалось. Родосцы жили какое-то время под властью турок, как и Святая Земля, в 1912 году их освободили итальянцы (или захватили?), а в 1917 году Родос вошел в состав Британской империи, как и Святая земля, названная англичанами (вослед римлянам) “Палестиной”. В кармане под названием “Британский мандат” и Родос, и Палестина пролежали до 1948 года. В марте 1948-го обрел независимость (и стал частью Греции) Родос, а в мае 1948 года Бен-Гурион огласил Декларацию Независимости Израиля. Дальше наши пути-дороженьки расходятся. Никто не сомневается в том, что Родос – часть Греции, а вот на нашу землю претендуют арабы, поэтому мы постоянно воюем. В результате Родос, как и вся Греция, стоит на коленях перед Евросоюзом, а мы, при всех войнах, сумели создать крошечное и сильное государство.

9. УЛИСС

Я долго плутала по Старому городу в поисках археологического музея. По пути купила несколько сувениров и выслушала, как прекрасны шатры Израиля и жилища Яакова, не говоря уже об их населении. Особенно прекрасны мы стали после того, как я заполировала чашку кофе новой порцией холодного пузырчатого пива.

Теперь в моей крови бурлили и переливались два разных напитка. Кофе (сильный афродизиак) звало влюбиться, пиво (напиток богов) возносило на Олимп, где пьют нектар и амброзию бессмертные тени грозных божеств.

И вдруг я услышала такой греческий, такой романтичный перезвон бузуки. Да, там, за лаврами и олеандрами стоит, должно

быть, златокудрый юноша и перебирает струны кифары. К черту сопляков! Там стоит многомудрый Одиссей с сединой в бороде и бесом в ребре. А ну, посмотрим, что из двух предположений верно.

Я прошла вперед по узкой улице. Мне открылся палисадник, обнесенный широким и низким забором. На заборе восседал мужчина моих лет. Он перебирал струны гитары и пел на чистейшем русском языке:

И носило меня, как осенний листок,
Я менял города, я менял имена...

Воистину Улисс! Он был очень похож на Мишу Юдсона, главного редактора журнала, где мы с Эстеркой спим под одной обложкой. Мишу Юдсона еще называют “русским Джойсом” за его сложные постмодернистские тексты. У незнакомца было то же сухощавое телосложение, те же тонкие черты, то же хитроватое выражение интеллигентного лица и та же маленькая китайская бородка. Рядом сидел темнолицый сгорбленный ханурик, который явно страдал без выпивки и ждал, пока Одиссей напоет на новую порцию метаксы и какую-никакую к ней закусь.

Я подала клону Юдсона один евро и спросила, интимно наклонившись к нему:

– А Мурку можешь?

Он запел и заиграл. Боже, как вдохновенно он пел! Сам Орфей был бы посрамлен, если бы музы предложили ему принять участие в состязании воспевателей Мурки!

Влюбилась я в этого Одиссея. На целых пять минут. Удовольствие было совершенным, поэтому пять минут длились вечно. Это была первая и последняя вечная любовь в моей жизни.

Я села на забор. Припев мы спели хором:

Мурка, ты мой муреночек,
Мурка, ты мой котеночек,
Мурка, Маруська Климова,
Прости любимого!!!

И тут я увидела себя со стороны. Тетка, похожая на стареющего пирата, с головой, по-пиратски обмотанной шарфом и в пе-

стрых греческих бусах из Линдоса, сидит на заборе и поет Мурку в обществе бродяги и ханурика на улице одного из старейших городов Европы. У меня случилась смеховая истерика. Вот это и называется “гомерический хохот”. Так смеяться можно только в стране Гомера.

Я быстро сбежала, потому что мне одновременно хотелось плакать, смеяться и писать. Улисс не смеялся. Он муркал так с самого утра, но еще не намуркал на метаксу и закусь. Не исключено, что его мучали сушняк и головная боль. И еще – это и вправду мог быть сам Юдсон. Ведь он же предупреждал в своей песне, что меняет города и имена.

10. В ГРЕЧЕСКОМ ЗАЛЕ

Поразительна и безошибочна интуиция человека, которому очень хочется пописать. Даже в незнакомом городе он может с ходу отыскать туалет, совершенно не запутавшись, и не наделав лишних движений. Моя московская подружка Кирочка говорила обо мне так: “Когда Энн (это я) хочет в туалет, она способна забежать в здание КГБ на Лубянке”.

Это неправда. Дело в том, что любое животное метит территорию, когда писает. А КГБ-ФСБ – не моя территория. В ужасном здании на Лубянке я не писала ни разу. По-моему, для этой цели отлично подходят пивбары, музеи и другие культурные учреждения. Вот и сейчас я безошибочно вышла на музей археологии города Родоса, который до этого битый час не могла найти в переплетении улочек Старого города.

Это было здание готической эпохи, в котором изначально размещался госпиталь иоаннитов, прозванных госпитальерами именно за такую вот гуманитарную деятельность. Все помещения больницы были рассчитаны на армию раненых крестоносцев. Я пометила территорию туалета размером с бальную залу эпохи классицизма, и вышла в огромный внутренний двор, окаймленный галереей со сводчатыми потолками. Сидя на мощной каменной скамье, я разглядывала горы крошащихся каменных ядер для пушек. Жаль, что греки по своему обыкновению не выкрасили их в белый цвет, а то ядра можно было бы сравнить с горкой клюквы в сахаре. Эх, греки! Такое сравнение пропало!

Потом я поднялась на второй этаж и оказалась в греческом зале. Музей археологии представляет собой внушительное собрание древнегреческой скульптуры, которую итальянцы свезли со всех островов Додеканеса после того, как освободили Родос от турок (или завоевали). Статуи не отличались гладкостью Венеры Милосской. Остатки рыжевато-краснозема застряли в складках каменных одежд богов и богинь, придавая им землистую подлинность. Я походила по залам, почитала таблички у скульптур и удивилась, что прочие туристы ходят по музею без гида, и даже таблички ленятся читать.

И вдруг я увидела одного неленивого. Это был наш технологически продвинутый гурский хасид в своих средневековых башмаках, черной капоте и со смартфоном. Он нанял себе гида, который на хорошем английском объяснял ему, и только ему одному, какого бога или богиню изображает та или иная статуя. Наверное, хасид нашел гида с помощью какого-нибудь специального приложения к смартфону.

Я тихой сапой пристроилась за спиной “гура”. Не потому, что он заплатил, а я – нет. Просто гурские хасиды не смотрят на женщин, так что я смутила бы его, мелькнув у него перед носом. Да, на живых женщин наш хасид не смотрел, но без всякого смущения разглядывал тела ископаемых богинь, красиво обрисованные складками белых каменных одежд.

Известная заповедь “не сотвори себе кумира” в буквальном переводе с иврита звучит как “не делай себе ни статуи, ни картины”. Средневековые мудрецы страны Ашкеназ объяснили, что речь идет о полном и реалистичном изображении человека. То есть, если на картине голова человека заменена птичьей, а у статуи не хватает носа или уха – это кошерное изображение. Греческие статуи Родосского музея выглядели вполне кошерно – одна вылезла из-под земли без уха, другая – без носа, у третьей не хватало руки. Гурский хасид мог взирать на них совершенно безбоязненно.

Гид указал на известный портрет Александра Македонского и сказал:

– Это скульптурный портрет бога солнца Гелиоса, покровителя Родоса. Во времена, когда была сделана эта статуя, скульпторы старались изображать только красивых мужчин, а идеалом красоты считался бог искусств Аполлон. Поэтому все портреты той

эпохи сделаны с известной статуи Аполлона. Например, вот этот Гелиос, или портрет Александра Македонского.

Я посмотрела на гида: у него было волевое лицо с резкими и сильными чертами, квадратный подбородок, крупный нос. Он было очень похож на метрдотеля нашей гостиницы, и немного напоминал актера Александра Филиппенко в роли Смерти из фильма “Звезда и смерть Хоакина Мурьеты”. Похоже, со Смерти слепили многих мужчин острова Родос.

Эта мысль была столь ошеломительной и глубокой, что я решила немедленно обдумать увиденное, завалившись на кровать в гостиничном номере.

11. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭСТЕР

Эстер ввалилась в номер с новой порцией осколков древних амфор, сморщенных оливок, камней и других подножных сувениров. У нее был простой способ знакомства с греками: не покупать всякую муру, а просто заговаривать со всеми обо всем. Однако и она позволяла себе пропустить иногда стаканчик пива.

– Мне сегодня дали сдачу не евроцентами, а местной мелочью, – радостно заявила она, – и ты знаешь, как называется мелкая греческая монета? Лепта! Я теперь знаю, что означает “внести свою лепту”!

– И еще нашла квартиру! На улице царя Леонида! – Эстер тараторила, бегала по номеру и чуть не прыгала от восторга, – всего десять тысяч евро! Или восемь. Они отказываются называть точную сумму. Хитрые страшно. Три комнаты, восемьдесят метров. Они звали меня к себе и пытались угощать. Я видела, как живут греки! Такую сумму можно взять в кредит, а потом сдавать квартиру туристам.

Она отдышалась и продолжила:

– Они звали меня к себе сегодня вечером. Пообещали назвать точную цену. Но я боюсь. Ведь, если пойду, то наверняка подпишу договор. Они меня убедят. Ты себе даже не представляешь, какие они хитрые восточные люди.

– Не ходи, – сказала я.

– Да, ну как же я не пойду. Я ведь обещала. И потом, если я не пойду, то не узнаю, сколько это стоит.

– Послушай, Эстер, – сказала я, – у тебя нет местного адвоката, и местных законов ты не знаешь. Десять тысяч евро – сумма небольшая, но у тебя ее нет. А ты не знаешь, дают ли наши банки ипотеку под собственность в Греции. Так что не ходи никуда.

– Да, но в следующий раз я буду на Родосе только через год. Если вообще.

– Вот и походи к ним через год. Они либо продадут квартиру, либо откажутся ее продать. И тогда ты получишь действительно хорошую цену. К тому же за год успеешь подготовиться – узнаешь законы, найдешь подходящего адвоката.

– Вот хорошо, что ты тут, – успокоилась Эстер. Каждому зайцу бывает нужна тормозящая его бег черепаха.

12. СИНАГОГА – ГРЕЧЕСКОЕ СЛОВО

Наутро выяснилось, что бедный зайчик натер ножку сандаликом и никуда не может бежать. Рано или поздно черепаха оказывается впереди – я отправилась с Йоси в Старый город, а Эстер осталась в номере. А она так хотела побывать в синагоге!

Йоси привел гида – еврея с желтой бородой и в мятой рубашке цвета пергамента. У него были испуганные глаза человека, занятого не своим делом. Не сказав ни слова о предстоящей экскурсии, он повел туристов в город. В районе порта человек в мятой рубашке остановился подождать отставших.

– Расскажите нам о Родосе, – потребовала Шира, разбитная сефардка в бейсбольной кепке вместо шляпы.

– Когда придем в синагогу, я расскажу вам еврейскую историю острова, – пообещал человек в несвежей рубашке, особенно желтой на фоне кипельной белизны Родоса.

– А общую историю? – наседала Шира. Она работала в социальной службе одного неблагополучного городка на севере Израиля и не привыкла отступать.

– Общую я не знаю, – пергаментный человек испугался еще больше. Что она хочет от кошерного еврея? Разве ему положено знать гойские сказки? Нам оно совершенно ни к чему!

– Если бы мы хотели просто купить кошерное питание и три молитвы в день, – заорала я, – то поехали бы по дешевке в Иерусалим на уик-энд. Для чего вы нас сюда привезли?

Я орала это все не мятому гиду, а стоявшему неподалеку Йоси. Конечно, на Йоси я не смотрела. Тем более, что он, как всегда, копался в смартфоне.

– Ладно, идите все сюда, – приказала я, – сейчас я расскажу вам о Родосе. Я тут купила путеводитель и всю ночь его изучала специально для вас.

Йосины подопечные выстроились вокруг меня идеально ровным греческим амфитеатром. Разумеется, только женщины. Мужчины отошли в сторонку, чтобы не слушать вредные слова о чужой истории и культуре, да еще, не дай Бог, из уст женщины.

Я старалась говорить так, чтобы новые знания падали в карманы, уже образованные в уме моих слушательниц обучением в школах Хабада. У мужчин же, в отличие от меня, было фундаментальное образование, а не нахватанность по верхам. Их знание книг Пророков наслоилось на Пятикнижие, Мишна – на Тору, Пророков и Писания, Гемара – на Мишну, средневековые комментарии – на Гемару. Но в этом стройном здании нигде не было ни уголка, ни пристеночка, ни тупичка, куда втиснулись бы мифы и легенды Древней Греции. Правда, в разделе “Гемара” кое у кого хранились предания о спорах греческих философов с древнееврейскими мудрецами. Но там не было ни Посейдона, ни Зевса, ни Гелиоса. Только Абсолют и Первопричина.

А с женщинами было проще: их готовили к практической жизни, к профессии и порядку в доме. Поэтому, хотя и они ничего не знали об Олимпе, их умы были слегка приоткрыты для светской культуры.

– В древние времена, – начала я, – только евреи знали, что миром правит Всевышний. Другие народы верили в мелких божков. Если Всевышний правит миром, то Он везде с тобой, куда бы ты ни шел. И поэтому в чужой стране ты можешь оставаться евреем. Везде есть Дома Хабада, ведь так?

А другие народы считали, что у каждой земли – свой бог. Если ты переехал в другую страну, то приходится менять и религию, потому что у другой страны другой хозяйчик. И ты уже не можешь быть собой.

Но для такого миропорядка сначала надо все страны и континенты разделить между богами. И вот, согласно греческой легенде, верховный бог собрал богов на горе Олимп и стал делить между ними земли. Он создал их при помощи воцапа (женщины засмеялись). Но у бога солнца не было смартфона, и он не пришел на собрание богов. Занятый солнечными пятнами и протуберанцами, он пропустил дележ земли.

– Что же, я без страны останусь? – возмутился бог солнца.

– Не волнуйся, дорогой, – отвечал ему главный бог, – сейчас что-нибудь придумаем.

И тут из моря восстал красивый остров, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Не только зеленью, кстати, но и розами. Слово Родос недаром напоминает “roses”. Бог солнца женился на нимфе, которую тоже звали Родос, и зажили они счастливо. У них родились дети и внуки. Одного из внуков звали Линд, и в его честь назван тот самый городишко, где мы так и не покатались на осле.

Быстро перемахнув через раннюю античность, я подошла к поздней.

– Поздняя античность в еврейской истории называется “периодом Второго Храма”, – объяснила я женщинам, – и в ту эпоху шел процесс под названием “эллинизация”. Греция тогда называлась Элладой, а греческая культура распространилась везде, и даже в Иудее. Ну, об этом вы знаете из истории Маккавеев и их войн с эллинистами. В ту эпоху Родос прославился огромной статуей бога Солнца – покровителя острова. Ее еще называли Колоссом, то есть, великаном. Родосцы построили ее, продав осадные машины, при помощи которых полководец Деметр пытался завоевать город. У Колосса, как у человека, был скелет, мясо и кожа. Его скелет был сделан из железа, мясо – из глины, а кожа – из бронзы. В высоту он достигал 37 метров, и его было видно со всех окрестных островов. Видите вон те колонны у входа в порт? На них еще стоят олень и олениха? Согласно преданию, они отмечают места, где когда-то стояли ноги Колосса.

Я быстро перемахнула через римский период и раннее средневековье, и подошла к рыцарям.

– Во времена рыцарей Старый город Родоса делился на северную и южную часть – прямо как Тель-Авив. Как и в Тель-Авиве, в северном Родосе жили богатые и знатные, а в южном – простые

люди. К богатым и знатным относились рыцари, а к беднякам – простые греки, другие европейцы, нашедшие здесь пристанище, а также евреи.

Турки прогнали греков из города, потому что те были христиане. Но евреев они оставили. Евреи взяли на себя городскую торговлю, но и греки тоже не пропали. Они построили вокруг города Родос множество пригородов и деревень.

Тут меня прервал Йоси:

– Надо идти в синагогу, – напомнил он.

В Старом городе Йоси потерялся. Мы текли за ним тонкой струйкой, но мощный встречный поток туристов быстро разбил ее на молекулы. Владельцы смартфонов стали получать на воцап Йосины крики: “Я в книжном магазине, а вы где?” “В каком еще книжном магазине?” “За углом”. “За каким?!”

Через какое-то время сильно поредевшая группа собралась на площади Еврейских мучеников – небольшом пустом пространстве в окружении оттоманских домов с навесными балконами и лавчками под полотняными навесами. Такие проплешины можно видеть и в других городах Европы: они возникли на месте разрушенных еврейских кварталов. Посреди площади на бетонном постаменте торчал фонтан – барабан с изображением рыб и морских гадов, увенчанный тремя целующимися морскими коньками. Какое отношение имели коньки к еврейским мученикам? Я вспомнила, что бирманские морские цыгане верят, будто после смерти душу человека забирает морской конек. Он отводит ее в другое, счастливое море, где не надо тяжело трудиться, ныряя за кальмарами. Похоже, памятник на площади Еврейских мучеников поручили морскому цыгану. Но тут я обернулась на зов Йоси, и все выяснилось. Наш чудо-гид стоял в тени условных платанов на другом углу площади, а позади него был еще один памятник – вполне логичная шестигранная призма из черного мрамора, с изображением меноры.

– До второй мировой войны в Старом городе Родоса проживало около полутора тысяч евреев, – вещал Йоси, – немцы собрали их на этой площади, увезли в Афины, а оттуда – в Освенцим. Выжило только 150 человек. Сейчас в Старом городе обитает всего 30 их потомков.

Проговорив это, он утратил интерес к публике и к еврейской истории. Йоси отошел под деревья. Там стояли просторные и высокие клетки, и раздавалось скрипучее карканье двух мощных по-

пугаев, похожих на орлов, разодетых для гей-парада. Вокруг услужливо сновал грек – сажал попугаев желающим на плечи, фотографировал, принимал деньги.

Попугая усадили на плечо Йоси. Птичка стала топтаться влево-вправо, царапая нашего предводителя острыми когтями сквозь рубашку. Йоси стоически, как Прометей, переносил пытку Зевесовым орлом. Глядя на него, я вдруг поняла, что он еще совсем мальчишка – вряд ли старше моего сына, который как раз тогда дослуживал последние дни в армии. Просто, когда мой сын ползал по грязи, защищая северную границу Израиля от Хизбаллы, Йоси затеял бизнес, причем без отрыва от ешивы, а то и его призвали бы в армию.

Мы пошли к синагоге, и все опять потерялись по пути. Но окружающие, даже не зная английского, были рады показать, где синагога, потому что синагога – греческое слово. Нам только кажется, что мы не знаем греческого языка. У каждого из нас такой запас слов на нем, что никакого воцапа не нужно.

Наконец все собрались в синагоге. Йоси влез на биму(2) и заговорил снова. Помятый человек, обещавший рассказ об истории евреев Родоса, куда-то бесследно исчез.

– В Старом городе было четыре синагоги, – сообщил Йоси, – все четыре взорвали немцы, а эту удалось восстановить стараниями одной богатой семьи.

Это была типичная сефардская синагога, просторная и светлая, с высокими сводчатыми потолками и бимой посреди зала. Скамьи располагались справа и слева от бимы, так что молящиеся сидели лицом друг к другу – не так, как в ашкеназских синагогах, где скамьи идут рядами, и все смотрят в сторону Святого Ковчега. Половину помещений синагоги отдали под музей общины. Миква(3), выкрашенная изнутри блестящей масляной краской, тоже оказалась на бездействующей музейной стороне. Видно, в Старом городе не осталось ни одной еврейской женщины детородного возраста.

13. ПРОЩАНИЕ

Последний вечер на Родосе. Я сняла сандалии и зашла по щиколотку в Средиземное море. Вода была еще слишком холодной

для купания. Войти в Эгейское мне вообще и не удалось. Когда, пройдя неприличную улицу Грива, я очутилась на Эгейской стороне острова, то убедилась, что вдоль берега тянутся валуны, отчасти острые, отчасти покрытые слизью. Лезть на них у меня не было ровно никакого желания. А вот Средиземное море, ласково шурша, произносило свое греческое название, набегая на берег:

– Таласса, таласса, таласса...

Песок был темным, крупнозернистым, то есть, вулканическим. Такой окрашенный лавой песок в Израиле можно увидеть только в Нагарии – неподалеку от потухших вулканов Голанских высот. Море намыло вдоль берега небольшую песчаную грядку, усыпанную галькой, осколками ракушек и обкатанной до гладкости терракотой разных эпох.

Мне вспомнился Крым, и как папа учил меня, шестилетнюю, плавать и как заставлял ходить по гальке, исправляя плоскостопие. А потом мы кидали в Черное море мелкие копейки, чтобы вернуться к нему снова. Но сейчас не было смысла кидать в талассу лепты, потому что живу я у того же самого моря, только с другой стороны.

Я дошла до гостиницы, уселась в баре лицом к морю и заказала себе shot прощального пива Mythos. Мимо меня, возвращаясь с шоппинга, вереницей прошла вся наша группа, с любопытством глядя, как женщина в платке и длинной юбке заливает в себя, нисколько не стесняясь, немаленькую дозу идеологически чуждого алкогольного напитка. Последним шел Йоси. Он впервые посмотрел не сквозь меня, а на меня, и в его глазах я прочитала сложное сообщение. Что-то вроде: “да вот ты какая” или “неизвестно чего от тебя ожидать” или “что удивительного в том, что ты недовольна моим кошерным туром”. Я приветствовала его поднятием бокала. Сквозь пиво и на фоне заката Йоси казался золотым божком, не имеющим отношения к реальности, и мне уже не хотелось требовать от него оплаченного мной пакета услуг.

14. АКРОПОЛЬ

Накануне отъезда Йоси осознал (или ему помогли осознать), что он зажал экскурсию на Акрополь, обещанную в программе. Поэтому он воззвал к народу во время завтрака:

– Быстрее садимся в автобус. По дороге в аэропорт я покажу вам Акрополь.

Все быстро сложили чемоданы в багажный ящик и уселись на свои места. Автобус пополз в гору. Через какое-то время Йоси сказал:

– Вон он там, Акрополь, в окне. Но выходить из автобуса нельзя. Мы опаздываем в аэропорт.

– Что такое Акрополь? Что такое Акрополь? – загалдели все разом.

– Место, где древние греки совершали идолослужение, – строго отрезала Эстер, и все тут же отвернулись от окна. Меня всегда искренне восхищает дисциплина ума, свойственная ортодоксальным евреям. Они мгновенно перестают интересоваться запретными плодами, не тратя ни секунды на пустые колебания.

Я же посмотрела в окно, но ничего не увидела. Половину Акрополя заслоняла зелень, другая половина неясно читалась вдалеке, окутанная строительными лесами. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу, но ему повезло и на этот раз – ведь он зажал экскурсию, которая в любом случае не состоялась бы из-за ремонтных работ на Акрополе.

15. МАМКА

В дьюти-фри я купила, наконец, сувениры и для мужа: бутылку виски Чивас Ригал и магнетик на холодильник. На магнетике было изображено какое-то белое здание на фоне голубого неба. Потом, когда Шимон его рассмотрел, оказалось, что это церковь с крестом. Поэтому магнетик он сломал и выкинул в мусорное ведро. Чивас Ригал мы пьем до сих пор – еврейские пьяницы, что с нас взять. И да, мы фанатики. Но мы никому не отрубам голову, в отличие от других фанатиков Ближнего Востока. А если точнее, каждый наш фанатик рубит голову исключительно самому себе.

Мы взлетели. Мне несказанно повезло – впервые за многие годы досталось место у иллюминатора. Домик, деревья рядом с домиком, похожие сверху на соцветье брокколи. Участочек. Еще домик, еще деревья, еще участочек, деревенька, поля, другая деревенька.. Мы летели прямо к солнцу, как Икар. И вот в иллюминаторе оказался круглый бок планеты Земля, облитый сверкающим морем.

Мы долго летели под облаками, которые совершали круговое движение, слово в центр неба кто-то вонзил поварешку и мешал ею голубой суп, а облака плавали по кругу, как белые клецки, подсвеченные солнцем. Наконец мы оказались поверх облачного супа. Средиземное море теперь синело только в просветах между кусками проплывающего тумана. Мы летели так совсем недолго, а потом снова нырнули под облака и подошли к израильскому берегу.

Израиль сверху совсем не похож на Родос. Израиль сверху похож на материнскую плату компьютера: ровно расчерченные зеленые прямоугольники полей, проводки дорог, серые ленты шоссе, остро торчащие в небо шурупы высоток. Это было технологично и красиво, потому что шум, беспорядок и прочие несовершенства сверху не видны. Как хороши шатры твои, Яаков, жилища твои, Израиль! Не говоря уже о населении.

И я подумала, что, если мир – это созданный Богом компьютер, то мировая мамка – материнская плата – находится у нас. Но, чтобы увидеть это, нужно иногда слетать на Родос и вернуться обратно.

Примечания:

(1) Рабби Моше бен Нахман (Рамбан) – еврейский мудрец конца 12 – нач.13 века

(2) Бима – возвышение в синагоге, откуда читают Тору

(3) – Миква – искусственный водоем для ритуальных очищений.

Михаил Сипер

БОТИНОЧКИ ИЗ ПРОШЛОГО

Лирическое отступление номер один

Когда-то, при самом зарождении нынешнего Государства Израиль кибуцы были одним из несокрушимых столпов, на которых стояло еще абсолютно неполовозрелое государство. Кибуцы поставляли почти всю сельскохозяйственную продукцию на рынки и в магазины, а также служили источником армейской элиты – боевых частей и их командиров. Сами кибуцы были островками абсолютного социализма в море полукапиталистических товарных отношений. Помните песенку из КВНа:

*Всё нормально, я работаю в кибуце,
Мной довольны, говорят, что не бездельник.
Наш кибуц купил вчера вторые бутсы,
Моя очередь ходить в них в понедельник...*

Да, именно так и обстояло дело. Всё (кроме жён) было обобществлено, и все были уравнины в правах. И кибуцники работали, жили и веселились! И оборонялись от постоянных набегов арабских банд на поля и коровники. Во времена британского мандата имелся ряд весьма существенных ограничений для кибуцев. Во-первых, запрещалось иметь оружие. А как обороняться против вооружённых нападений? Граблями? Поэтому в каждом кибуце были тайные подземные хранилища оружия, так называемые «слики». Во-вторых, категорически запрещалось производство строительных материалов. Цель – не допустить роста кибуцев. Кирпичи можно было покупать только у британских фирм по немислимым расценкам. Разумеется, в каждом ки-

буце начали подпольное производство красного кирпича из глины. Из него строили здания, довольно прочные и незатейливые по архитектуре. В доме из такого кирпича сейчас живу я. И в-третьих, так как у кибуцников с деньгами было не то что плохо, а совсем отвратительно, то в кибуце организовали пошив обуви.

В одном из небольших зданий было выделено две комнаты под обувную мастерскую. Здание, кстати, было построено именно из того нелегального красного кирпича... Сначала там работало трое сапожников (назовём их так). Со всех жителей кибуца были сняты мерки. Выкройки хранились на стеллажах. С детей мерки снимались раз в полгода. Обувь шилась из кожи, довольно грубой, но со временем технология выделки усовершенствовалась. Были закуплены или изготовлены в мастерских специальные машинки – швейная, обрезная, заклёпочная и так далее. У ребёнка рвалась обувь – его присылали к сапожнику – сандляру. Тот находил выкройку, проверял её соответствие сегодняшним размерам – и приступал к индпошиву. Так как кожа была грубовата, то порвать обувь – это надо уметь. И дети, конечно, это умели лучше взрослых. Поэтому основной работой сапожника были пошив и ремонт детской обуви. Между прочим, кибуцные модницы тоже не были обойдены вниманием обувной мастерской – тут шились туфли, почти модельные, на каблуке и из покрашенной кожи.

Всё изготавливалось по определённому стандарту, утверждённому на заседании руководства кибуца. А что вы думали? Никакого разброда и никаких шатаний! Мальчикам делали обувь чёрного цвета, девочкам – красного. Всё! Но одна девочка вдруг взбунтовалась и сказала, что она хочет ботиночки ЧЁРНОГО цвета! Ой взй! Чёрного, а не утверждённого красного! По этому вопиющему поводу собралось руководство кибуца. И они долго обсуждали возникшую проблему. И вы знаете, пришли к выводу, что девочка имеет право на чёрную обувь! Так что демократия вполне сочеталась с диктатурой пролетариата в спайке с трудовым крестьянством.

На самом почётном месте в мастерской висел большой портрет отца народов Иосифа Сталина. Кибуцы, как я уже говорил, были социалистическими предприятиями, что-то вроде колхозов. И то-

варищ Сталин олицетворял для кибуцных мечтателей маяк, указывающий путь к абсолютно светлому будущему. А местных умельцев вообще грела мысль, что отец Сталина был сапожником... Так длилось вплоть до XX съезда КПСС, когда «оказался наш отец не отцом, а сукою». В кибуцах плакали при вести о смерти усатого батьки, но постепенно глаза раскрывались и лапша с ушей сползала. Хоть знамя кибуцев и до сегодняшнего дня красного цвета, но прежних глупостей уже в головах нет. Да и тогда были люди, говорившие: «Россия – мать, Сталин – отец. Какая наша главная мечта? Стать сиротами...» Не на всех действовала магия рябого чёрта.

Я ещё застал последнего сапожника Ицхака Краусара. Обувь он уже не шил, а занимался, в основном, срочной починкой. Он был глубоким стариком и делал это просто в охотку, чтобы не сидеть дома и не позволять телу лениться. Таковы были первые кибуцники, светлая им память. Когда он умер, дверь в мастерскую закрыли на замок на долгие годы.

Лирическое отступление номер два

Жил в кибуце выходец из СССР Гриша Гилады. Он приехал сразу после окончания Второй мировой в ещё подмандатную Палестину. Как это ему удалось, я не знаю. Гриша прекрасно владел русским языком, поэтому каждый год выписывал из СССР журнал «Огонёк» со всеми литературными приложениями. Но когда Гриша умер, а наследников не было, то кибуцное руководство постановило (как всегда делалось в подобных случаях) квартиру отремонтировать и передать следующему по очереди кибуцнику, а никому не нужные книги на русском языке выкинуть на помойку. Об этом случайно узнал я, тогда ещё не член кибуца. Я подогнал машину и перевёз практически всю Гришину библиотеку к себе в караван, где жил с семьёй по программе «Первый дом на родине». Таким образом у меня оказалась куча переплетённых томов с «Огоньками», начиная с 1949 года по 1963 год. Чтение, доложу вам, науувлекательнейшее.

Несколько лет назад в кибуце Кфар Масарик, где я живу, решили сделать туристский центр, восстановить несколько истори-

ческих мест – обувную мастерскую, первые деревянные дома со всей обстановкой, музей с вещами и посудой первых кибуцников, принимать туристические группы и проводить экскурсии и лекции. Надо сказать, что идея вполне удалась. К нам постоянно и ежедневно приезжают группы туристов. Им показывают кибуц, что для многих – абсолютная экзотика, читают лекции, кормят в кибуцной столовой, показывают слайдфильмы об истории кибуца, а главное – заводят в ту самую обувную мастерскую, где всё осталось, как в 40-е годы. Меня попросили помочь с оформлением мастерской в прежнем духе. Порывшись в «Огоньках», я нашёл большую цветную вкладку с портретом Сталина, её отсканировали, увеличили, отпечатали и повесили в рамке туда, где аналогичный портрет находился в прежние времена. Словом, атмосфера соблюдена полностью. Интересно смотреть на лежащие выкройки, горки гвоздей, колодки, приспособления. Такое впечатление, что сапожник просто вышел на минутку, стоит только подождать и он вернётся, сядет за стол и продолжит постукивать тонким молоточком... А особенно забавно, когда почти 80-летний кибуцник показывает лекало маленькой подошвы, на котором написано его имя – это ему шили обувь, когда он был в детском саду. Всё сохранилось и теперь радуется взгляд. Конечно, кроме того портрета – он как раз взгляд огорчает...

А позавчера был потрясающий случай. Приехала группа израильских туристов, людей достаточно пожилых, не зелёных пацанов. Во время лекции и показа портретов бывших сапожников на стенах мастерской одна женщина показала на портрет Сталина и спросила: «Это тоже ваш сапожник?» И лектор благоговейно замолчала – есть люди, наконец-то, которые не знают Сталина! А уж словом «Джугашвили» можно их привести в полный ступор. И слава Богу.

Елена Островская

О РУТИНИЗАЦИИ СМЕРТИ

Под таким, казалось бы, респектабельным заголовком будет мрачный рассказ об опривычивании картинок смерти в 1990-е годы. Слабонервных и бодрячков прошу отойти в сторону, чтоб не запачкаться.

В детстве и отрочестве я лишь раз соприкоснулась со смертью в публичном месте. По дороге на день рождения к однокласснице. Вдруг старик, стоявший рядом на перроне, сполз наземь, пошла пена изо рта, глаза закатились. Все стали страшно суетиться, мгновенно вызвали помощь. И та незамедлительно явилась: Красная Шапочка из стеклянной будки, что обычно стережет эскалатор, привела белую шапочку с красным крестом. Они дальше что-то предпринимали без меня. Моему деду удалось наконец вытащить меня из толпы зевак, мы пересели в другой поезд. От увиденного и пережитого я рыдала еще полвечера. Все дружно меня утешали, потом всем надоело, день рождения был несколько омрачен.

А на улицах детства происходила жизнь. Вон из моего окна хрущевки, с третьего этажа, был хорошо виден пивной ларек. Перед открытием там регулярно собиралась длиннущая мужская очередь. А минут за пять до, клацая каблуками, являлась Она. Я думаю, что клацая. Смотрела-то я из окна. Мужская очередь приходила в движение подобно звеньям игрушечной деревянной змеи. Одни подтягивали животы, другие доставали зажигалки или что там не знаю. Прекрасная дама шла, уже слегка качаясь. Сейчас думаю, что уже приходила под шафе. Тогда меня изумляла ее всесезонная красная помада. Осенью и летом аккуратная стрижка. Зимой меховая пушистая белая шапка до ресниц. И неизменный каблук. Всегда пропускали, окошко открывается, кто-то подает ей гигантскую кружку...

Дальше я пропускала, потому что рисовала. Рисовала дни напролет, лишь иногда выглядывая в мир. Миром был универсам со всем прилежавшим к нему комплексом из лестниц, магазинов, ларька и часто дерущихся мужиков. Да-да, доходило до драки обязательно. Район был пролетарский, прямой. Кровь потом долго еще валялась повсюду, а дед мой шел за продуктами той дорогой и плевал от отвращения.

Так кто лежал на улицах и в подъездах? Пьяные и пьяные-побитые. Иногда пьяные лежали в луже. Нет, не крови.

А в начале 1990-х Невский был по обе стороны обложен нищими, голодными и грязными людьми, детьми, примерзающими к асфальту стариками. Когда в первый раз столкнулась с умирающим на улице человеком, пыталась позвать на помощь, но люди просто шли мимо. Шли сквозь меня, будто и я, и тело на моих руках были прозрачными. Увидела милиционера, подбежала, вцепилась. Он хохотал как резаный и все повторял мне “да пусть сдохнет уже, иди домой, никого не спасешь!”

Через несколько месяцев в Москве ехала в автобусе. Прямо посреди Кутузовского проспекта стояла расстрелянная машина, один окровавленный труп валялся справа от нее разорванный, куски другого или его же – слева. И я опять начала кричать. Люди рядом, пассажиры, вяло посоветовали успокоиться. Ничего, мол, такого, ты чего, приезжая наверно? Ну, стреляют и бомбы в машины подкладывают часто, успокойся. Живи пока живется. Вот тогда я впервые именно так и подумала: в какое чудовищное время мне довелось родиться и жить, если смерть стала рутинной составляющей жизни.

ЛЕЧИТЬ ВЕТРЯНКУ СТИХАМИ

Да, именно так поступила с ветрянкой одна молодая поэтесса, приглашённая моей мамой посидеть с девочкой. Ветрянка застала абсолютно всех врасплох. А дело было так.

Бабушка с дедом укатили встречать бархатный сезон в Ялте. Впервые за многие годы они просто объявили адъес камарадес, взяли билеты на самолёт и улетели. Предварительно меня, конечно, проинструктировали, что в ближайший месяц с небольшим выходные я провожу у родителей. Новость поставила было меня

в тупик, но думать было некогда и нечем, дел было по горло в той моей жизни восьмилетней ученицы интерната номер один. До сих пор не знаю, где был номер два?

Интернатская жизнь шла своим накатанным чередом, как вдруг у меня случилась температура в 39 градусов. В интернате такое не приветствовалось, никаких тебе лазаретов-изоляторов. У нас с этим было строго: заболел, значит все, одевайся и уматывай домой. Есть дома кто, или нет не имело ровно никакого значения.

Домой я, конечно, не поехала, здраво рассудив, что все на работе, а ключей у меня нет. Пошла в любимый кинотеатр “Авангард”. На все сеансы крутилась страшнейшая кинолента Германа о войне, с его любимой кишковынимательской игрой. Главному герою выжгли звезду каленым железом на груди, а Герман это крупным планом смаковал. Отвратительный фильм смотрела с омерзением уже в третий раз, потому что если в советском прокате выходил фильм-лауреат, то крутили его во всех кинотеатрах месяцами до полного обрыва пленки....

Стоял тёплый октябрь, и сапоги в интернате нам ещё не выдавали. В кинотеатр я зашла в босоножках, одетых на толстый хлопковый колготок в рубчик. Вышла я из кинотеатра с пакостнейшим липким послевкусием и прямо в снег. Да, в тот год снег выпал именно в этот день. И падал, падал и падал день, вечер, ночь, утро, день ...Так ужасно было идти в дурацких босоножках по сугробам, неся выжженную звезду перед глазами и хрипы героя в ушах. Благо меня согревала подросшая с утра температура.

Приехала, позвонила. Дверь открыла мама, как всегда невероятно красивая и загадочная. В одной руке почему-то блюдо с фруктами, в другой ветка. Тут же ушла, оставляя по слову с каждым шагом удаления в свою жизнь. Сложив их вместе, я поняла, что у неё какие-то занятия, она уходит, еды нет, можешь посидеть в кресле, Аня придёт. Пока я все ещё вслушиваюсь в эти звуки, она уже одетая стоит напротив, улыбается и смотрит огромными глазами. Мама: “боже, Алена, где ты все время? Суп мы съели, еды нет, ложись спать!” Дверь закрывается. Я иду спать...

Просыпаюсь поздно, уже ночь. На кухне, судя по многоголосью, люди, волшебные люди. Прокрадываюсь и долго за ними наблюдаю. Они кажутся очень причудливыми в своих широченных клешенных штанах, блузах на выпуск неясного размера с рюшами и

тесемками, на запястьях нитки какие-то бесконечные, у кого очки, у кого браслеты, кто на подоконнике, а кто на полу и на стульях. Впрочем, стульев-то всего два, ещё есть кресло, но оно для мамы и для кошки. Люди весёлые, шумные, громко что-то обсуждают, смеются, курят. Они мне нравятся, они не похожи на каленую звезду и босоножки на снегу. Но голод уже сильно скребёт живот изнутри. Именно в этот момент кто-то меня замечает и тут же со смехом кричит: “ой, смотрите, смотрите!!! Аленка, Аленка!!! Иди сюда, иди сюда!!!” Ну, вот, думаю, началось: а как у тебя дела, а что в школе нового, а ты почему не спишь, а расскажи стихотворение, да, ты что рисуешь????!!!

К счастью, обошлось без стихов и давай нарисуй, помогла температура. Из еды у них остался кусок хлеба и нечто для меня той престранное – розовое варенье. Вот уж этой пакости, плававшей в какой-то коричневой жиже, можно было кушать от души. Я, конечно, деликатно попробовала и поскорее убралась восвояси.

Утро началось с бездны, которая разверзлась в комнате, где нас было четверо – кошка, я, папа и мама. Я лежала под роялем, кошка на шкапу, а родители в диалоговой манере выясняли, кто останется встретить врача. Остались мы с кошкой. С раскладушки я решила не вставать, спать до последнего. Так оно и получилось, что услышала я уже совсем последний звонок в дверь. Когда открыла, врач успела занырнуть наполовину в лифт, благо тот был с двойными дверями. Но дверь внешнюю я поймала, дабы узнать, а что передать, кто приходил.

Врач все-таки вернулась, зашла в дом, помыла руки и ,внимательно осмотрев, констатировала ветрянку. Помню только ее слова, что к вечеру будет чесаться, но чесать нельзя. Потом она ушла, а я вернулась в объятия раскладушки. Вечером помню силуэт отца в полумраке, он что-то недовольно бормочет себе под нос, щурится в темноте читая рецепт. Ахахаха! В рецепте одно слово: зеленка.

Ужас, ужас, ужас: утром я была вся, абсолютно вся в пупырышках, и они нестерпимо чесались. От зеленки становилось ненадолго легче. На кухне меня встретила записка: “в холодильнике немного желе, в пиалке розовое варенье, скоро придёт Аня”. Какой кошмар – придёт Аня.

Аня была поэтессой, читала в Сайгоне, дружила с поэтами. Она вообще очень много читала, носила огромные очки, длинные прямые волосы, юбку из гобелена в пол. Она иногда даже смотрела на меня поверх очков, как бы удивлялась, что да, я де существую. Но главное, она много и пространно говорила. Эти речи неизменно начинались словами: “видишь ли, Алена, жизнь так устроена...”, дальше шло нечто, ставшее для меня квинтэссенцией философии. Нечто магически долгое и пространное, завораживающее глухими лабиринтами, в закоулках которых я так и осталась потянутой навсегда...

Аня пришла днём, намазала меня зелёной, сопровождая это привычным комментарием “пора бы уже самой, ты ведь большая девочка...”, померили температуру – 38,5. Она обреченно вздохнула и поплелась в коридор за своей огромной сумкой. О, ужас, там были книги, которые она быстренько стала выгружать одну за другой на круглый стол рядом с фортепьяно. Если честно, то вообще-то стол был равно рядом и с обоими окнами этого странного эркера, и со шкафом. Кошка равнодушно наблюдала со шкапа за Аниными манипуляциями. Соорудив башню почти до потолка, дева с волосами объявила, что мы будем читать. Я стала мысленно прикидывать, надолго ли ее хватит.

Аня читала про царей, про Распутина, Павла до полудня. Потом мы пошли на кухню, она села в мамино кресло, вытянула ноги, обнаружив белые вязаные колготки. Они мне так понравились, что я пропустила тему следующей книги. Это, кстати, было не важно, потому что осмысление колготок окончилось как раз одновременно с третьей ее книгой. Я попросила чаю. Аня посмотрела на меня строго. Поджала губы, потом вдруг поджала ноги и заявила, что она в гостях. Что бы это значило – пронеслась в моей голове редкая по тем временам мысль. Но она уже объясняла, что гостю надо лучшее место, лучшую чашку, блюдце и, конечно, изюм. Я спросила, есть ли у неё изюм. Боже, у неё оказалась халва. Я сделала впервые в жизни чай. Поэтесса объяснила, что заливать сухие листья следует “вороньим глазом” – кипятком, который вот лишь только принялся бухтеть.

Мы пили зелёный чай и ели кусочек халвы, раздроблённый на множество крошек. И тут случилось странное. Глядя на Анну, я вдруг говорю: “лицом к лицу лица не увидеть!!!” Она отвечает: “у

разлуки такое большое лицо... Аленка, да, ты – человек! Ты любишь и знаешь стихи! Давай я тебе почитаю!”

Она читала, читала и читала. Меня посадила в кресло напротив окна. Сама встала левой щекой к окну, подняла правую руку, ногу согнула в колене... Солнце светило мне прямо в лицо, все ещё весёлое и тёплое, несмотря на снег. Аня повернулась фас, солнце светило справа от неё в мой левый глаз. В каждом сантиметре кухни висели слова, они сплетались странными канделябрами. Аня открыла форточку, там было темно синее с красным небо и снежинки. Слова полетели на волю, оголяя вопрос о еде. Я смотрела на поэтессу и отчётливо понимала всю неуместность своего вопроса. Анна повернулась правой щекой к окну, подняла левую руку, ноги прямо. Теперь я видела только профиль. Слова выдувались тонкой струйкой дыма из ее рта. Я теперь могла видеть лишь их узоры и ее профиль. Поздно, совсем поздно открылась входная дверь, тонкие пальцы нажали кнопку, и свет вошёл в дом. Родители принесли немножко сыра и хлеб, там было розовое варенье...

Розовое варенье клали на сыр и на хлеб. Каждому достался бутерброд. Все было чрезвычайно беспечно, легко. Никто и представить не мог, что через полвека Аню ждёт сначала рак, а потом страшный огромного роста человек, почему-то захотевший убить ее в парке на снегу...

Эдуард Бормашенко

НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ

*Все кончено. Но нет конца – концу.
Нет и начала нашему началу.*

П. Антокольский

Ничего не поделаешь. И в самом деле, «ничего», «ничто» не сделаешь, не изготовишь, не создашь. Люди расщепили атом, раскололи его ядро, раскрасили и обнюхали кварки, а «ничто» в руки не дается. Индусы и, вроде бы, шумеры, правда, придумали для него значок, и это изобретение, возможно, стало величайшим открытием первотолчком, первокирпичиком математики. То есть математика стоит на «ничто».

Математики полагают, что без нуля была бы невозможна упорядоченная, позиционная система счисления, то есть и порядок в мире чисел отчасти задан «ничто».

Если верить еврейской философии, то и мир создан из «ничто», ex nihilo. Не разумно ли предположить, что тайна поразительных успехов математики в описании мира заключена в том, что и математика, и мир растут из ничего и покоятся ни на чем?

Нам недурно творится даже из сора, если умеючи. И сами мы пришли в мир созданными из двойной спирали, плававшей в вонючей капле. Но из «ничто» мы творить не можем, с ним не управимся, вот и живем в ожидании того, что оно с нами управится.

Ничто не столько противостоит бытию, сколь надежде. Надежда отправляет нас к «ничто» на Хароновой ладье, по лунному лучу, Млечному Пути и светлым коридорам. Ничего хуже ада надежда не придумала, «ничто» ей не по зубам.

Ничто противостоит не только надежде, но и привычке «быть», привыкнуть же к нему невозможно.

Одна очень начитанная и почитающая собственную ученость дама спросила меня, подбрасывая ощипанные брови: а для чего, собственно, нужна философия? Какая от нее польза? Где удой? На этот вопрос Александр Моисеевич Пятигорский задиристо и твердо отвечал: «ни для чего». Философия – наука для и о «ничто», и пользы от нее никакой; и даже скорее не наука, но интеллектуальное приключение, ведущее к границам бытия, очерченным «ничто».

Со времен Канта философия занята демаркацией поля знаемого. Если верить беспокойному старику Иммануилу, следует в первую очередь определить, чего мы знать не можем. Так вот, «ничто» мы знать не можем. Наше мышление, о чем бы ни думали, всегда мышление о чем-то. Сознание услужливо подсовывает нам белую обезьяну конкретного, предметного, о которой мы тщимся не думать. Мы тасуем картинки уже виденного и запечатленного. Дьявола мы наделяем рогами и хвостом, занятыми по случаю у банальных козла и осла.

Одно лишь «ничто», не засаленное и незаселенное пятнами, оставленными вещами, истинно, стопроцентно трансцендентно.

И еще о демаркации. Спиноза в «Кратком трактате», доказывая бесконечность природы, полагает несомненным следующее рассуждение «от противного»: «если природа конечна, то ее окружает «ничто», что нелепо». Так ли нелепо? Быть может, ничто не противостоит бытию, но ограничивает его? Если это так, то без «ничто» мир не полон, подобно тому, как математика не полна без нуля. Но как примириться с миром, очерченным «ничто»?

Вся история человека – история ухода, побега, изгнания, исхода. Адама и Еву выпроваживают из райского сада, исходят из

Египта евреи, бежит назвавший себя «никто» победитель троянцев Одиссей; за золотом, выходя из себя и из постылой пустоты, рвались полоумные конкистадоры; в XX веке бежали в Космос. Особенность нашего времени в том, что исходить некуда. Неведомых земель нет. Нас плотно обступает непроходимое Ничто.

Доверимся речи, возьмем разговорчивого и разговорного «языка»: «остаться без ничего» – вопреки прямому смыслу сказанного означает: «остаться с ничем», или попросту: «остаться без всего». Русский язык уравнивает «ничто» и «все».

В иврите и того более, слово «ничто», “אין” представляет собою сцепившие $\text{דִּימָה} + \text{לֹא}$. Иначе говоря: все + ничто, или же: все + нечто. Происхождение слова $(ה)דִּימָה$ – темно, по-аккадски, $\text{ti} + \text{ma}$ – нечто, но, так или иначе, на иврите «ничто» содержит в себе «все».

Когда я говорю: «меня ничто не интересует», то на самом деле имею в виду, что меня заботит именно «ничто». Мы не можем ни вообразить, ни воспроизводить ничто, но оно нас волнует. Еще бы, противореча Спинозе, полагавшего природу бесконечной, нетрудно предположить себя расположившимися на крошечном острове бытия, окруженным океаном ничто.

А что говорит нам о ничто «греческая мудрость»? Классик доократического мышления Парменид учил, что все сущее едино. Его ученик, знаменитый вечными, как «ничто», парадоксами Зенон, говорил, что сущее не только едино, но непрерывно и неделимо. «Если сущее делимо, разделим каждую его часть надвое, а затем каждую из двух частей надвое, и если повторять это, то либо останутся предельные величины единые и неделимые (атомы) ..., либо сущее бесследно исчезнет и разложится в «ничто», и окажется состоящим из ничего, однако, и то, и другое абсурдно (Симпликий, Комментарий к «Физике», 139, 24).

Греки, следуя свободно разворачивающейся мысли, ни в чем не знали меры, и Парменид с Зеноном всерьез полагали, что Универсум «един, единокроден, незыблем и нерожден» (Псевдо-Плу-

тарх, Строматы). В самом деле, предположение о бесконечной делимости сущего бодро ведет к вечнозеленым парадоксам Зенона. И вот что пишет об этом стойко и ожидаемо недолюбливавший Парменида Аристотель («Метафизика»): если сущее едино и неделимо, то «оно будет ничем, ибо то, что не увеличивает, если его прибавлять, и не уменьшает, если его отнимать, ... не принадлежит к сущим». Едино и неделимое сущее – тождественно ничто. Ничего не поделаешь. Или, как говорит мой друг Михаил Исаакович Юдсон, «ничего» не подделаешь. То, что не нами не создано, нам не подделать.

Книга Эдуарда Бормашенко “СУХОЙ ОСТАТОК”

Возможна ли философия в современном мире?
Как сложить мозаику, включающую узор заповедей
и паутину уравнений современной физики?

Как сопрягаются воля к истине и воля к смыслу?
Автор, не возводя 1001-ю философскую систему,
предлагает запись своего духовного опыта
и размышления о текстах,
сформировавших его внутренний мир.

Книгу открывают автобиографические зарисовки.
Издательство Москва-Иерусалим, 2014 год, 308 страниц.

Цена книги с пересылкой – 75 шекелей.

Для заказа чеки на имя Эдуарда Бормашенко
пересылать по адресу:

Ariel, 40700, P.O. 2369, Avner str. 17, apt. 2, Israel.

Электронный адрес автора: edward@ariel.ac.il

Яков Нелькин

БЕЗЗЛОБНО ТВОРЯЩИЙ РАЗУМ

В наши дни на Земле Израиля возрождается государство евреев, разрушенное две тысячи лет назад семилетним нашествием мощи, корысти и дикости Великой Римской империи. Цель нашего движения: слом иудейской свободы – экономической, политической, теологической – и, конечно же, ее золото – Риму.

Все потеряв в непосильной войне с чуждой силой империи, часть иудеев оставила родину и понесла свое невесомое – гены, веру, мораль и мудрость – в чуждые страны, поверья, войны, вражду – в историю наших дней.

Великие знатоки, проводники и доводчики Божьей Воли до современника – Святая Инквизиция (1492), евреев спасающий Эвиан (1938), селекционирующий Освенцим (1941) – объявляли отвечающим Его Святой Воле отъем у евреев их прав и средств, их странной связи с Природой и Богом. Но необъявленный, скрытый стержень святой их атаки – своя колея: консервативность их мысли, веры и направления сил народа – в “свою корысть”.

Во Вторую мировую войну мощные алчные дикие страны – Британия, Германия, США – военной силой закрыли подмандатную еврейскую Палестину, спасительный очаг для евреев, – и оставили открытым индустриальное “окончательное решение”.

Изобретенное фашизмом, оно было оценено, поддержано и осуществлено коллективом соучастников – стран и народов.

Шесть миллионов евреев – и космические миллиардолетия созидания Разума из Праха Земного – “властители дум” XX века стравивали во Прах Земной. И, как надеялись, в пепел забвения.

Нарушив Мандат на охрану очага Палестины, англичанка нагадила и в будущее евреев, боровшихся, победивших и переживших фашизм. Британия как простынь разодрала и роздала Святую Землю, завещанную Богом евреям, а последний ее лоскут открыла арабам-переселенцам и просто кочевникам. Без груза любви и нужды в стране они осели у еврейских социальных костров.

Так мир посеял регрессивный Ближне-Восточный конфликт.

В предночные часы Мандата обгоревшая, обнищавшая, голодная и безоружная Палестина, окруженная регулярными армиями ислама и религиозным исламом в стране, объявила себя независимым государством Израиль.

Непостижимо собрав свои силы, Израиль разгромил окружившие страну армии – и выжил. Выжил, не подавив жестокостью ни побежденных своих врагов, ни радетелей “Божьей Воли”, – а просто войдя в деловую свою колею.

Этого “пренебрежения” мир не сумел ни понять, ни принять, ни вынести.

Радетели “Божьей Воли” сплели жгут из мореплавателей и воинов финикийцев, исчезнувших филистимлян и исламских переселенцев – и вознесли “население Палестины» в “паритетный народ” Израиля.

Так мир приобрел наемника “демократического ислама” для всех живущих антисемитов.

«Паритетный народ» торопливо сменил бесцветность своей истории на криминал самозванных претензий – и “втесал” его в созидательную работу евреев.

Осознавая неустойчивость своего положения, но после нескольких поражений на военную победу ислама над Израилем уже не надеясь, – «паритетный» ненавидит бесчисленные успехи страны и злобно уничтожает свидетельства и святыни ее истории.

Так во времена Якова (“Бытие”, 26) филистимляне заваливали и засыпали землей его колодцы в пустыне: “ни нам, ни ему”.

Вот оно – сегодняшнее поле борьбы людей: справа – созидание средств развития мира; слева – управление потоками денег.

Созидание жестко требует честной работы. “Управление потоками денег” ведет себя неясно и беспринципно. На своре у “Управления” – организация “лже-Палестина”. Она не созидает средств развития мира, живет на пожертвования: от США – странам третьего мира, от Арабских Эмиратов – в Газу (15 миллионов долларов в месяц), от Катара, Евросоюза, ЮНЕСКО, общественных и частных жертвователей и из теневых источников стекают в нее огромные деньги. Пожертвования раздувают ПА в участника создания Исламского Халифата – везде, где возможно. Но уж в Израиле (центре ислама!) ПА – необходимый игрок: “From the River to the Sea, Palestine will be free!”

Перевод? “Исламизация и порабощение Западной цивилизации демократическим вторжением в ее страны, используя современный демографический и идеологический регресс Запада для порабощения его дегенеративного либерализма”.

В четыре последних года ПА вложила в террор – в убийство израильтян – миллиард долларов (часть своих целевых пожертвований) – чем вынудила Израиль встречно вложить как минимум двадцать своих миллиардов в снижение числа жертв террора – еврейских, арабских.

Мировой освободительный паразитизм – это активное скудоумие мира. Он хочет “прав” – и он добивается денежных выплат нетрудящейся части народов – за счет снижения платы “брутто” всей трудящейся массе. Он “освобождает” ислам для подчинения шариату всего современного человечества. Он разлагающ и заразителен. Он уже поразил ряд наций привлекательностью мультикультуры, скатерти-самобранки для миллионов паразитических переселенцев и избирательного права для них (то есть влияния на правительства и народы). Он знает, как надо, и хочет свободно эксплуатировать мир.

Иерусалимская больница извлекла из тела двадцатилетнего

араба осторожную, сберегшую ему жизнь пулю, прервавшую его убийство семьи Соломон.

Теракт повысил престиж ПА – ПА повысил “зарплату” убийцам до 3 тысяч 120 долларов в месяц на весь срок пребывания каждого в еврейской тюрьме (по его желанию – с университетом за счет Израиля).

Предучитывая деловую поддержку освободительного паразитизма, Центр мирового бизнеса «Палестина» отказался отказать перспективным убийцам в поощрительной выплате 3,120 долларов в месяц, – это стало бы неуважением к освободителям мира, к вере шахидов в их международную роль. Завидные условия для убийц, отвечающие требованиям комиссий по правам человека (и террориста) при ООН, Красном Кресте и других мировых правозащитных организациях, втягивают тысячи начинающих камнетателей во взрослый профессиональный террор.

Демократический паразитизм вводит систему указаний и выплат покладистым ученым-профессионалам и студентам, “понимающим конъюнктуру”, и производит колоссальные вложения в мировую масс-медийную ложь населению. Ложь вправляет в короткомыслое большинство свои предзаданные возмущения и разрушения.

Биологически и исторически – разрушительная система, разрушая свое окружение, подрывает и разрушает себя.

Кровавое знамя лже-Палестины авторитетно разносит по кампусам и демонстрациям инструкции человечеству на слияние бизнеса, террора и юдофобии с мировым подчинением шариату. Агрессивный ислам возгорается в веселом пожаре – и требует мирового участия в нем: “islam will dominate the World”.

ПА клеветает, что Израиль движется к апартеиду. Нашей мирной стране действительно необходим арабский трансфер. Но не трансфер-расизм, а трансфер-развод, ремонт, мир и разум. Но еще необходимее он арабам, остающимся со своей ненавистью ни при чем: перед работой живого Разума вянет память о филистимлянах и финикийцах; канут в прошлое и лжепалестинцы, отдающие свои силы претензиям на владение тем, что никогда не было ими создано. Эти претензии порождают лишь низко-паразитические моральные перспективы жизни на создаваемом другими народами. При всей распространенности и безосновательности

ненависти народов к евреям, она не может надежно служить задаче производительного существования “палестинцев” в качестве нужного миру народа. Настанет день, мир очнется – и перестанет платить за убийство, а спросит настоящего созидющего полезного миру творчества. “Палестинцы” протянут свои пустые кровавые руки...

1 сентября 2017 года. Мирный Израиль начинает учебный год. Его многоцветная неразлично многонациональная молодость вся сегодня под южным солнцем в своей созидательной колее – излучает мощь своего коллектива, восхождение детского Разума к творческому созиданию мира своими силами.

Зависть, поверья, вражда, клевета и ненависть? Обращение в прах земной? в пепел забвения? “Ученые”, лжецы и убийцы...

Да. Детей наших ждут проблемы, мысли, работа, сосредоточенность. Беззлобно творящий Разум возрождает государство евреев – и ведет народ к свету.

Ведет народы к свету не “освободительный паразитизм палестинцев” – а мировой и еврейский беззлобно творящий Разум.

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Роман Кацман

НА ЧТО ОТОЗВАЛАСЬ РЕАЛЬНОСТЬ

Журнал «Двоеточие», № 27, лето 2017

<https://dvoetochie.wordpress.com/dvoetochie-27/>

Много лет я читаю в университете курс по истории эстетики, и всякий раз мне приходится убеждать студентов в несправедливости одного из самых расхожих предубеждений современности – о том, что о вкусах не спорят. Подобное суждение, будь оно верным, лишило бы всякого смысла двадцать три века философии о прекрасном и об искусстве. Лишь в последнее столетие эта, как теперь модно говорить, популистская поговорка полностью совпала с доминантным – релятивистским – трендом в эстетике (и то, лишь в той степени, в которой за последней еще сохранилось право на существование). Борьба с западной метафизикой создала (на мой взгляд, намеренно) ошибочное впечатление, что для постсовременного искусства характерен отказ не только от абсолютных истин и идеологий, но и от эстетических норм и ценностей. Однако история искусства 20-го, а теперь уже и 21-го веков никак не подтверждает справедливости этого впечатления. Напротив, как идеологическое, так и нормативно-ценностное измерения того, что американский философ Джордж Дики назвал «миром искусства», отнюдь не потеряли своей значимости, ибо без них сегодня, как и сотни лет назад, невозможно никакое суждение, высказывание или действие вообще – ни кантовское суждение вкуса, ни постмодернистский эзотерический «заговор искусства», описанный Жаном Бодрийаром. Можно даже добавить, что чем более релятивистским становился очередной виток постмодернизма, тем более ортодоксальными становились его адепты, которые словно

подняли на щит перефразированное высказывание, ошибочно приписываемое Вольтеру: вы можете со мной не соглашаться, но должны быть готовы умереть за мое право игнорировать ваше мнение. Следствием этой инверсии явилось окончательное крушение риторики, начавшееся уже полтора столетия назад, и, более того, деградация общественной коммуникации как таковой, условиями которой должны быть право и необходимость не только высказывания мнений, но и их обсуждения, то есть высказывания суждений – адекватно, справедливо и искренне, если следовать модели Юргена Хабермаса. Впрочем, сами писатели и поэты никогда и не отказывались от этих условий, что бы ни говорили теоретики искусства.

Журнал «Двоеточие», созданный Гали-Даной Зингер и Некодом Зингером более двадцати лет назад, был и остается важнейшей площадкой для такого рода обсуждений, и только что вышедший 27-й номер журнала – весомое тому подтверждение. Редакторы, отчасти следуя неомодернистской линии, подняли руку на одну из самых тучных священных коров постмодернизма – на релятивизм, то есть неразличимость хорошего и плохого искусства. По их словам в предисловии к номеру, вдохновением для них послужил модернистский сборник «The Stuffed Owl: An anthology of bad verse» (1930), в котором Уиндхем Льюис и Чарльз Ли собрали «хорошие плохие стихи» известных и не очень известных английских и американских поэтов: «составители будто задумали продемонстрировать читателям бессмертный и неистребимый характер поэтического самоослепления и самодовольства». Редакторы «Двоеточия» решили опередить будущих насмешников, предоставив поэтам возможность продемонстрировать свою зрячесть, самоиронию и способность к трезвой самооценке. Эта затея определенно удалась: более двадцати авторов предоставили свои плохие, по их мнению, стихи, сопроводив их пояснениями, размышлениями или воспоминаниями, отнюдь не всегда веселыми, о своих неудачах. Одни всерьез бросились анализировать свои поэтические огрехи; другие обнаружили причину неудачи в ложном источнике вдохновения или в эмоциональном контексте; третьи, наподобие участников известной игры в «Идиоте» Достоевского, кокетливо выдали за неудачу свое недовольство собственными ранними стихами.

Я далек от намерения обсуждать здесь стихи, опубликованные в номере: его программа обезоруживает критиков тем больше, чем более искренен и беспощаден к себе тот или иной автор. Гораздо больше меня интересует сверхзадача этого проекта. Ведь целью Льюиса и Ли было не столько посмеяться над чужими неудачами (у кого их нет!), сколько лишний раз утвердить превосходство и, если так можно выразиться, прогрессивность и актуальность модернистской эстетики по сравнению с классической и (нео)романтической. Поэтому позволю себе задаться вопросом о том, каков вектор усилий редакторов «Двоеточия». Для ответа на него уже недостаточна отсылка к неомодернизму, в силу несамостоятельности последнего, или к задаче преодоления постмодернизма, в силу заведомой избыточности как его самого, так и усилий по его преодолению. Я попытаюсь восстановить сверхзадачу сборника по отдельным, наиболее запомнившимся мне замечаниям некоторых из его участников, отнюдь не претендуя на полноту картины. Предположу этой краткой выборке свой вывод: поэты, решившиеся на различение плохих и хороших стихов (пусть и зачастую меняющихся местами), – это те, что тоскуют о реальности существования, в смысле живой жизни или, говоря по-хайдеггеровски, онтической подлинности, вступающей в противоречие с реальностью видимой или воображаемой; тоскуют не столько о воплощении ее, сколько об активном, меняющем воздействии на нее, о «здесь-поступке». Я назову это различение экзистенциальным реализмом; в некотором смысле, в нем можно видеть продолжение той эстетики, которую Денис Соболев в его книге «Евреи и Европа» назвал «поэзией существования». Думаю, в этом направлении, уводящем в сторону от застарелой привычки к неоромантизму, развивается теоретико-редакторская мысль редакторов «Двоеточия».

Для Василины Орловой плохое стихотворение – это то, что не сделало человека (читателя) «каким-то другим». Владимир Богомяков видит недостаток своего стихотворения в том, что не находит в нем «ничего из реальной жизни». Евгений Сошкин, комментируя недостатки одного из своих стихотворений, упоминает «эстетику вещественности, осязаемости чудесного, которую [он] в основном и стремился воссоздать речевыми средствами», но, по его словам, недостаточно преуспел в этом. Евгения Вежляна

выводит образ «бедного поэта»: «он должен написать текст, который сделает его отвергнутым и несчастным именно потому, что он сам – следствие и отображение в плоскости языка состояния отторгнутости и несчастья»; и о поэзии: «вся эта петрушка происходит строго по эту сторону бытия, и не имеет никакого отношения к старой доброй метафизике». Любопытно замечание Елены Георгиевской на последнюю строфу своего «плохого» стихотворения: «Я не нуждаюсь ни в людях, ни в вёслах, ни в словах, а, должно быть, в петле: / ведь я знаю, что край всей Твоей земли находится не на земле»; «Между тем, свою вторую квартиру я в нулевые годы купила на краю земли божьей, России. Самый западный областной центр. Удивительные пророчества плохих стихов». Для Марины Курсановой плохие стихи (или хорошие?) – «это о том, как невозможно, но, на самом деле, только это и возможно, потому что в этом вся жизнь. Ничего придуманного».

Марию Малиновскую «увлекла мысль о соединении художественного текста и реальности. Захотелось найти новый путь или обновить уже имеющийся. Например, благодаря киберпространству настолько интегрировать героя в жизнь, чтобы его история стала реальностью многих людей, а они – персонажами его истории <...> нужно было, чтобы текст зарождался вокруг персонажа сам – из его коммуникаций с реальными людьми, из высказываний и домыслов о нём, озвученных и витающих в воздухе, из событий, которые продолжали бы разворачиваться в жизни вокруг него даже без его участия. Это обнажило бы суть коммуникации в современном мире, где от людей требуется «подтвердить реальность личности», «доказать, что вы не робот», что со временем во всех смыслах становится сложнее».

Петр Разумов надеется выразить «предельно объективированный контекст, эмоция как бы требует простоты выражения и стремится прочь от всякой литературности»; он жалуется на избыток культуры в стихах, препятствующий выражению эмоций, бежит «замшелых литературных или даже песенных схем, которые почти ничего не выражают». Рикардо Пеньяроль сетует, что его «текст остался абсолютно бестелесным набором заведомо нечитаемых символов». Ти Хо! (p-p.) муштатов видит себя не творцом, а наблюдателем рождения поэзии: «Текст «происходил», «я» пробовал не мешать ему! Так было. Если родился – славно. Жизнь там

(какая ни есть) теплится. Уже. Пусть!»). Станислава Могилева считает поэзию «предельно точным отражением происходящего внутри и снаружи, естественным стыкованием одного с другим, то, на что отозвалась реальность», тексты – «живыми, подвижными организмами».

Татьяна Бонч жалуется на не востребованность ее стихотворения о родах: «и стою в телесных жидкостях, на свету, без отклика. Наверно, недостаточное было откровение». Другое свое стихотворение она комментирует так: «это был 2014 год, было впечатление, что мир рвется, началась катастрофа и только любовь и стихи могут остановить ее. Теперь к катастрофе уже привыкли, уж что есть, то есть, совершаются какие-то иные действия. А тогда писались стихи, тогда же казавшиеся глупыми, вызывающими чувство неловкости, но казалось, что надо их писать».

Особенность экзистенциального реализма состоит в том, что в нем эстетическая неудача не менее реальна и действенна, чем удача; ошибка – тематическая, стилистическая, концептуальная и т. д. – обладает не меньшей жизнеобразующей, детерминирующей и структурирующей хаос силой, чем верное решение. Усвоение этой мысли оказывается возможным только в условиях различения знаковых рядов хорошего и плохого (в кавычках или без), «темным источником» (термин Жюлья Делеза) которых служит реальность поэтической коммуникации. Такая концепция предполагает, как свидетельствует данный сборник, обращение, на новом витке и на новых основаниях, к эстетике иерархических и оценочных суждений. Возвращение к ошибке как к точке бифуркации позволяет авторам и читателям создавать новые, потенциально бесчисленные альтернативные истории самих себя, пережить, по Лотману, «взрыв возможностей». И поскольку в основе бифуркации лежит подлинный выбор, смыслом и целью этого возвращения оказывается задача «подтвердить реальность личности», «доказать, что вы не робот». По всей видимости, в этом и состоит сверхзадача последнего номера «Двоеочия», выпуска лета 2017-го.

Александр Карабчиевский

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХВОРИ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

«Дед, незадолго до болезни бродя со мной по Переделкину, сказал: «Хорошо бы написать роман о судьбах здешних писателей под названием: «Разложение». Одних расстреливали или загоняли в гроб, других разлагали. Никто из нас не уцелел».

Из книги Лидии Чуковской «Записки об Анне Ахматовой» (том 2). «Дедом» Лидия Корнеевна называла своего отца Корнея Ивановича Чуковского.

– Где вы взяли этот журнал?! Бесплатно небось получили?! Сейчас же заплатите за него!

Вот такой истошный крик рвётся из груди моей всякий раз, как представлю себе читателя, пробегающего глазами по строкам «Артикля», да и на этот мой текст обратившего внимание. Пусть то будет бумажный экземпляр в руках, пусть – электронный на экране компьютера или смартфона, – неважно. Подозрение, что кто-то пользуется моим трудом, не заплатив за это, сосёт и гложет душу. Писать вообще трудно; сделать излагаемое интересным для читателя ещё труднее; подготовить книгу или журнал в приемлемой для публикации форме – тоже нелегко. А результат всех этих трудов может быть использован любым потребителем без всяких затрат и практически без усилий. Обидно... «Аж зла не хватает!» – как говорила покойная соседка.

Почему-то в уме застряла мысль, что литературный труд, пусть даже добровольный, без заказа, должен быть вознаграждён. Времена меняются. Представления о них меняются медленнее. Предубеждения не меняются вовсе. Было время, когда автор опубликованного романа, независимо от качества текста этого ро-

мана, получал солидный гонорар и мог с семьёй прожить на эту сумму годы. Правда, в те же времена автор романа, опубликованного за границей, мог годы провести в тюрьме. Зато в наши дни уголовный суд автору не грозит – создателя разоблачительной книги заинтересованные персоны просто убивают. Но если книга не разоблачительная?

Я ведь при советской власти жил. Я ещё помню, что такое внутренняя рецензия. Ну как же! В журнал присылали рукописи, журнал их, разумеется, не печатал, но на прочитанные рукописи составлялись отзывы, и за каждый такой отзыв рецензент получал небольшие деньги. Больше отзывов – больше денег. Автор не получал ничего, а читавший его рукопись – получал! Теперь околотературный труд обесценился. Теперь ничего не получают оба. В наши дни литераторам приходится искать другие, свежие финансовые источники. Как написала израильский автор Дина Рубина от лица своего персонажа, профессиональной редакторши, разговаривающей с Господом («Во вратах твоих»):

«– Дай заработать! – повторила я страстно, и мне уже было плевать – как я выгляжу: прозрачна я стояла пред Ним, как стеклышко, – со своей собачьей тоской, дешевыми просьбами и украденным чайником Всемирного еврейского конгресса. – Слышишь, дай заработать! Дай заработать, Господи!! Дай за-ра-бо-о-о-та-ать!!!»

Очень верно отражено побуждение. Из повести трудно узнать, дал ли всё-таки Господь персонажу впредь зарабатывать именно литературой. Наверное, сколько-то дал, иначе и повести бы не было.

По этому поводу вспомнилась мне такая история. В Израиле трудился я в одной из местных газет на русском языке; а в другой, конкурирующей газете работала журналистка, очень активно писавшая на всякие темы, от политики до культуры и рукоделия. И однажды в нашу газету пришло письмо-жалоба. Автор письма сообщал, что он наскоро написал роман, разумеется – из жизни недавних репатриантов, по знакомству разыскал телефон активной журналистки и позвонил ей, чтобы она роман прочитала, и, если возможно, дала какой-либо отзыв, желательно – положительный. А та ответила, что только за одно прочтение опуса она берёт с авторов четыреста шекелей (около двухсот долларов по тем време-

нам), а уж своего мнения не станет скрывать и за пятьсот, так что если роман ей не понравится – она без обиняков об этом автору и скажет. И вот бедолага-автор пожаловался конкурентам: разве можно так с писателем поступать? Но денег пожалел, и роман его до сих пор остаётся в неизвестности. Жалобное письмо тоже не опубликовали, и обиженный выставил его где-то в Интернете. А когда возник схожий случай уже в нашей газете: другой автор принёс повесть, сунул её мне, и я из-за ложно понятого служебного долга бесплатно потратил несколько часов, чтобы ознакомиться с текстом и письменно обосновать, почему он не будет напечатан, и в какие местные журналы его можно предложить при соответствующей правке, – старший коллега подошёл ко мне, постучал пальцем по компьютеру и гневно сказал: «Сбиваешь цену!»

Мощное развитие Интернета сбilo цены издателям и редакторам бумажных книг гораздо эффективнее меня, грешного. Теперь писатели, располагающие досугом, могут выставить результаты своих трудов на всеобщее обозрение или поругание безвозмездно, не прибегая к редактированию. Появились новые способы – не литературного заработка, нет – мечтаний о зарплате. Те, у кого есть средства, выпускают книги за собственный счёт и распространяют их даром или безуспешно пытаются продать. Один знакомый мне прозаик и драматург, прекрасно зарабатывающий в Израиле нелитературным трудом, позволил себе даже пригласить целый театр из страны исхода, поставивший его пьесу. Пьеса от этого лучше не стала, но поскольку вход был бесплатным, свистеть и шикать ни я, ни соседние со мною зрители не посмели. Те же, у кого средств нет... Да что о них говорить? Средств нет – сидят тихо.

Экономика серьёзно влияет на литературу. Эту взаимную зависимость можно заметить не только по тому, что встреченные знакомые писатели говорят в основном о своих экономических неурядицах, а о тенденциях литературного процесса или о книжных новинках не говорят вовсе. Это можно заметить также и на примере немногих вполне успешных, преуспевающих авторов, говорящих именно о книжных новинках и писательском мастерстве. Современная русская литература болеет. Конечно, болезнь не столь тяжела, как это было при советской власти, и не столь запущена. Но хвороба всё-таки очевидна. Наверное, панариций можно считать заболеванием легче сифилиса, и всё-таки даже

такой диагноз – не свидетельство здоровья. Литература страдает финансовой дистрофией, центростремительной показательной эйфорией и отгниванием жанров. Об этом, сами того не желая, рассказали мне два прекрасных человека и литературных деятеля: руководитель концерна «БСГ-Пресс» и издательства ОГИ (Объединённое Гуманитарное Издательство) Дмитрий Ицкович и главный редактор этого издательства Максим Амелин. Они приехали в Иерусалим на Международную книжную ярмарку и почему-то решили, что в Тель-Авиве им тоже надлежит выступить. Или организаторы поездки решили это за них.

Что ж, в Российском культурном центре всё прошло обычным порядком. Я ожидал, что слушателей соберётся больше – но увы! – пятнадцать человек в зале, двое на сцене. Один из них – поэт, лауреат нескольких престижных конкурсов, другой – организатор различных литературных инициатив и культурологических проектов. И привезли они в Тель-Авив две книги, на каждой из которых было написано одно и то же слово «Поэзия». Одна – обычного книжного формата, но весьма толстая, другая – фолиант, и ещё толще. Казалось бы – прекрасно? Верно, и для меня всё выглядело прекрасным, пока не рассказали историю создания этих книг.

Фолиант полностью называется «Современная литература народов России. Поэзия», и состоит он из стихотворений 229 авторов 57 национальностей – сперва напечатанных на родном для автора языке, затем – в переводе на русский. «Всего над книгой работали около восьмисот специалистов», – с гордостью сообщил Дмитрий Ицкович. Тираж книги – полторы тысячи экземпляров. Книга выпущена благодаря гранту Комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения, в рамках госпрограммы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации 2016–2017 годов. В этой книге нет идиша, хотя Биробиджан ещё числится Еврейской автономной областью. Зато есть предисловие Владимира Путина, от имени которого говорится: «...Сегодня в России немало талантливых авторов, пишущих на своих родных языках. Важно, чтобы их поэтические строки были услышаны, нашли свой путь к сердцам людей. Уверен, что «Антология поэзии народов России», в которой содержатся как оригинальные тексты современных российских поэтов, так и их переводы на русский язык, внесет значимый вклад в сохранение и развитие национальных литератур России, будет ин-

тересна самому широкому кругу читателей». Интересно, автор предисловия сам о талантливости прочих авторов догадался, или подпisał то, что положили ему на стол?..

Но призадумался я о другом: восемьсот работников, «самый широкий круг читателей» – и полторы тысячи экземпляров? На «Озоне» такая книжка – 3259 рублей, в интернет-магазине «Армада» – 4331 рубль, в «Лабиринте» – 3248 рублей. То есть как минимум 56 долларов штука. Дороговато кажется по российским ценам. При этом, даже если мгновенно продать весь тираж, – не хватит, чтобы окупить расходы на печать и сунуть хотя бы крохотное по московским меркам вознаграждение десятерым участникам проекта. А тут – более восьмисот специалистов, и никто не ушёл обиженным. И весь тираж никак не распродан – интернет-магазины показывают его устойчивое наличие на складе. Если бы составители действительно хотели, чтобы слово местных поэтов дошло до своих читателей, то и выпустили бы 57 – или больше – книжек на пятидесяти семи языках в пятидесяти семи провинциальных городах России. А если бы не смогли это сделать сами (потому что владеют они только общим русским), то передали бы средства тем, кто призван, может и должен это делать – местным издательствам. Но удастся ли тогда обеспечить заработком московских переводчиков, редакторов, издателей? Главное же: можно ли будет наглядно доказать, что в наше время российская литература переживает очередной расцвет? Да и как это язык у меня поворачивается и клавиатура не загорается при словах «передали бы средства»?!

Трое работавших в Москве бизнесменов, не сговариваясь, в один голос рассказывали мне, что экономика России в наши дни действует по системе РОЗ. И вовсе не от названия цветка это красивое слово происходит, а составлено оно по первым буквам слов «распил, откат, занос». Для совсем отвыкших от современных реалий проясню: выделенные бюджетные средства следует «распилить» в свою пользу, «откатить» положенную их часть тому чиновнику, который их выделил, и строго конфиденциально занести ему в конвертике. Извините за подробность, если вы знали всё это и без меня. При советской власти (может, помнит ещё кто-нибудь) все российские издательства, типографии, журналы и газеты были государственными – или подпольными. И тем, и другим было

наплевать на экономическую составляющую литературной работы. От государственных требовалась политическая правоверность, от подпольных – полная безвестность. Нарушителей наказывали. Потом обстановка довольно резко изменилась. Прошли «лихие девяностые», прошли «нулевые», которые называют по-разному: и «стабильные нулевые», и «промытые», и «нефтяные», и даже «путинские». Теперь идут «десятые», окончательно называть их ещё рано, но ситуация в русскоязычной экономике явно продвигается от «прихватазации» к огосударствлению. В ту же сторону медленно подталкивается и литературный процесс.

Так горестно размышлял я примерно в течение часа, пока московские гости хвалили своё издание, – и в самом деле трудоёмкое, красочное и успешное. Потом они вкратце рассказали об известной им литературной жизни Москвы. «Критика умерла, – сказал поэт Максим Амелин. – Современной серьёзной литературной критики больше нет». Её не видно ни в «толстых» журналах, ни в издательствах. Есть информация о книгах, которую заказывают, чтобы книги продавались. А серьёзную критику никто не заказывает и не оплачивает. Так что с жанром пока придётся проститься. Тут я поверил сразу и безоговорочно. Удивился лишь: почему, если уж литературную критику хочется видеть представленной на журнальных или книжных страницах, для неё не выделяют дотации, и критические статьи не вознаграждают столь же щедро, как прочие грантоёмкие жанры? Впрочем, ответить на такие вопросы легко может всякий читатель, а прояснить истину способен только чиновник, специально на то уполномоченный. Конечно, я лелею тайную, но стойкую уверенность, что есть неизвестные пока авторы, пишущие ныне серьёзные аналитические статьи о современной литературе, эссе, обзоры и даже трактаты – есть они на русскоязычном пространстве, – не могут не быть, не оскудела талантами земля! Но боюсь, что им, как и мне, обидно трудиться безвозмездно, и потому не оканчивают они своих статей, не доводят до логического завершения цепочки мыслей, не оттачивают стиль умелыми правками, огорчаются от социальной невостребованности, прекращают поиск единомышленников. «И так сойдёт», – приходит им обманчиво приятная, но страшная мысль, погубившая многих талантливых писателей задолго до выхода их трудов к читателю.

Как раз для талантов, нуждающихся в развитии, и выпущена в Москве ещё одна «Поэзия» – учебник, написанный группой сравнительно молодых кандидатов филологических наук под руководством доктора этих же наук. В руках издателя подробно рассмотреть книгу не удалось, но выяснилось, что в Интернете есть посвящённый ей специальный сайт: <http://www.poesia.ru>. И если содержимое книги «Современная литература народов России. Поэзия» в Интернете отыскать пока невозможно, сколь бы ни было оно желанно российским читателям, пишущим не по-русски, то избранные главы восьмисотстраничного учебника «Поэзии» – в свободном доступе. Для меня как любителя поэзии было огорчительно, что это понятие трактуется в учебнике в самом узком смысле: то есть поэзия суть только стихи. Но и это бы не беда, а вот то, что авторы учебника выдают свою точку зрения за универсальную, пытаюсь упростить сложнейшие понятия, относительно которых даже у профессионалов нет согласия, удручило меня гораздо больше. «Непонимание поэтического текста продуктивно», – полагают авторы «Поэзии». Так вот какова подлинная продуктивность литературы! Разумеется, по одной цитате судить о всей книге нельзя, но сайт-то существует, иногда пополняется – и благодаря Интернету всякий любознательный читатель сам может ознакомиться с результатами труда остепенённых литературоведов.

Но Интернету доверять следует с осторожностью. К примеру, на российском сайте «Год литературы» (<https://godliterature.ru/events/rossiya-predstavila-v-izraile-bolee-500-k>) вскоре после Иерусалимской книжной ярмарки появился краткий отчёт о проходившем в Российском Культурном Центре собрании. И если бы я на этом событии не побывал, если бы своими глазами не видел там руководителей Союза русскоязычных писателей Израиля, не слышал бы их реплик и вопросов, обращённых к выступавшим, то решил бы, что я по ошибке забрёл в какое-то другое место. Их всех не заметили в упор! Молчавшие представлены говорившими, а говоривших и в помине не было. *O tempora, o mores.*

Впрочем, вектор суммарного движения литературного процесса не зависит от конкретных, отдельных персон, выступают они или молчат. Отслеживая процесс, я заглянул в статистические данные. Только за прошлый, 2016 год, по сведениям Российской книжной палаты, выпущено 117076 (сто семнадцать тысяч семьдесят

шесть) наименований книг общим тиражом 446 миллионов 274 тысячи экземпляров. Это не включая 19,7 тысяч брошюр. Причём число наименований постоянно растёт: два года назад их было 94 тысячи, год назад – 97 тысяч. Из нынешних ста семнадцати тысяч – 99411 (девяносто девять тысяч четыреста одиннадцать) новинок, то есть авторов и наименований книг, не публиковавшихся прежде. Совокупный тираж российских книжных новинок составил в минувшем году 288 миллионов 268 тысяч экземпляров. Израильские книги на русском языке, как и другие заграничные для России издания в этот счёт не включены, но доля их сравнительно незначительна. Почувствуйте себя автором и попробуйте-ка не затеряться в этом бумажном море. И при таком обилии книг некоторые жанры упорно вымирают, а литературная деятельность на русском вновь концентрируется в Москве.

Какой же тираж у книги, размещённой в Интернете? На торговых площадках ещё можно его подсчитать: там, как правило, доступен только ознакомительный фрагмент, и удаётся установить, сколько читателей заплатило, чтобы скачать к себе в компьютер книгу целиком. А уж в бесплатных библиотеках и на частных сайтах – дело швах, посчитать невозможно, так что тираж книги можно полагать условно равным количеству виртуальных посетителей. Интернет породил не просто новый способ распространения книг, но и новые схемы литературного дохода, о котором тоскуем и я, и персонаж повести Дины Рубиной, и многие издатели. Преуспевающий литературный менеджер Дмитрий Ицкович на встрече с израильской публикой старался в экономические проблемы не вдаваться, но в Интернете раскрылся. И вот что он заявил:

«У творческого акта есть одна удивительная особенность, которую можно рассматривать как энергию для многих общественных процессов. Она состоит в том, что создающий заинтересован в своем продукте больше, чем потребляющий. В студенческие годы я писал курсовую работу про сплетню. Так вот, сплетник гораздо больше заинтересован в том, чтобы его услышали, чем те, кто слышат его высказывание. Потому что информация, которую он доносит, может быть нулевая. Я тогда не понимал, как работать с информацией, у которой вообще нет никакого выражения.

Исходя из этого обстоятельства, могут быть построены совершенно другие экономические модели, потому что люди готовы пла-

тить деньги не только за потребление, но и за собственную дистрибуцию. И если Интернет – это большой социальный переход, такой же, как книгопечатание, или изобретение письменности когда-то, или вообще появление языка как континуума, то надо попробовать определить: в чем собственно этот переход? Может быть, он именно в глобальной публикации индивидуальной информации, а не в доступе к потребительским рынкам? Выставление себя, своего индивидуального профиля, своего личного творческого акта на эти рынки. Это действительно приведет и уже приводит к очень большим социальным изменениям, к новым типам аскезы». (Цитирую по <http://www.polit.ru/article/2013/02/10/fam/>).

Неужели мы дождемся такого времени, когда автор вроде меня будет вынужден обратиться к читателю со словами: «Умоляю, почитай мои заметки, голубчик. Я так старался. Мечтал, что тебя заинтересую. Ну хочешь – я тебе заплачу?»

Что ж, кто платит, тот и музыку заказывает. Эта жестокая, но справедливая ресторанный истина учитывает труды, но не учитывает качества той музыки, которую способен исполнить наёмный лабук. Если российская литература страдает финансовой дистрофией, то израильская русскоязычная уже находится в стадии финансовой кахексии. И тем не менее нынешние болезни отрасли не смертельны. Осознать и прочувствовать это помог мне отысканный в Интернете очерк Елены Толстой «Под сенью дедушек в цвету», посвящённый проходившему на рубеже 2000-х годов в Израиле, в Рамат-Эфале, семинару «Геополитика культуры и литературный быт».

(Цитирую по: <http://gendelev.org/kontekst/158-elena-tolstaya-pod-senyu-dedushek-v-tsvetu.html>). Эх, бывали же времена, когда в Израиле собирались русскоязычные литературные семинары!

«Лучше всего закончить словами Александра Воронеля, редактора журнала “Двадцать два”: “Мы поняли, что только взаимная поддержка может помочь общему делу. Мы начинали, когда не было и надежды на общение с Россией. Мы отказались от веры в “центр”. Если считать Москву центром, обязательно окажешься в провинции. Мы действовали, как если бы центр был здесь. Поэтому нас читали”».

Только взаимная поддержка... Читают нас или нет – но центр здесь. По крайней мере, в это следует верить.

Андрей Зоилов

«АРТИКЛЬ» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Некоторые события и явления оказываются важными и полезными не сами по себе, а в качестве индикатора, знака будущих событий. Так, к примеру, в средней полосе России прилёт грачей или голые ножки старшекласниц на улице обозначали приход весны. Бывают индикаторы, которые нелегко распознать, хотя и желательны. Например, в израильском кибуце, разводящем коров, мне рассказывали о решении необычной ветеринарной задачи: как отличить в большом стаде несколько коров, переживающих период овуляции, то есть таких, которых пора осеменить. Проводить эту процедуру всем коровам подряд – дорого, да и технически очень сложно. Ветеринары выяснили, что пасущаяся корова в период овуляции ходит по лугу больше, чем не готовая к осеменению; причём заметно больше – примерно на треть. А число сделанных за день коровой шагов измеряется тысячами. К шеям пасущихся коров прикрепили обыкновенные недорогие шагомеры – и сразу стало гораздо проще в конце дня выбрать нужных. И приплод вырос, да не на треть, а вдвое.

В сфере культуры, в литературной деятельности тоже есть свои индикаторы. Один из них, замеченный специалистами – появление в типографской версии израильского сетевого журнала «Артикль». Повсеместное распространение Интернета, компьютеров и смартфонов обеспечило художественные тексты новыми, виртуальными носителями и неслыханными ранее возможностями распространения. Если Иоганн Гутенберг и Иван Фёдоров закладывали основы книгопечатания, то нынешние Биллы Гейтсы и Стивы Джобсы заботятся о том, чтобы у литературы отпала нужда в бумаге. Интернет истребляет понятие о тираже книги или жур-

нала, заменяя его подсчётом «хитов и хостов». Электронные книги успешно состязаются в популярности с бумажными. В этих условиях переход привычного старшему поколению толстого литературного журнала из типографской версии в электронную удивления не вызывает. Но действие обратное, появление наряду с интернет-версией бумажного тиража и возможностей подписки свидетельствует о серьёзности издательских намерений. А значит – редакция заметила ту читающую аудиторию, на которую рассчитан журнал; эта аудитория реально существует, ходит по лугу и готова к осеменению – то бишь к подписке, регулярному чтению и сотрудничеству с обновлённым изданием. Обо всём этом мы побеседовали с главным редактором журнала «Артикль» Яковом Шехтером.

– *Быть главным редактором «бумажного» литературного журнала – высокая ответственность, немалая честь и постоянная головная боль. Зачем вам новые хлопоты? Что побудило вас к этому подвигу?*

– Однажды спросили старого раввина: «Ребе, а зачем нужно делать обрезание?» Раввин подумал и ответил: «Во-первых, это красиво...» Так же и с литературным журналом. А во-вторых, мне это интересно. Работа со словом, с новыми произведениями, с авторами. Что же касается чести, ответственности и особенно головной боли, – тут необходимы подробности. Много лет назад многоопытный литературный деятель Анатолий Алексин предупредил меня: «Запомни, Яша, для пишущего человека удача собрата – большое личное горе». Примерно такая же ситуация и с литературным журналом; неважно, сетевой он или бумажный. За бортом каждого номера остаётся куда больше авторов, чем в него попадает. Не попавшие оскорблены в лучших чувствах и обижены на всю оставшуюся жизнь. Обижены и многие попавшие. После выхода номера на меня обрушивается шквал писем. Там пропустили запятую, тут не выделено название, там строчки сбились: у автора они выстроены бабочкой, что придаёт ещё одно измерение его стиху о мимолетности мира, а в журнале это пропало. Как же так?! За каждым номером литературного журнала тянется, словно хвост кометы, шлейф обид, претензий, возмущённых писем. И это лишь то, что становится известным редколлегии. Думаю, что количество смачно сложенных кукишей,

проклятий и бранных слов, произнесенных в наш адрес, куда больше.

– Есть ли у руководимого вами журнала концепция? Какие идеи собирается посеять новый журнал в читательские умы и сердца?

– Есть концепция, и есть споры вокруг концепции. До недавнего времени я делал этот журнал практически в одиночку. Переход на типографские рельсы требует иного подхода, поэтому мои друзья и единомышленники вошли в редколлегию и впряглись в лямку. Журнал «Артикль» обращён к различным плоскостям встречи между еврейскими литературными, философскими и религиозными традициями с одной стороны, и существованием человека в современном мире во всём его разнообразии, изменчивости и противоречивости – с другой. В текстах журнала разные литературные области, традиции и измерения вступают в диалог, противопоставляются друг другу и высвечивают друг друга. Именно поэтому образы еврейской мистики встречаются в журнале с радикальными поэтическими экспериментами, иронично-отстранённая критическая проза – с исповедальной, обострённое внимание к израильским реалиям – с философским универсализмом, а рефлексия человеческой души находит своё выражение в обращении и к Талмуду, и к современной аналитической философии. Концепция, милая моему сердцу, сформулирована членом редколлегии профессором литературы Денисом Соболевым, но она не всем пришлась по вкусу. Сейчас мы спорим, обсуждаем, думаем.

– Значит, «еврейские традиции с одной стороны, и существование человека – с другой»... Журнал будет придерживаться обеих заявленных сторон или позволит себе другие ориентиры? К примеру, если в потоке «самотёка» поступят одновременно менее талантливо, на ваш взгляд, написанная повесть о евреях, и более талантливая повесть, в которой о евреях ни мысли, ни слова – какую вы предпочтёте?

– Мне кажется, что хорошая литература не связана с национальными особенностями её героев. Национальные особенности только украшают текст. Даже самые специфические. Все зависит от того, как их рассказать. Например, мы не будем публиковать тексты про современный Израиль, в которых подробно описываются взрывы в автобусах: как что куда полетело, где повисли

куски кожи, сорванной с лица. Хотя параллельное нам издание охотно размещает такого рода тексты, именуя их автора выдающимся прозаиком. Ни плясок на крови, ни текстов с откровенной сексуальностью у нас нет, и не будет. Основной критерий, которого мы придерживаемся – художественная ценность произведения. Отбор авторов – вот что делает одно издание не похожим на другое. Литературный вкус редакторов определяет высоту планки. Взгляните на состав нашей редколлегии. Вот и всё! И этого достаточно.

– Вам, преуспевающему писателю, охота возиться с чужими рукописями?

– Определение «преуспевающий писатель» пробуждает во мне дрожь досады и недоумения. Наверное, я что-то упустил... Формально: в московском издательстве уже на выходе моя восемнадцатая книжка, девятнадцатую вычитывает редактор того же издательства, а в Одессе вышел в свет трёхтомник романа про Кумран и ессеев. Но всё это – лишь внешняя сторона, вовсе не означающая, что я куда-то успел. Когда редактор присылает поправки текста, который ещё вчера казался мне безупречным, и я начинаю видеть смысловые провалы, зубодробильные длинноты, неточные определения, сопливые эпитеты и стилистические заморочки, мне становится мучительно стыдно и больно за каждую написанную страницу. А ещё стыднее бывает, когда, читая Бунина, Набокова или Паустовского, вдруг осознаешь, что ни разу и ни при каких обстоятельствах не сможешь написать даже абзаца на том же уровне. И от этого хочется вытереть все файлы, выкинуть к чертовой матери компьютер и переквалифицироваться в бармены. Вот тогда у меня, наконец, появятся деньги, и начнётся интересная жизнь преуспевающего человека, осиянного благосклонностью красивых женщин. А пока этого не случилось, остаётся тащить свой воз, наполненный привычными хлопотами. Собирать материалы, отбирать подходящие, компоновать номер, возиться с его изданием, а потом пропускать мимо ушей бесчисленные язвительные замечания и лелеять скудные слова благодарности. И всё потому и только потому, что охота – пуще неволи.

При всём интересе, распространённости и бесплатности сети, существующие только в ней издания принадлежат к книжному зеркалью. Это параллельные литературные миры: бумажный и

виртуальный. Они не только не отражают друг друга, но почти не пересекаются и мало влияют один на другого. Да, с годами это отчуждение уменьшается, процесс эрозии набирает темпы, но всё равно сегодня уважением пользуются только те журналы и книги, которые изданы на бумаге. Возможно, проблема в поколениях, привыкших держать в руках книгу, вдыхать запах типографской краски, клея и бумаги. Возможно, виноваты авторы, страстно желающие дарить свои книги и подписывать экземпляры. При всех несомненных достоинствах сетевых книг солидность изданию придаёт только бумажный вариант. «Артикль» в сетевом виде достиг неплохих успехов, хорошего распространения и приличной известности. В интервью радио «Эхо Москвы» Дмитрий Быков назвал его лучшим журналом Израиля. Но следующий шаг, который необходимо сделать, чтобы перейти в разряд солидных «толстяков», — увы, возвращение к бумажному варианту.

– *Предусмотрены ли в «Артикле» гонорары авторам и зарплаты сотрудникам? Принимает ли журнал коммерческую рекламу? Готовы ли вы в интересах журнала выделить какое-либо место для оплаченных авторами публикаций?*

– Я большой сторонник гонораров. Пусть мизерных, пусть почти символических, но гонораров. Автор не должен ощущать себя графоманом, которого печатают из милости. Как только у нас появятся средства, мы обязательно будем платить. И авторам, и сотрудникам. Пока вся работа в журнале осуществляется исключительно в охотку. Мы надеемся, что количество подписчиков будет постоянно расти, и это даст возможность держать голову над водой. На каком-то этапе журнал станет не только самокупаемым, но и начнёт приносить прибыль, — и тогда мы вернёмся к разговору о гонорарах. Рекламу мы принимаем, но, разумеется, не любую. Только из тех областей, что простираются вокруг писательского стола и клавиатуры компьютера. А про оплаченные авторами публикации мне вспомнилась история, которую мне когда-то рассказала Люда Неизвестная, сестра знаменитого скульптора.

«Брата пригласили в мастерскую Томина, лепить сапоги для памятника какому-то вождю или генералу. Обещали хорошо заплатить. Эрнст отказался.

– Эрик, — спросила его наша мама, — ну почему бы тебе не за-

работать денег, а после несколько месяцев заниматься своим творчеством?

– Мама, – ответил Эрик, – это то же самое, что сказать Людке: выйди, доченька, один вечер на панель, заработай денег, а со следующего утра снова стань честной девушкой».

– *Удовлетворяет ли вас художественный уровень поступающих в журнал рукописей? Кого из маститых, известных в Израиле писателей вы рассчитываете привлечь к сотрудничеству?*

– Искусство – товар штучный. В нём не существует массовых тенденций, каждая присылаемая рукопись – это нечто отдельное, особенное. Увы, уровень большинства получаемых материалов невысок. Виню я в этом повальную компьютеризацию и лично Билла Гейтса. Созданный им текстовый редактор «Ворд» очень путает начинающих авторов. «Ворд» позволяет быстро превратить мысли в текст, причесать его, отформатировать и придать ему на экране вид книги. Автору начинает казаться, будто цель достигнута. Он быстренько прицепляет файл к электронному письму и запуливает его в редакции журналов. Сегодня процесс творения приобрел явные черты скоропостижности. Это раньше надо было окунать гусиное перо в чернильницу, выводить каждую букву, присыпать её песком. Думать над словом, предложением, абзацем, зная, что исправить непросто. А сколько сил приходилось потратить на переписывание текста от руки? Потом запечатать в конверт, пойти на почту, отправить – и каждый день проверять почтовый ящик, пришёл ли ответ... Сегодня автор уже через неделю начинает бомбардировать редакции запросами: вы уже прочли присланные мною рассказы (повести, романы, пьесы)? В каком номере они будут опубликованы? Из-за этих ковровых бомбардировок в журналах сложилась практика вообще не отвечать авторам. В переписку вступают лишь с теми, чьи произведения приняты для публикации, остальным достаётся презрительное молчание. Но мы отвечаем. Каждый, приславший нам письмо, получает или уведомление о том, что его произведение принято, или отказ. Разумеется, без оценок и рецензий. Просто – да или нет. Нет ничего оскорбительнее для пишущего человека, чем многомесячное ожидание ответа из редакции. Я бы посоветовал начинающим авторам отложить в сторону компьютер и перейти на

бумагу. Лёгкость компьютерных редакторов – верный путь к болоту графомании.

С нашим журналом сотрудничают маститые писатели Израиля: Дина Рубина, Марта Кетро, Давид Маркиш, Игорь Губерман, Александр Иличевский, Феликс Чечик, Михаил Сипер. Зарубежье представляют Вероника Долина, Катя Капович, Апполинария Аврутина, Александр Городницкий, Глеб Шульпяков, Алексей Славовский, Борис Евсеев, Александр Генис, Афанасий Мамедов, Борис Херсонский, Максим Кронгауз. Всех перечислить невозможно, так что тех, кого не упомянул, прошу не обижаться.

– Основная масса читающих по-русски потребителей литературных журналов находится, увы, не в Израиле, а в СНГ, преимущественно – в России. Намерены ли вы распространять журнал там? И не помешает ли существование сетевого издания продажам издания типографского?

– Я не рассчитываю, что мужик в Пензенской или Вологодской области понесёт с базара домой журнал «Артикль». Мы обращаемся не к миллионам русскоязычных людей, а к нескольким сотням тысяч человек, сидящих перед экранами компьютеров. Мир сегодня ужался до размеров смартфона. Этим сотням тысяч людей совершенно всё равно, где физически находится редколлегия «Артикля». Чтобы увидеть наши тексты, достаточно лишь пару раз ткнуть пальцем в клавишу или в экран. Тем же, кто по старинке любит, сидя в кресле, перелистывать лежащий на коленях толстый литературный журнал, мы предоставляем возможность подписаться на «Артикль». Стоит это немного, а деньги, потраченные на подписку, всегда окажутся меньше удовольствия, полученного от чтения нашего журнала.

Уверенные ответы рулевого «Артикля» надёжно свидетельствуют о росте, но ещё не о расцвете. И пусть этот рост заметен пока только специалистам; он совпал с подъёмом новой волны алии, которую некоторые журналисты уже прозвали «путинской» и «сырной», – по аналогии с «колбасной» в девяностых. Закалённые кризисами в России и Украине репатрианты, попадая в тепличные условия Израиля, раскрывают свои многочисленные таланты, в том числе и литературные. А значит, и расцвета ожидать не долго. Об этом рассказала Ирина Маулер, заведующая

отделом поэзии журнала – самым вдохновенным и цветистым отделом, быстрее всех откликающимся на литературное новаторство.

– Вы заведуете отделом поэзии, но что же такое, по-вашему, есть поэзия? Каким образом вы отличаете истинную поэзию от суррогатов и имитаций?

– Поэзия – дело тонкое, эмоциональное, неопределённое, в руки не дающееся. Её нельзя потрогать, понюхать, попробовать на зуб; на неё нельзя посмотреть. Но её можно почувствовать. Если она есть: слова трогают душу, заставляют задуматься, впечатляют своей необычностью, красотой образа, нестандартностью видения. Хорошая поэзия раздвигает границы обыденности, это «счастье слышать то, что не слышно». Конечно, о вкусах не спорят, но, на мой взгляд, настоящая поэзия бесспорна.

– До сих пор вы возглавляли отдел поэзии сетевого журнала, теперь он обрёл бумажную версию. Не опасаетесь ли атаки графоманов, желающих разместить свои стихи именно на тех страницах, за качество которых вы отвечаете?

– На обложке нашего бумажного журнала – современное здание тель-авивского комплекса «Азриэли», которое как бы даёт понять читателю, что времена наступили стремительные, многоуровневые, захватывающие. Такими мы видим наших нынешних авторов и хотели бы видеть будущих. Если начинать какое-то предприятие с опасений, то не стоит и начинать. Всегда найдутся отговорки: не получится, не хватит времени, что скажут, что подумают... И таким вопросам нет конца – при желании ничего не делать. А если интересно, увлекает, важно, – то и вопросов не возникает; делаешь – и всё. Как гласит рыцарский девиз: «Делай, что должно, и будь, что будет». Так и на мой вкус – лучше делать, что можешь, чем сидеть, сложа руки.

– Замечаете ли вы некоторое снижение читательского интереса к стихотворным текстам в наши дни? Как вы предполагаете, чем можно стимулировать, повысить интерес и внимание общества к современной поэзии?

– Думаю, что это вы так мягко говорите о снижении интереса к поэзии в наши дни, чтобы не обидеть. Можно сказать и прямо: а кому вообще нужна поэзия в наше-то время всеобщего потребления материальных благ?! Вот посмотрите, что строят чаще всего?

Каньоны. А что там можно делать? Поэтические книги читать в кафе? Приходит человек после работы домой, – там дети, стирка, уборка, телевизор; или, может быть, – покупки, спортивный зал, бассейн, опять телевизор. Так вот, в этом конечном пункте дня нужно больше интеллектуальных, поэтических, образовательных программ вместо детективов, криминала, мыльных опер. Я имею в виду основные каналы. И в школах бы не помешало прививать вкус к хорошей поэзии. Может быть, выделять на это дополнительные часы, а может – построить по-другому учебную программу... Редакторы нашего журнала Яков Шехтер и Михаил Юдсон делают реальное дело для этого повышения интереса к современной литературе и, в частности, к поэзии. Они работают над журналом, можно сказать, не покладая рук. Результаты налицо: их можно видеть на презентациях журнала, где у наших читателей появилась возможность «вживую» пообщаться с талантливыми авторами, услышать стихи, прозу, авторскую, – вернее поэтическую, – песню. Там можно и подписаться на наш журнал, чтобы получать его, как в добрые старые времена, прямо домой. Разве не приятно: чашечка утреннего кофе и журнал «Артикль» – к завтраку. Впрочем, не надо себе отказывать в хорошем: читать его полезно также в обед и в ужин. Ведь красивое, точное, умное слово для души столь же необходимо, как полезная еда и спорт для тела. Нужно просто об этом не забывать.

– Не мешает ли вашему собственному творчеству ответственная должность, требующая и времени, и внимания, и хлопот?

– Скажу честно: много чего мешает моему творчеству, а особенно – нехватка качественного утреннего времени. Что делать: литература сегодня не кормит. Прошли те волшебные времена, когда члены Союза писателей СССР имели возможность жить литературным трудом, и жить неплохо. Но, как написал Александр Кушнер: «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Да, многое мешает мне... Но чтение чужих текстов – это же интересно! Читаешь неизвестного тебе автора и пытаешься понять его настроение, умение, желания. И ждёшь необычных, вдохновенных строк, которые сами за себя все скажут.

– Чего, по вашему мнению, не хватает журналу, чтобы стать ещё лучше, ещё популярнее?

– Думаю, что журналу хватает всего. У нас печатаются рассказы известнейших писателей Дины Рубиной и Давида Маркиша, знаменитые “гарики” Игоря Губермана, проза Якова Шехтера и Анны Файн, поэзия Андрея Грицмана, Бориса Херсонского, Александра Елина, произведения талантливых публицистов Давида Шехтера, Эдуарда Бормашенко, Михаила Сидорова. Ну просто, как говорит Миша Юдсон, «праздник любви дорогой». Бери да читай себе в удовольствие. А популярность сегодня делает реклама. А для рекламы нужны деньги. Так что отвечу просто, без затей: чтобы наш журнал стал ещё популярнее, нужны спонсоры. И как можно больше. Эх, где вы, меценаты? Третьяковы, Мамонтовы, Морозовы – откликнитесь!

Михаил Юдсон

УНЕСЕННАЯ

(Дина Рубина, «Бабий ветер» – Москва, изд. «Э», 2017 г., ISBN 978-5-699-96406-2)

Давно уже сказано почти про текущие нынешние тексты: ни холодно, ни горячо, и читатель исплевывает их из уст своих. А эта книга обжигает, будто на морозе, кружит застоявшуюся голову, затягивает нас в свой воздушный водоворот.

Дина Рубина прямо с обложки откровенна: «Эта повесть, в которой нет ни одного матерного слова, должна бы выйти под грифом и цифрами 18+, а лучше 40+... – ибо все в ней настолько обнажено и незащитно, цинично и пронзительно интимно, что во многих сценах краска стыда заливает лицо и плещется в сердце – растерянное человеческое сердце, во все времена отважно и упрямо мечтающее только об одном: о любви...»

Мастерски-единая фраза Дины Рубиной, фраза-содержание – а из нее, расширяясь, наполняясь горячим воздухом, как шар аэростата, начинает вырастать текст.

Книжная героиня, от лица которой ведется повествование – бывшая парашютистка и водительница воздушных шаров, киевская еврейка-журналистка-красавица Галина. Пережив гибель мужа и потерю нерожденной дочери, она с помертвевшей душой скитается по Канаде, а потом оседает в Нью-Йорке, где и трудится косметологом. Пашет-мается, но ничего не забывается, не отпускает – ни прошлая жизнь, ни тошная сегодняшняя. И тогда Галина пишет письма, простые электронные – на всеобщую деревню, писателю Дине Рубиной...

Книга так и построена – письма-главы, вроде как переписка из двух углов, «треугольники» интернетные – лети с приветом! Причем тут главное, заветное слово-символ – лети. Потому что окру-

жающий нашу десантницу мир, невзирая на трение, предпочитает ползать. Множество персонажей движется перед нами, сходит со страниц – порой странных, диковинных, бумерангом «с приветом», однако точно подмечено в аннотации: «Из этой гирлянды, по выражению героини, «калек» вырастает гротесковый, трагический, ничтожный и высокий образ современной любви».

Прожитые годы и выпавшую судьбу наблюдает читатель – конечно, не целиком, не одним куском, а дольками радости, ломтиками боли, выжимками женской доли. Своеобразная сказка странствий – из счастливого детства на советской Киевской Руси уносит героиню бабий ветер к чудищам заморским, в нью-йоркское царствие трансвеститов, Забугорье-Загробье...

Бабий ветер, объясняется в книге – «это сухой приятный ветерок на Камчатке; на нем бабы сушат белье... И шары запускать можно под этот благостный нежный ветер, ласковый, трудолюбивый, истинно – бабий...» Очевидно, и веет он, и полощет – и в гриву, и в хвост! Помните ведь у Булгакова про ведьму-Маргариту: «Половая щетка, щетиной вверх, танцуя, влетела в спальню». О, как он угадал!.. Именно этим, скажем так, предметом и приходится Галине заниматься в своем косметологическом салоне – удалять щетину, сотворять бразильское бикини («ни волоска, ни колоска, ни спереди, ни сзади»), на худой конец, французское («оставляем две тонкие вертикальные полоски»), и прочее тому подобное табуированное...

В общем, имеется еще одна, теневая героиня данного издания – «чеканно-звонкое слово, знакомое каждому пятикласснику», да и сложенное из пяти букв. Не будем эффемиздить, а вспомним классиков: Пушкин называл ее «теплая домашняя шапка», а Набоков сие – «живые ножны». Встречается исключительно у женщин и оказывается, братцы, обрабатывается ваксом (клеякой массой, похожей на желтую смолу) – а что, поэтично, художественно даже! Почему-то сразу лезут в голову полотна разные с Евой в райском саду – больно гладкая она какая-то в своем фиговом листке – отваксаная, змеиное бикини?!

Пресловутый салон, в котором вкалывает героиня – этакое Чистилище, где заплывшее салом, вспотелое, оволосатевшее человечество приводится в божеский вид. Увы, для самой Галины этот тамбур уже никуда не ведет, тут не временный переходник, а на-

верняка – тупик. Сброшенная с небес на землю, с высот в низоту – падшая ангелица! – тяжкий путь от парашюта к параше, пусть и «мейкапно» разукрашенной.

Возвышенное прошлое постоянно врывается в загаженное настоящее, порывы бабьего ветра тревожат и раскачивают душу – и она мыкается по мукам. Как хочется вернуть «медленный полет в ледяном воздушном океане, торжественно прекрасный полет озаренного шара», в обнимку с любимым мужем Саньком, Сан-Петровичем – и что-то слышится родное, почти родственное Святому Петру, ключарю небесных врат...

Понятна и ущербность эмигрантских куц, припевом звучит из уст героини: «Тот еще рай!» Путешествие на ночи края, на круги своя... Не все помянут Вергилий: «А я готова подрядиться домо-рощенным Вергилием, дабы таскать по всем кругам здешнего рая» – по всем кругам, добавим, рвам и Злым Щелям. «Столько лобков, сколько видела я за последние лет пять, не видал ни один матерый порнофотограф, ни записной сексуальный маньяк, ни гинеколог, ни уролог, ни мойщик трупов в городском морге». Сильно сказано, горячо, на лобок не накинешь платок – монолог Галины!..

Может быть, даже найдутся простодушные читатели (читатель-самка, как определял Кортасар), кои решат, что это действительно «письма издалека», что героиня лично их страницами строчит, а автору ни заботы, ни труда, знай возвышайся и тки витки, свитки судеб – все-тки с ветки свет видней! Собирай плоды письменности в кучку да облакай в обложку...

Но понятно и естественно, текст автором выстрадан и выстроен – отточенно написан, сюжетно отлажен, плюс символами напичкан. А что трудовых заусенцев не наблюдается, тяжкого дыханья – так это Дина Рубина, отпущен ей талант предивной прозы, как утверждал поэт.

У Рубиной слагается не сладко-драматическая история падшей женщины (завернуться мармеладом в драдедамовый платок и все заверте!..) – отнюдь, у ее героини Галины ровно наоборот: это окружающий мир пал, одурел, обезумел – развалились устои, раскололись заповеди, того и гляди грянет гневный гром, и хлынет серный дождь из божьих ушей, смывая весь этот миражный маникюр. Салон и Гоморра! Уж так сложилось – пазлание добра и зла...

При этом книга, по сути, очень добрая – да, мир грязен, забит людьми и полон микроорганизмами (только в вышине их нет – вымерзают, заразы, в небесном озоне), но и прекрасен: «виден склон, по которому осенью сбегает веселая – рыжая, багряная, темно-зеленая – накипь листвы и хвои, а за нею холодной сталью поблескивает океан».

Я склонен полагать, что для многих из нас, по аналогии с Галиной, небо слиплось с землей, небоземь-горизонт (гори, зонт!) давно не радужен, а хмуро-дождлив – ну так повесть Рубиной, как благая весть, дарит надежду. Если уж «женщины, перешагнувшие рубеж сексуальной активности – они не сдаются!», то и остальным варягам вполне нопасаран светит. Не буду отбивать мацу у спеццов по вере, но мы же приходим Сюда на ограниченное время – и надо ежедневно, ежечасно этому радоваться, жить «в отсеке дня сегодняшнего».

То-то с таким аппетитом, урча, читал я про «холодное – закусон номер один; несравненный оргиастический акт любви и счастья». Золотистый прозрачный бульон, бело-желтое яйцо и оранжевая морковь – «застывшая живопись», импрессионизм крепчал, ни дня без студня! А селедка под шубой («грандиозная фреска»), а прикнувшийся форшмак, а Паштет Печеночный с большой буквы, и как апофеоз – фаршированная и заливная рыба: «Цвет прозрачного рубина, который приобретает заливное, этот изысканный свет далеких снов забытого Востока – он-то и создает настоящий праздник».

Тут, в этом онтологическом пейзаже Рубина будто расписалась на уголке холста, а дальше снова передала кисть героине: «Готовила, готовлю и буду готовить даже в рай (или в аду, это уж куда отнесет меня на небесном парашюте)».

Здесь даже я, вечное книжное выючное животное, покорно бредущее по тексту за авторской морковкой – вдруг ощутил радость жизни, восторг воздуха, задрал голову к облакам – да, одна живем, но не корнеплодом единым! Меню обширное – выбирай на вкус...

Возникает при чтении наболевший вопрос к разумнице-искуснице Галине: «Почему, собственно, не вернулась домой, зачем приговорила себя к вечной отсидке на чужбине?» А не понимает она уже, по ее словам, где дом, где чужбина, где свои, а где чужие:

«Пошел полоскать меня «бабий ветер» по сусекам и углам...» Женское, сущностное – полоскать, поласкать, сидеть и ждать у океана погоды, как Леда лебедя, принца на коне блед...

Поменять судьбу, поиграв в города: Нью-Йорк, а теперь на «к», Киев? Но в сегодняшнюю реальность-вышиванку героине попадать-рядиться явно не хочется, зато былинный город из детства памятен и хорош: во-первых, чуден Днепр, да и Клуб Молкомбината номер два неплох, и родимая коммуналка прекрасна как сон – кухонные свары, летающие тарелки и сковородки, добрые люди и соседские жлобы – кипенье жизни, накрученные бигуди! Зачарованный чертог!..

Этот детально созданный, терпеливо выращенный, цветущий и стонущий (за едой и вообще), дивный и безумный авторский мир тянет полюбить, прикипеть душой. Неспроста все же на обложке торчит, нахохлясь, гриф «18+» – по Каббале и окрест, 18 – сакральное число, гематрия слова «жизнь» (как Тевье-молочник считал рубли: «два раза по восемнадцать и еще один»). Жизнь плюс! Другая, еще одна, дарованная даром автора...

Также на обложке – замечательная картина Бориса Карафелова: спящая красавица, полуобнаженная женщина в блаженном покое – пусть он ей только снится, и то благо... Известно, что бабий век короток, ну и «Бабий ветер» недлинен, три сотни страниц – летят-читаются на одном дыхании, равно и мужской половиной, и лучшею, как говорится, и махом и махою... Кстати, мата в тексте действительно нет, но эроса достаточно – поистине, из какого сора ноги растут...

Книга привычно для Рубиной гармонична и иронична, удачен и замысел свести вместе высокое и низкое, повенчать благородное и чумазое – словно внутри повести впридачу (для понимающих) великосветско-фрейдистский роман «Монгольфьер и Клоака».

Дочитал я про унесенную «бабыим ветром» Галину – и вздохнул с ней в унисон. Да, немало их, валь-галей, валькирий кириллицыных поулетело!.. Вот сижу в своем тель-авивском чулане, за окошком по улочке Рава Рва пыльные пальмы финиками шелестят – Господи, где я, куда занесло – эх, все мы унесенные! Тут – ветром палимые, там – водка паленая... Сколько ж русских людей разных национальностей разбросало по свету, кинуло на другие берега – окнами на океан или пустыню...

Слышал я не раз от доброхотов разных, мол, нет больше никакой эмиграции, не ной ковчежно, интернет все спишет, всех сблизит – да, по-моему, бред полный! Ежели с мясом отрываешься от земли, а дальше уже понесло по кочкам, как перекасти-поле – попробуй зацепись, врасти, укоренись... Сбрось балласт бывшего... Легко, глядь, сказать! Жаль ведь не березняка китчевого, а языка притчевого... Сказка о колобке и рыбке, баллада про горчичное зерно... «Ты напиши эту повесть, и пусть она будет ниже пояса и выше облаков – повесть о потерянных людях, которым нет места на земле». Так прочитайте эту книгу и пожалейте их, не пожалеете.

Яков Шехтер

«ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ КУМРАНСКОГО УЧИТЕЛЯ»

Роман в трех частях. Книга первая «Поцелуй Большого Змея».
Издательство «Время» Москва.

В руки писателя при экстраординарных обстоятельствах попадает старинный дневник. За дневником охотится некая тайная организация. Но остро-детективную интригу наших дней совершенно затмевают те события, что произошли, по всей видимости, два тысячелетия тому назад. Герой романа, автор дневника, юноша необычайных способностей, приходит в обитель кудесников, живущих в подземельях на берегу Мертвого моря. Похоже, что он - тот, кто впоследствии станет основателем одной из главных религий мира...

«Книга Якова Шехтера – это Гарри Поттер для взрослых».
Алексей Самойлов

СЛІХИ І СЛІРУЖЫ

Ирина Морозовская

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА, ГДЕ САЖАЛИ КРАСНУЮ...

о песнях Любви Захарченко

Не прошло и десяти лет, как получилось написать о Любе без гнева на то, что нет больше ни её песен, ни её самоё...

Остались печаль и боль и то пронзительное ощущение понимания, что когда человеку выдан дар пророчества – то он может и сжечь своего носителя.

Да и степень пророчества Любиных песен становится яснее и страшнее тоже, многие осуществились уже.

Известность и слава накрыли её вместе с Гран-При Первого Всесоюзного фестиваля авторской песни в Саратове. Единственного из трёх, на котором не было меня по мелкости совершенно младшенького моего. В эти дни держала за Любу кулачки – мы дружили.

Очень радовалась, узнав о Гран-При, а САД <http://irkathena.com/articles/depress-again/> мгновенно запели отовсюду. Послушайте – это ж таки не избылось поколением, с тех пор прошедшим...

Много-много лет спустя (при каждом приезде в Москву заглядывала в гости) Люба рассказывала вполне взрослому уже Феликсу, что он был первым младенцем, которого она увидела так близко – познакомились-то мы в его год рождения, 1984й. Утром Люба обнаружила рядом с собой крошечное существо (я спросонья положила сынишку на место, где заночевала гостя) и поначалу перепугалась. Но быстро освоилась, да и Фелька её полюбил и очень радовался встречам. Люба при знакомстве впечатлила необычайным – глубоким и хрипловатым голосом, песнями, бравшими за душу, и экзотической для меня профессией – была она юным помощником прокурора. Совсем юным. Но прокурора.

Конечно, отработав своё молодым специалистом, юриспруденцию она оставила. Размах её таланта – не только поэтического и

бардовского, а эмоционального – от самых глубоких взлётов и недр трагедии до карнавально-скоморошеского заразительного веселья – был таков, что не вмещалась ни в какие рамки. Жанра авторской песни, в том числе. И жизнь у неё складывалась не просто, Ростов она переросла, в Москве приживалась плохо, часто болела. Первый брак с красивым, умным и добрым мальчиком, чудесная дочь. Но тут накатила и закружила судьба – и случился второй брак по страсти, с милым, но часто выпивающим человеком. Младшие поздние дети. Маленькая тесная квартирка, кризис, прищемивший всех нас в доходах. Но при малых детях этим болеешь тяжелее и жизнь переносишь, сколько можно. А потом становится совсем нельзя...

Последняя встреча наша выдалась праздничной и безмятежной, у Любы случился концерт в Одессе, на даче у Игоря Лучинкина. Мы перешучивались, строили планы, благо зимой я собиралась в Москву. А потом случилось 21 января. И сейчас я вошла в архив Живого Журнала и вытаскала это:

10:08 am

и есть ещё время молиться о встрече на Том берегу.

Среди ночи затеяла петь в полный голос – и дети не спросили, не рехнулась ли, они тоже печалились.

Это я так выла – начала с “Харона”, конечно. Теперь мне молиться – о встрече с нею на том берегу...

А она – уже с папой и мамой, я надеюсь, она так по ним скучала в последние годы.

Плакать толком не могу, боль не желает уходить из-за грудины, только петь-хрипеть получается.

Полезла в журнал, а там, чуть не предпоследним постом – о нашей последней встрече:

<http://naoblake.livejournal.com/144939.html?mode=reply>

Виделись дважды – и на концерте том я сидела прямо перед Любой и работала тем самым зрителем, на которого посматриваешь между песнями.

Написала об этом буквально пару фраз.

<http://irkathena.livejournal.com/162436.html>

Сколько планов мы успели уже построить на будущее лето!

Хочется набрать номер – и заорать “Что ж ты творишь, не-

правильная ты женщина! Нельзя же так!" – и биться головой о что попало, кроме гитары, от понимания, что уже не написать и не позвонить.

Любаша...

Желающие узнать больше подробностей могут погуглить и послушать её интервью. А здесь – с чего всё для меня начиналось и что пою и пою, оно никогда не закончится.

До сих пор пою, когда утешить себя надобно, МЕЛЬНИЦА:

<https://www.youtube.com/watch?v=P9OokCKh41U>

И когда ВЕТЕР <https://www.youtube.com/watch?v=GcFeie8c3uA> дует и дует, унося из нашей жизни тепло и близких, этим продолжается, к сожалению, всё чаще и чаще, когда увозит кого-то из близких на своей ладье:

ХАРОН <https://www.youtube.com/watch?v=C4fStjo5wGQ>

Среди её песенок – много забавных, под весёлостью со смелостью скomorоха

МЕШАЛИ НАМ <https://www.youtube.com/watch?v=XeHwEdIPR1E>

Далеко не всё любимое Любашино нашла я в ютубе, формате, принятом в журнале. Хотя всё есть на дисках – записанных в черновиках, переписанных в подарок, даже не знаю – изданных ли начисто после её ухода.

Вот эта – из самого-самого

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

<https://www.youtube.com/watch?v=ky1onnobdD8>

Кусочек любимого моего:

<https://www.youtube.com/watch?v=RbqP58unldM>

Вот, пожалуй, самый длинный, полный её концерт. И тут есть побольше:

https://www.youtube.com/watch?v=ie51F_8IWUY

А здесь другое:

<https://www.youtube.com/watch?v=F3cpbNfjXs0&t=1577s>

Закончу этим, страшно пророческим для всей Заозёрной школы поэтов и бардов, из которой она произошла и с которыми теперь вместе где-то там... в небесном Заозёрье, должно быть. Да,

ВЫ ПОТОМ ВСЁ ПРИПОМНИТЕ

<https://www.youtube.com/watch?v=Pa5vJ0MHF9Y>

А я и не забывала.

Love, Irina

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

- Марк Зайчик** – писатель, журналист. Живет в Иерусалиме.
Браха Губерман – филолог, журналист. Живет в Иерусалиме
Ирина Маулер – поэт, художник. Живет в Ришон ле-Ционе.
Светлана Бломберг – литератор, журналист. Живет в Рамат-Гане.
Инна Иохвидович – автор короткой прозы. Живет в Штутгарте.
Эстер Пастернак – литератор. Живет в Ариэле.
Таня Гринфельд – поэт, художник. Живет в Бейт-Шеане.
Галина Получанкина – бухгалтер. Живет в Тверии.
Виктория Коритнянская – биолог. Живет в Одессе.
Марина Стратиевская – прозаик, переводчик. Живет в Араде.
Инна Шейхатович – прозаик. Живет в Ришон ле-Ционе.
Максим Жуков – поэт, прозаик, журналист. Живет в Евпатории.
Исаак Розовский – поэт, эссеист, прозаик. Живет в Иерусалиме.
Давид Шехтер – эссеист, журналист. Живет в Ришон ле-Ционе.
Александра Юнко – поэт, прозаик, эссеист. Живет в Кишиневе.
Зиновий Вайман – поэт. Живет в Бостоне.
Валерий Скобло – поэт. Живет в Санкт-Петербурге.
Михаил Юдовский – литератор, художник. Живет в Германии.
Денис Соболев – филолог, поэт, прозаик. Живет в Хайфе.
Евгений Витковский – поэт, прозаик, переводчик. Живет в Москве.
Ирина Рыпка – поэт. Живет в Нижнеудинске, Иркутской обл.
Анастасия Винокурова – музыкант. Живет в Германии.
Илья Корман – поэт, литературовед. Живет в Тель-Авиве.
Виктория Лепко – актриса, поэт. Живет в Москве.
Меирман Алибекулы – эссеист. Живет в Астане.
Анна Файн – прозаик, колумнист. Живет в Бней-Браке.
Михаил Сипер – поэт. Живет в кибуце Кфар-Масарик.
Елена Островская – историк социологии. Живет в Петербурге.
Эдуард Бормашенко – философ, физик. Живет в Ариэле.
Яков Нелькин – инженер, публицист. Живет в Тель-Авиве.
Роман Кацман – филолог, переводчик. Живет в Гиват Шауль.
Александр Карабчиевский – прозаик. Живет в Тель-Авиве.
Андрей Зоилов – псевдоним журналиста, живущего в Израиле.
Михаил Юдсон – литератор. Живет в Тель-Авиве.
Ирина Морозовская – психолог, бард. Живет в Одессе.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

**Яков Шехтер
Михаил Юдсон**

Ответственный секретарь

Михаил Сидоров

Редколлегия:

**Ирина Маулер (раздел поэзии), Ирина Морозовская (раздел
“Стихи и струны”), Анна Мисюк,
Эдуард Бормашенко, Денис Соболев (раздел литературной
критики), Давид Шехтер (раздел публицистики)**

Компьютерная обработка:

Амнон Пасхин

Почтовый адрес:

**Michael Yudson, Journal “Article”. P.O.B. 44050,
Tel-Aviv 61440, Israel**

Телефон: 050-908-03-48 (в Израиле)

(972)-50-908-03-48 (для заграницы)

Электронный адрес редакции:

articreda@gmail.com

Сайт журнала:

<http://www.sunround.com/club/journal.htm>

Фейсбук:

<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtiki>

Стоимость годовой подписки (с пересылкой):

**в Израиле – 200 шекелей,
за рубежом – 100 долларов.**

